

НАДЕЖДА

ХРИСТИАНСКОЕ
ЧТЕНИЕ



ВЫПУСК 10

*Господи, устне мои отверзеши,
и уста моя возвестят хвалу Твою.*

НАДЕЖДА

Христианское Чтение

ВЫПУСК 10

НАДЕЖДА

”Надежда” собирает малоизвестные в России творения Св. Отцов, духовные наставления православных пастырей, свидетельства о жизни во Христе, истории обращения к вере, рассказывает о судьбах русских святых, подвижников, праведников, мучеников за веру, разрабатывает отдельные проблемы развития современной христианской культуры в России, публикует стихи, рассказы, воспоминания и т. д. ”Надежда” — единственное и уникальное Христианское Чтение, существующее сегодня в России. ”Надежда” может быть только миссионерским изданием, осуществляющимся на пожертвования верующих. Издание ”Надежды”, кем бы оно ни предпринималось, не может преследовать никаких целей коммерческого или политического характера. Читатели ”Надежды” просят христиан всего мира поддерживать издание и распространение Христианского Чтения, проповедующего Слово Божие тем, кто ищет и ждет Его.

Составитель ”Надежды”
Зоя Крахмальникова

Обложка работы художника Адама Русака

Епископ Феофан (Говоров)

БОЖИЯ МАТЕРЬ ПРИМЕРОМ СВОИМ УЧИТ ВСЯКОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ

Празднуя ныне в честь Пресвятыя Владычицы наша Богородицы, чудотворныя ради иконы Ея Владимирския, не могу относить к случайности, что праздную вместе с вами — жителями с. Доброгo. Думаю, что так устроилось ради вас, ради крайней нужды напомнить вам преимущественно пред всеми другими о подражании добрейшим качествам Владычицы Богородицы, хоть и всем надо напоминать о сем, сколько можно, чаще и настоятельнее.

Обращая к вам в первый раз мое слово, я должен бы сказать вам: по имени вашему да будет и житие ваше. Ваше имя да будет для вас учителем и наставником о том, как вам жить надлежит: будьте добры, как жители с. Доброгo. — Если б при сем кто из вас пожелал более определенного указания на то, в чем должна состоять доброта ваша, я скажу вам; смотрите на образ Пречистыя Владычицы Богородицы, рождшей нам Спасителя, краснейшего добротю паче всех сынов человеческих, на образ Владычицы, о Которой и Самой было предсказано, что Она предстанет одесную Господа Бога, как Царица,

Из книги еп. Феофана (Говорова) "Небесный над нами покров святых и уроки от лица их".

в ризах позлащенных одеяна и преиспещренна, — смотрите на лик Ея и возревнуйте подражать Ей, как дети матери, — будете не именем только, но и делами Добряне, т. е. удобренные всякою добротю.

Учитесь же, — проходя мысленно житие Пресвятыя Богоматери и черта за чертою перенося Ея доброты на себя самих, на свои дела и начинания.

Учитесь с ранних лет посвящать себя на служение Богу у Той, Которая еще отроковицею малою введена во храм и отдана Господу.

Учитесь молитве, Богомыслию, прилежному чтению слова Божия у Той, Которая, во все время пребывания Своего во храме, паче всего другого прилежала сим благочестивым занятиям, переходя от чтения к Богомыслию, и от Богомыслия к молитве.

Учитесь, при делах благочестия, и трудолюбию у Той, Которая и в преддвериях храма не чуждалась трудов.

Учитесь хранить обеты свои, — и частные, какие даете Богу и людям, и тот общий всем нам обет, какой даем мы при крещении, — учитесь сему у Той, Которая устояла в данном Богу тайно обете девства, несмотря на необычность дела и на убеждения целого собора старцев.

Учитесь благодушному довольству своим состоянием у Той, Которая не возгнушалась домом и сожителем древоделателя, когда видела на то указание Божие.

Учитесь смирению у Той, Которая, несмотря на великия совершенства телесныя и духовныя, не считала себя стоящею какого-либо внимания пред очами Божиими и, когда Ангел приветствовал Ее благодатною и благословенною в женах, смутилась и

недоумевала, как могло идти к ней такой приветствие.

Учитесь Господу Богу воздавать хвалу о всяком даре Его, — великом и малом, — у Той, Которая в первые минуты Богоматерства воспела хвалебную песнь Богу: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Бозе, Спасе Моем...

Учитесь, в час какой-либо напраслины, благодушно терпеть и от Бога единого ожидать себе оправдания и заступления, — учитесь сему у Той, Которая не спешила Сама Себя оправдывать и защищать, когда Иосиф, смятая, бракоокрадованною помышляя Ее, непорочную, а всю Себя предала Богу, — творящему дивная в немощах наших.

Учитесь не колебаться в том, что Господь верен в обетованиях Своих, несмотря ни на какие внешние тому противности, учитесь сему у Той, Которая была уверена, что рождает Бога воплощенна, рождая в вертепе, и носит Спасителя мира в руках Своих, бежа с Ним во Египет по злобе человеческой.

Учитесь ожидать положенного всякому делу времени, не упреждая намерений Божиих и не вмешиваясь в то, что не вверено вам, — учитесь сему у Той, Которая и 30 лет ждала без тревожных понуждений, пока Господь благоволил явить Себя миру, и никогда не позволяла Себе со властью Матери входить в деяния Сына Своего — Спасителя мира.

Учитесь состраданию у Той, Которая не могла равнодушно сносить стыда чужого ей семейства по случаю недостатка вина на браке.

Учитесь переносить скорби и телесные болезни у Той, Которой Самой прошло оружие сердце.

Учитесь не жить только, но и умирать у Той, Ко-

торая с масличною ветвию в руках радостно отошла к Господу.

Намеренно сокращу указания добрых черт для вас в лице Богоматери, потому что и времени не достанет все пересказать вам, как должно. То, что говорит Апостол о плодах Духа, кои суть: *любви, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание* (Гал. 5, 22); — все это в совершеннейшем виде было у Владычицы Богородицы. — Всеми сими добродетелями поревнуйте украсить и вы, да будете добры добротою духовною.

Чем хочет тот же Апостол облечь всякую душу христианскую, говоря: *облецытесь убо якоже избранныи Божии святы... во утробы щедрот, благодать, смиренномудрие, кротость и долготерпение: приемлюще друг друга, и прощающе себе, аще кто на кого имать поречение: якоже и Христос простил есть вам, тако и вы* (Кол. 3, 12–13)¹, — всем сим украшена была Пречистая. — Всеми сими добрыми качествами поревнуйте облечься и вы, и будете подобны Той, к Которой таинственный жених говорит: *се добра еси, искренняя моя, се еси добра* (Песн. песн. 1, 14) — ближняя моя, голубице моя, совершенная моя (— 5, 2).

Хотите ли еще более уподобиться образцу, который указывает вам ныне Господь в Пречистой Владычице Богородице, — прочитаю вам наставление другого Апостола: *Конец же, еси единомудрени будете,*

¹ „Облекитесь, как избранные Божии, святы и возлюбленные в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы” (Кол. 3, 12–13).

милостиви, братолюбцы, милосердни, благоутробни, мудролюбцы, смиреномудри: не воздающе зла за зло, или досаждения за досаждение: супротивное же, благословяще, ведяще, яко на се звани бысте, да благословение наследите. Хотяй бо живот любити, и видети дни благи, да удержит язык свой от зла, и устне свои еже не глаголати лести. Да уклонится от зла, и да сотворит благо. Да възыщет мира и да держится его. Зане очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их: лице же Господне на творящия злая, еже потребити их от земли (1 Петр. 3, 8–12)². Тожде друг ко другу мудрствующе, но смиренными ведущеся: не бывайте мудри о себе. Ни единому же зла за зло воздающе, промышляюще добрая пред всеми человеки. Аще возможно, еже от вас, со всеми человеки мир имейте. Не себе отмщающе, возлюбленнии, но дадите место гневу: писано бо есть: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь (Рим. 12, 16–19)³.

² „Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему; потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло (чтобы истребить их с земли)” (1 Петр. 3, 8–12).

³ „Будьте единомысленны между собою; не высокоумствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками... Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: „Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь” (Рим. 12, 16–19).

Вот, други мои, уроки вам нынешнего дня, которые хоть с моего языка, но идут к вам прямо от Бога, желающего вам добра и благословения, и потому призывающего и обязующего вас паче всего к миру, любви и благочестию. — Благвременны ли сии уроки для вас, сами видите.

Слышу в вас раздоры и вражды, о которых не слышно в других местах. Не подобает сим тако бывати, братие мои! Слышу в вас оскудение братолюбия, которого не встретишь в других, даже богопротивных верах; так что не только своим не делаются у вас с нуждающимися, но попускают отнимать у них свое последнее, — и это у потерявших все и лишенных даже крова. — Не подобает сим тако бывати, братие мои.

Слышу в вас умаление усердия к храмам Божиим, которые бывают пусты в воскресные и праздничные дни, — и это ради временных прибытков торговли, которая может иметь место и в другое время. — Не подобает сим тако бывати, братие мои. Так говорю не за тем, чтоб раздражить вас, но чтоб в разум истины привести. — Хотите ли привлечь благословение Божие и видеть всегда дни благи, уклонитесь от сих зол. — Кто в раздоре живет, к тому Господь не будет мирен, и кто не щедр сам, к тому не станет отверзать щедрую руку Свою Господь. Кто к Богу не приближается, приметаясь в дому Его, к тому не приблизится и Бог. Уступчивость, податливость и жертва времени Богу собирают и созидают; а самонаравность, чуждоприсвоение и на себя одного надеяние, собирая будто, расточают и разоряют.

Помните, что грех одного лица на него одного привлекает гнев Божий; а грех целого села или города — на целый город или село привлекает и суд

Божий с соответственной казнию. — Численность грешащих не сокращает, а увеличивает грозное воздаяние.

Внимайте убо себе, братие, и не дети бывайте умы, — но злобою младенствуйте.

В сем умудриться да поможет вам Господь Бог, молитвами Пречистыя Владычицы наша Богородицы и присно Девы Марии. Аминь.

23 июня, 1861 г.

В день Владимирския иконы Божией Матери, в селе Добром.

Св. Василий Великий,
Архиепископ Кесарии Каппадокийския

ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ ПОДВИЖНИЧЕСТВА

*О Христе бо Иисусе ни обрезание
что может, ни необрезание, но вера
любовию поспешествуема (Гал. 5, 6)¹.*

Внушительны указы царя, объявляемые подданным, но внушительнее и царственнее его приказы воинам. Поэтому, как провозглашению военных приказов, да внимает тот, кто желает горнего и великого чина, кто хочет всегда быть Христовым сподвижником, кто слышит эти великие слова: „Аще кто Мне служит, Мне да последствует; и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет” (Иоан. 12, 26)². Где Царь Христос? Конечно, на небе. Туда и тебе, воин, должно направлять шествие. Забудь всякое земное упокоение.

Ни один воин не строит дома, не приобретает себе во владение полей, не вмещивается в различ-

Из ”Творения иже во святых Отца нашего Василия Великаго, Архиепископа Кесарии Каппадокийския”. Новый испр. пер. Моск. Духовной Академии. Том 11. Изд-во Сойкина. СПб, 1911.

¹ ”Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью” (Гал. 5, 6).

² „Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет” (Ио. 12, 26).

ные купли для приумножения имущества. *"Никто же бо воин бывая обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет"* (2 Тим. 2, 4)¹. Пропитание воин имеет от царя; ему не нужно самому добывать пропитание, ни даже заботиться об этом. Ему везде у подданных царя отверст дом по царскому повелению; не нужно ему прилагать трудов о доме. У него на широкой дороге шатер, и пища по мере нужды, и питье вода, и столько сна, сколько дала природа; много походов и бдений, терпеливость и к зною и к холоду, битвы с противниками, опасности крайние, многократно встречается и смерть, но смерть главная: у него и почести и дары царские. Многотрудна жизнь его в военное время, но светла во время мира. В виде награды за доблести и венца за добрую жизнь в подвигах ему вверяется начальство, он именуется другом царевым, имеет близкий доступ к царю, удостоивается прикасаться к царской деснице, принимает отличия из руки царя, властвует над его подчиненными и ходатайствует за друзей внешних, за кого угодно.

Итак, воин Христов, взяв себе малые образцы их дел человеческих, размысли о благах вечных. Предназначь себе жизнь бездомную, не общественную, нестяжательную. Сделайся независимым, отрешившись от всех мирских забот; да не связывает тебя ни вожделение жены, ни попечение о детях; потому что это не возможно для воинствующего Богу. *"Оружия бо воинства нашего не плотская, но сильна Богом"* (2 Кор. 10, 4)². Да не побеждает тебя те-

¹ „Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику” (2 Тим. 2, 4).

² „Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом” (2 Кор. 10, 4).

лесная природа, да не стесняет тебя против воли, да не делает из свободного узником. Заботься не на земле оставить детей, но вознести на небо, не прилепляйся к супружеству плотскому, но стремись к духовному, рождай души и воспитывай детей духовно. Подражай небесному Жениху, низлагай возстания невидимых врагов, воюй с началами и властями (Еф. 6, 12), изгоняя их сперва из своей души, чтобы не имели в тебе никакой части, а потом из сердца тех, которые прибегают к тебе, поставляют тебя вождем и защитником охраняемых словом твоим. Низлагай помыслы, восстающие против веры Христовой. Словом благочестия воюй с нечестивым и лукавым помыслом, ибо сказано: „*помышления низлагающе, и всяко возношение взимающееся на разум Божий*” (2 Кор. 10, 4—5)¹. Всего более уповай на руку великого Царя, которая, едва только покажется, приводит в страх и обращает в бегство сопротивных; если же Ему угодно будет, чтобы ты показал доблесть в опасностях, и когда восхощет Свое воинство ввести в битву с воинством сопротивных, то и здесь будь неодолим для всякого труда в ополчении, непоколебим душою среди опасности, с охотою переходи из земли в землю, с моря на море. Ибо сказано: *”егда гонят вы, бегайте”* из града во град (Мф. 10, 23). И когда потребует нужда явиться на суд, предстать пред правителей, терпеть нападения толпы, видеть страшный взор палача, слышать его суровый голос, переносить мучительный вид орудий казни, подвергнуться пытке, подвизаться до смерти: не теряй веры при всем

¹ ”Ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия” (2 Кор. 10, 5).

этом, имея пред очами Христа, ради тебя все сие претерпевшего, и зная, что ради Христа и тебе должно терпеть зло. И победишь при этом, потому что следуешь за победителем Царем, Который хочет, чтобы и ты стал участником Его победы.

Если и умрешь, не будешь побежден, но тогда-то и одержишь самую совершенную победу, до конца сохранив в себе истину непоколебимую и дерзновение за истину неизменным. И перейдешь от смерти к вечной жизни, от бесчестия у людей, к славе у Бога, от скорбей и мучений в мире к вечным упокоениям с Ангелами. Земля не приняла тебя в свои граждане, но примет небо; мир гнал, но понесут Ангелы представить тебя Христу, и наречешься другом, и услышишь вожделеннейшую похвалу: *"добре, благий рабе и верный"* (Мф, 25, 23) воин доблйй, подражатель Владыки, последователь Царя: Я вознагражу тебя Своими дарами; Я послушаю слов твоих, потому что и ты слушал Моих. Будешь просить о спасении труждающихся братий, и с общниками веры, таинниками священной любви примешь от Царя причастие благ. Будешь ликовать вечным ликованием, явишься венценосцем среди Ангелов под державою Царя, царствуя над тварию и блаженно вечнуя в лице блаженства. Если же восхощет и после подвигов оставить тебя еще в мире, чтобы совершил ты большее число разнообразных подвигов, и многих спас от невидимых и видимых браней: то и на земле велика твоя слава; почтен будешь у друзей, которые найдут в тебе заступника, помощника и доброго молитвенника. Одни питают тебя, как доброго воина; другие почтят, как мужественного ратоборца; иные будут приветствовать и с радостью сретать, принимая, как говорит Павел,

"якоже Ангела Божия, яко Христа Иисуса" (Гал. 4, 14). Таковы и подобны сим образцы воинствования Божия.

Слово же сие относится не к одним мужам. У Христа воинствует и женский пол, вписываемый в воинство по душевному мужеству и не отвергаемый за телесную немощь. И многие жены отличились не менее мужей; есть и такие, что даже больше прославились. Таковы наполняющие собою лик девственниц; таковы сияющие подвигами исповедания и победами мученичества. И за самим Господом, в пришествие Его, следовали не только мужи, но и жены. Теми и другими совершалось служение Спасителю.

Поелику таковы и так славны награды, уготованные воинствующим по Христе, то да возжелают сего воинствования и отцы для сынов, и матери для дочерей. Да приведут рожденных ими, наслаждаясь вечными надеждами, которых приобщатся у них дети, и вождевая иметь заступников у Христа и добрых молитвенников. Не будем малодушны в рассуждении детей, не убоимся, если утрудятся, но будем увеселять себя тем, что прославятся. Посвятим Господу дарованных Им, чтобы и нам быть причастниками в прославлении детей своих, когда вместе с ними сами себя приведем и посвятим Господу. Людям, столь ревностным и так прекрасно подвизающимся, иной может сказать словами Псалмопевца: *"благословени вы Господеви, сотворшему небо и землю"* (Пс. 113, 23); и по примеру Моисея помолится о них *"благослови, Господи, дела"* их *"пораз"* гордыню *"восставших"* на них

(Втор. 33, 11). Мужайтесь, как неустрашимые, и мужественно совершайте течение ради вечных венцов о Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава во веки. Аминь.



Отец Анатолий Жураковский

СВЯЩЕННИК АНАТОЛИЙ ЖУРАКОВСКИЙ

*"Мы идем от Твоих просторов,
поднимаем Твой тяжкий крест..."*

ПРЕДИСЛОВИЕ

В судьбе о. Анатолия (Жураковского) провиденциально раскрывается проблема губительного для души богатства и спасительной евангельской нищеты. В нем есть некоторое сходство с состоятельным юношей из евангельской притчи. Только не в чинах, не в деньгах заключалось его "имение", но в душевной одаренности, в привычке постоянно обладать — радостью, мыслью, чувством. Привычка проявлялась в некоторых элементах душевной организации, воспринятой им по принадлежности к интеллигенции, как расплата за грех предков. Со времени Возрождения стремление к духовному наслаждению, к властвованию над каждой минутой бытия,

Отец Анатолий Жураковский родился в 1897 г. в интеллигентной семье. Родители религиозного воспитания своим детям не давали. Промыслом Божиим в двадцатилетнем зажглась вера. Еще будучи гимназистом участвует в жизни Киевского Религиозно-философского общества. В 1915 г. — студент Киевского университета св. Владимира. В 1920 г. рукоположен во иерея. Вокруг о. Анатолия собирается интеллигенция, молодежь. В результате его активной пропове-

пропитало все поры человека, создав гордую городскую цивилизацию. Будучи проводником самодовлеющего "знания" в России, интеллигенция восстала против дела Христа, против духовной свободы, ибо не хотела страдать. Ее мечтой стал такой вариант действительности, при котором дарования человека, его проблемы, его деятельность приносят сытую стабильность, безответственный покой. Действительность не должна требовать ничего превышающего силы человеческие, должна только удовлетворять. Потому городская Россия сдалась злу, вторгшемуся в ее акрополь — столицу.

Отец Анатолий рано распознал болезнь своего сердца: "Во мне каждое чувство и мысль встает, как рогатка, расслабляя волю и порождая муку... Оттого мне так близок Петрарка, "первый человек нового времени"... И во мне все двоятся..." (письмо от 13/9—1918 г.). Нежелание полностью отдаться поступку веры, оглядка на удобства мира мучают его личность.

Он вступает в борьбу с собой, начинает свой подвижнический путь против мутного потока своеволия, захлестнувшего родину. С детства возжаждав видеть и слышать Христа, он находит "простую" возможность быть с Ним: забыть себя в жертвенном делании.

В разгар начинающихся гонений на Церковь принимает священный сан. Рушился русский мир, зара-

ди — первый арест и ссылка (1923 г.) в Краснококшайск (Йошкар-Ола).

Публикуемый здесь текст является отрывком из вышедшей в Самиздате книги "Материалы к житию священника Анатолия Жураковского". Отрывок начинается с возврата о. Анатолия из ссылки в Киев, к пастве.

женный животными стихиями, а священник собирал растерянную от происходящего разброда молодежь, раскрывая для нее небесную Отчизну, где все сохранено — и дом, и родные лица. Есть неизменность! Это стало конкретным чувством юных общинников, которые сумели сохранить и продолжить в своих судьбах положительное наследие отцов.

Начался массовый процесс приспособления интеллигенции к новой эпохе, но в его общине интеллигенция обратилась к покаянию. Он, жертвуя собой, начал работать для будущей воскресшей христианской России.

Необходимо отметить три важнейшие грани исповеднического пути о. Анатолия:

1. Любовь к культуре как части Священного Предания Церкви. Культура помогает читать Евангелие, свидетельствует о Боге и человеке.

2. Углубление в аскезу, на которой заквашена культура.

3. Бескомпромиссное стремление всюду и во всем следовать Правде. Эти черты являются основанием его христианского творчества, строгим критерием, помогавшим держаться узкого пути, быть погруженным в дело веры.

Многих привлечет в о. Анатолии его принадлежность к "серебряному веку" русской культуры, его богатая одаренность (священник, богослов, проповедник, поэт и писатель), в нем найдут сходство с о. Павлом Флоренским, о. Сергием Булгаковым. Но внутренний опыт и знания не превратились у него в интеллектуальную игру, он до конца отверг всякое заигрывание с эпохой и погрузился в глубину пастырской жизни в народе.

В огромном, поглощенном собой городе, среди

массового поклонения злу, это был безумец, окруженный горсткой себе подобных, немощью и голью, почти детьми. Он и его чада — бедняки не оттого, что обладали малым имуществом, а в главном — неотмирном выборе, обрекающем их на нищету, на духовное юродство. Недаром почти весь костяк его общины погиб мученически, а те, кто уцелел, провели долгие годы в неволе, преследованиях. Сам о. Анатолий двадцати шести лет отправлен в ссылку, а тридцати трех — в лагерь.

В лагере он вступает на десятилетний путь смертных мук. Постоянно вспыхивает желание вернуться в мистические чувства и укрыться в тихом уголке, в какой-нибудь каморке: уйти на покой. Лагерь искушал расслабленностью. Здесь исповедник познал всю слабость человека. Он постоянно раскаивается перед Богом, унижается, тает.

Будущий иконописец изобразит иерея Анатолия на улицах Вавилона: молящимся о заблудших горожанах, об утративших трезвость людях земли. Ради них он истощил себя, попрали ничтожное богатство ума, призывая на пир Христовой любви.

II.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

1924 г.

В самом конце ноября, после Введения во храм Пресвятой Богородицы, вернулся из изгнания и наш батюшка¹... и стал служить... то в большой церкви Николая Доброго, то в небольшой зимней церкви св. Великомученицы Варвары...

(...) батюшка исповедовал в маленькой церкви

наверху. Там же было и служение, но после него народ разошелся. Оставались немногие только говеющие, и те уходили по-одиночке. Почти пусто...

Тихо, тихо. Полутемно. Две красные лампадки перед иконами Спасителя и Божией Матери в иконостасе, одна повыше перед Царскими вратами перед Тайной Вечерей беленькая, чуть зеленоватая, еще одна слева у стены перед высоким образом св. Марии Магдалины. Та же маленькая церковь, что раньше, те же иконы. Только сама церковь стала еще меньше, совсем удаленная высоко под крышей, до странности маленькая. В ней никто не почувствует себя совсем одиноким, — не только каждое слово хорошо слышно, доходит, но и то, что за словами, от сердца, горение душевное, самое тихое, трепетное коснется ко всем.

Тихо, тихо. Полутемно. Сказал кто-то: "Если бы так провести в этой церкви ночи две подряд одному, можно всю жизнь перевернуть". Да, прислушаться к тишине, к этой особенной, живой тишине в часы течения длинной ночи, перед живой, великой полнотой, только слушать, только припасть, только сердце открыть и станет единственным действительно на всю жизнь единственным понятно и несомненно.

Исповедовал справа, возле южных врат в углу, отгороженном киотом. Было видно каждого, кто подходит к аналою, и в ту минуту чувствовалась пауза, и было видно иногда батюшку, и он знал, что было в церкви, кто уходил, кто еще оставался, и ощущалось, что он знал все и видел, как всегда.

Потом снова все замирало, за киотом ничего не было видно, только конец темного платья наклоненной фигуры, и проходили долгие минуты. Как

будто еще тише становилось. Слов не было слышно: и те, что изредка доходили, были без связи с остальными — ничто не могло быть понятным. Но то, что происходило, что произносилось за киотом, наполняло собой всю маленькую церковь, и не оставалось места для иных слов, для иных мыслей. Не слушая, не имея возможности услышать, все-таки что-то как-то слышали. Казалось как-то понимали. Думая, молясь о своем, неизбежно переживали и чужое. Каждый раз, с каждым, кто подходил, снова и снова повторялось одно и то же. Но так понятно было, что у каждого свое, особенное, на других не похожее. Как никогда было о всех понятно: в своем бессмертном одинаково неизмеримы, в своем отдельном непоправимо ограничены, отмерены на всю жизнь.

Сперва ожидание, тихое, неподвижное, может быть не очень долгое, но так сильно ощутимое, неизбежно напряженное. Потом минута, когда страшно всякий раз — настала, и вернуться уже нельзя.
/.../

То страшное, что так крепко срослось с самым сердцем, переведено на слова, произнесено вслух, и становится оно невозможным, неповторимым. Неужели оно могло быть моим? И слезы, и трепет, и небывалое усилие прорваться через завесу темных призраков на жизненном пути...

„Господь и Бог наш Иисус Христос да простит ти чадо... и аз, недостойный иерей, властью от Бога мне данной, прощаю и разрешаю...” Тихими словами знаменовалось великое, непостижимое событие. Потом благословлял: ”Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...”

Свершилось. Преклонялись перед иконами и це-

ловали. Припадали в слезах неистекшего раскаяния. Целовали и очергания одежд и ног, прикасались к Его Стопам. И поднимались и уходили. Поодиночке. Незаметно, все еще не смея поднять головы. Осторожно прикрывая за собою дверь.

О, все те, что так тихо уходили отсюда в этот поздний час, робкие, все еще склоненные, о, святые. Отчего такие молчаливые, кроткие, незаметные, как будто торопливые, маленькие? Поодиночке выходили на улицу и шли к себе домой, скрываясь в темной мгле, такие же, как другие прохожие, — но они одни знали тайну этой ночи, скрытую от всех других: что радостна была темнота этой ночи, что драгоценным был черный покров небес, что желанной была пустынная дорога и сладостным жалкое одиночество. Во мраке воссиял им Он, в ничтожестве они были перед Ним, и не здесь, а с Ним была их настоящая обитель...

Киев, 3/III 1925 г.*

Много тревожного, очень много кругом. Боюсь, как бы болезнь Н.² не возобновилась в острой форме, в обычное время к весне. И имею серьезные основания для этой тревоги, хотя, кроме меня, об этом никто ничего не знает. Но вообще воздух кишит микробами всякого рода. Уже две недели, как в больнице Мак. И.³, и по-видимому и еще, и еще много всяких недугов и скорбей...

Первая неделя поста вскрыла так много глубокого и радостного в самом главном.

* Тексты, предваряемые датой их создания, написаны о. Анатолием.

Киев, 4/V 1925 г.

/.../ У нас в храме хорошо по-прежнему. Хорошо по крайней мере было на Троицу и на Духов день (в этот любимый день пришлось служить одному), хотя шел очень сильный дождь, народу было много...

Киев, 6/VI 1925 г.

Всего несколько строк пишу... о больших, больших скорбях, нас постигших. Вчера днем скончался Вася Александрович⁴. Он проболел всего только неделю, болезнь загадочная, по-видимому, брюшной тиф. Большую роль, кажется, сыграла ошибка врача, давшего ему касторку. Похороны завтра. Пишу сейчас же после заупокойной литургии. Через час вынос тела из больницы Покровского монастыря. Смерть Васи была чрезвычайно светлой и умирной. Он причащался в Духов день, а заболел в четверг на Духовой неделе. В понедельник я снова причастил его уже в больнице. Удивительные были его последние часы... Имя Божие было у него все время на устах. По-видимому, в „бессознательном”, с медицинской точки зрения, состоянии он говорил, что ему тесно в этом теле, чтобы его пустили уйти... Болезнь Васи выявила узы любви, связывающие всех нас. Последние дни и даже ночи были непрерывной о нем молитвой. Ночью мальчики и девочки молились иногда все, иногда по сменам. Другие дежурили около его кровати. И сейчас все, большие и малые — все объединены одной скорбью. Итак... брошен мостик от нас, от нашей одной семьи туда, в тот мир. Один ушел от нас. Сердце мое за него спокойно. Как духовник, знаю, как светла была его

душа, и перед его гробом тайна смерти или, лучше, тайна бессмертия становится ясной, прозрачной и умиротворяющей...

Киев, 22/І 1926 г.

... Если говорить об общем тоне нашей семейной жизни, то надо отметить, что точно в семье нашей намечается определенный процесс. Я, как будто по мере своего сближения с молодыми, как-то теряю старших. Многие из них как-то все ближе и ближе к о. Александру⁵. Его дом полон "старшими", мой — "молодыми". К несчастью, это, может быть, и естественное расслоение не всегда происходит свободно, легко и радостно, как могло бы происходить. Да и вообще, струя настоящего горного воздуха так редко проникает в долину жизни, а чаще приходится дышать болотными испарениями, которые, впрочем, люди принимают за самые живительные обыкновенно, и, увы, иногда даже благодатные.

.....

Моя жизнь, как всегда, по-прежнему, на этой зыблемой грани между настоящим делом и правдивой суетой, служением Слову и пустословием, молитвой и длительными "разговорами" о Боге.

Иногда не знаешь — делаешь ли дело Божие или тратишь дар Божий, силы и годы...

Киев, Подол, 24/ІІ 1926 г.

/.../ Путь священника в нескольких словах: „Ему расти, а мне умаляться”. Все встречи, даже самые глубокие, только перепутья. Прияв душу, должен

священник отдать ее Другому, и в этом самая большая жертва. И так всегда — и так неизбежно... Только что был в Дарнице. "Отдыхал" перед постом. Много бродил по лесу, думал, был один.

Саров, 15/ VI 1926 г.

Как быстро текут здесь дни... Четвертый день здесь, а кажется всего несколько часов прошло. А между тем спим не больше 3—4 часов в сутки. А времени нет вовсе, но не потому, что оно "тратится" по суетному нашему выражению, а потому, что точно оно остановилось здесь, застыло в святой и благодатной тишине.

Вот краткий перечень: в Москве были на святой могилке, служили панихиду. Сюда прибыли в пятницу. Погода все время благоприятствует нам. А сюда попали как раз в канун памятного дня — в день памяти основательницы, первоначальницы монахини Александры. Тут было тихое светлое торжество, крестный ход из монастырского собора на могилки, целое море черных монашеских камилавок и косынок. Все дни служили. В субботу, воскресенье служил самостоятельно. Сегодня собором служили в церкви, алтарь которой — келья Преподобного, дальняя пустынь. Остальное время проходит в молебнах и молитвах на святых местах, которые посещаем. Пение, служение да и все вообще — дивно и несказанно.

Киев, 2/XI 1926 г.

/.../ У нашей молодежи какое-то очень "рабочее" настроение. Это сказывается на уменьшении вза-

имного общения, но зато вносит в жизнь больше серьезности. Думаю, что вообще это хорошо... Все наши "молодожены" бьются очень с вопросом "о хлебе насущном". Трудно живется всем. У Лесика и Тани⁶ радость большая — дочь, названная Марией в честь Марии Магдалины. Восприемники о. Александр и Нина, а таинство совершал я. /.../ В церковной жизни немало тревожного. Еп. Филарет и Сергей высланы пока что в Москву. За последнее время выслано из пределов Украины в Москву для дальнейшего следования в "места не столь отдаленные" 12 епископов. О. Ермоген официально утвержден настоятелем Лавры. Состоялся обряд вручения ему настоятельского посоха. Отцы Александр Стрельников и Николай Степанович⁷ освобождены. У меня все благополучно. Жизнь идет по-прежнему — утомительно и беспорядочно, но последние недели как-то больше остается времени для личных занятий.

Киев, 9/Х 1926 г.

... Только сегодня вечером вздохнул чуть-чуть свободнее. Сегодня служил обедню... Люблю я сегодняшней праздник — Зачатие Пресвятой Богородицы и Радости Нечаянной. Вчера обычную вторичную беседу⁸ посвятил именно празднику Зачатия, говорил о нем и о Пресвятой Деве. Тема — путь Богоматери. Начало скрывается в тумане ветхозаветных пророчеств, потом цепь исторических событий, а потом, по Успении, опять за гранью земной жизни — эпилог в небесах, да видение Жены, облеченной в Солнце. Лествица Иакова, Дева Богоневеста, Богоматерь — Соучастница в таинстве спасения человечества — Заступница усердная рода христианского

— Жена, облеченная в Солнце, — вот ступени восхождения...

Киев, 17/V 1927 г.

В нашей жизни, как всегда, немало и плохого и хорошего... Все самое хорошее за последние месяцы неразрывно связано с Марусей⁹. В этом, таком нервном, таком хрупком (боюсь за нее сильно) существе бьется такое трепетное желание настоящего Божьего дела, настоящей правды. Маруся оказалась моей помощницей в самом важном и в самом трудном. С ее помощью я совершаю теперь ранние литургии: она организовала хорик и нередко управляет им. Всю организационную работу она делала одна. А как это было нелегко! И как она делала все молитвенно и трепетно. Эти ранние наши службы я смело считаю самым важным в нашей жизни. Около него и все другое — и наши радости, и наши надежды, и наши огорчения. Как всегда, я — оптимист, и наша молодая, понемногу разрастающаяся поросль как-то часто заслоняет для меня тундры и болота, что за нею, а ее юная зелень радует меня даже сверх меры. А кругом бури и гроз немало. И в дальнем Сарове уже не совершаются Божественные службы и нет заповедного гроба. Это, конечно, самое важное, что было за последнее десятилетие.

ИЗ ПРОПОВЕДИ

Киев, 22/IX 1927 г.

Это было больше года назад. Я помню, я никогда не забуду, как я входил под своды громадного храма, возвышающегося среди густых, необъятных ле-

сов, в глухом, пустынном молчании. Тысячи людей наполняли храм. Живой человеческий поток вливался и становился плотной и непроницаемой стеной. Кого здесь только не было. Горожане из самых различных мест, больших и малых, близких и на много верст отдаленных городов; крестьяне, пришедшие сюда в одиночку или громадными крестными ходами, русские и представители других народностей, даже какие-то полудикари в странных одеждах и со странными лицами. Все они пришли сюда на поклонение Преподобному.

И там, высоко, над этой человеческой толпой, в своей величественной раке, в мерцании множества лампад и свечей, в облаках фимиама возносился он, Преподобный. И тысячи колен преклонялись пред ним, благоговейные уста лобызали покровы, облекавшие его драгоценные останки, шептали ему свои самые сокровенные молитвы, пронесенные через необъятные просторы, и ни днем ни ночью не смолкали ни на миг голоса умиленных хвалений и гимнов. Как странен был покой и его величие. Мы пришли к нему и принесли наши неопишуемые страдания, ужас нашей жизни, открыли перед ним наше изъязвленное, истекшее кровью сердце. От нашей неизбежной скорби пришли мы к нему, и не было среди нас никого, кто бы не изнемогал от тоски и смятения. А он пребывал там, высоко, в своей раке, окруженный покоем и величием, среди непрекращающейся хвалы. И так странны были этот покой и эта слава, и это море пылающих огней в минуту позора, страданий и тьмы беспросветной.

Но день пришел. Потухли лампадки и свечи. Нет больше фимиама. Нет хвалений и гимнов. Не склоняются трепетные колени, и благоговейные

уста не лобзают покровы и не шепчут больше молитвы.

День пришел.

Оттуда, с высоты своего величия увидел он наше страдание, наш позор и нашу безнадежность. И он не восхотел больше своего покоя и своей славы. Он сошел со своей раки, он смешался с нами, наш позор стал его позором, он принял на себя наше унижение. И это был последний подвиг его любви, пламенной, беспредельной и жертвенной. Ап. Павел говорит в одном из своих посланий, что он должен в своей плоти восполнять страдание Христово. Есть уготованная от века чаша. Ее должна наполнить Церковь страданиями для очищения мира и для спасения его от греховной скверны. Там, на дне этой чаши, — крестные страдания Искупителя, Его Божественная Кровь. И туда же текут потоки кровей мученических, потоки страданий Церкви и за Церковь.

Мы должны восполнить в своей плоти меру страданий Христовых. И капают они, невинно проливаемые слезы, струятся потоки страданий для очищения мира и спасения его от зла.

Но когда оскудевают они, когда истощаются от нашей постоянной немощи, от нашей духовной лени, от робости нашей и непрекращающейся измены, тогда они, наши небесные помощники — святые — новым посмертным, последним уничтожением восполняют нашу оскудевшую любовь и жертву.

Мы не можем думать теперь о преподобном Серафиме без мучительно сжимающей сердце скорби. Но пусть облегчится тяжесть скорби этой от сознаний того, что он, наш великий небесный заступник, с нами, делит нашу скорбь и несет наш крест — мучи-

тельный и страшный. И пусть мысль об этом будет для нас призывом к подвигу и к жертве.

Преподобный отче Серафиме, путеводзь спасения нашего, в своей любви к нам променявший свой покой и свое великолепие на наше бесславие и позор, веди нас, хотя бы дорогой страданий, к Вечному невечереющему Свету.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Недолго батюшке пришлось служить спокойно. Новые, еще более страшные беды надвинулись на Христову Церковь. Когда умер великий светильник патриарх Тихон, последующий ему митрополит Сергей оказался не столь стойким, как патриарх Тихон. Соблазненный ложной идеей "спасти" Церковь, он взял на себя ни с чем не сравнимый грех от лица Церкви заявить ложь, якобы идущую во спасение. Но Церковь не стоит ложью, во имя чего бы она ни произносилась. Великая распря сотрясла тело Церкви... и новая скорбь наполнила душу батюшки горькой печалью.

ИЗ ПРОПОВЕДИ

Сентябрь 1927 г.

Представители Церкви и христианства хотят создать Церковь без страданий здесь на земле, ради своего спокойствия. Ради своего спокойствия они изменяют основы веры, предают ее трусливо, малодушно, оправдываясь и лепеча что-то непонятное в свое оправдание. Наши враги торжествуют. "Где же ваша вера и упование, — говорят они, — значит, они

были так малоценны, что вы сами отказались от них ради личного спокойствия”.

.....

Мы переживаем тяжелое время, возможно, что тучи еще сгустятся, мы должны быть готовы на большие страдания, но мы лучше уйдем от призрачного спокойствия, потому что с нами будет Иисус Христос.

ИЗ ПРОПОВЕДИ

Киев, 31/X 1927 г.

Итак, кому же нам верить, чтобы не соблазниться? Мы так привыкли к авторитету, что нам бывает прежде всего нужно знать, кто идет за истиной, а не истина сама по себе. Апостол Иоанн говорит, что даже если ангелы будут говорить против Истины, против учения Иисуса Христа, то да будет им анафема. Согласно этим словам, даже если бы небеса открылись перед нами и предстали в сиянии, свете и блеске ангелы и стали бы говорить противное учению Иисуса Христа, так должно вспомнить слова ап. Иоанна, твердо быть уверенными, что перед нами не ангелы, а призраки, которым анафема.

Последние 10 лет, а может быть и сотни лет, наша Церковь тоже умышленно искажала образ Иисуса Христа. Все учение, вся земная жизнь Иисуса Христа были направлены на борьбу с миром, а служители Церкви для собственного удобства искажали Его образ, чтобы Он был приемлем для мира, для жизни. Служители теперешней церкви видимо забыли слова Иисуса Христа: ”Созижду Церковь Мою, и

врата ада не одолеют Ее”, что Церковь создана для спасения людей и будет спасена Самим Господом. Люди хотят сами спасти Церковь и притом человеческими способами, идя для этого на уступки, компромиссы, на двойственность, на подчинение злу, забывая при этом, что у Иисуса Христа, которому мы должны подражать, не было двойственности — “да” и “нет” одновременно, а лишь “да” и “аминь”. Свойства Иисуса Христа — “смирение”, “кротость” — были Им проявляемы по отношению к Отцу Небесному, а не тогда, когда Он видел зло. Современная церковь забывает, что со злом Он никогда не мирился, Он и пришел, чтобы его уничтожить.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Митрополит Михаил¹⁰, о встрече с которым так батюшка мечтал, написал свою декларацию, хоть и помягче, но все же нетерпимую для сознания верующих. И он был отпущен на свободу. Торжественно встретило его духовенство, но... не было среди встречающих батюшки. А на другой день он пришел в покой митрополита. О многом говорили они. Со слезами на глазах поцеловали друг друга... ”И все-таки Вы мой единственный, Вы мой любимый, — сын мой”... — сказал митрополит. Земной поклон, слезы — и без благословения они разошлись навеки...

Митрополита Михаила окружали представители духовенства, сочувствующие декларации. В то же время батюшка открыто проповедовал в церкви против декларации и говорил о невозможности лжи от лица Церкви. Когда окружающие митрополита указывали на резкие выступления батюшки, он го-

ворил: "Оставьте о. Анатолия Жураковского, если бы он был другим, я бы не любил его так".

Когда митрополит Михаил умер, тяжело было смотреть на батюшку. Бледный ходил он по комнате, становился на молитву, опять ходил. Потом позвал к себе душевно близкого ему человека и сказал: "Пойди и поклонись за меня его праху, а я буду молиться, чтобы его великая горечь была вменена ему в мученичество". Так в тишине своей комнаты пережил наш батюшка одну из сильнейших трагедий своей жизни... и все тревожнее становились проповеди батюшки, все чаще темнело его лицо при новых известиях о положении Церкви. И не один он болел о тяжелых испытаниях, вновь надвигающихся на Церковь.

Объединившись с лучшими пастырями, община ушла под окормление митрополита Иосифа и епископа Дмитрия Гдовского.

ИЗ ПРОПОВЕДИ

Киев, 8/X 1928 г.

... того, что происходит сейчас в истории церковной жизни, еще не было, Церковь лишена всякой свободы. Один Господь ведает, как тяжело нам отказать от послушания. Сколько душевных страданий, колебаний и молитв Господу Богу принесено нами прежде, чем стали мы на тот путь, на который вступили. Мы долго молчали и ждали. Представители наши церковные, на обязанности которых лежало охранение верности и чистоты Евангельской истины, грубо ей изменили. Вместо того, чтобы смело и высоко держать стяг — знамя истины Евангель-

ского учения, они позорно склонили это знамя перед человеческими измышлениями. Мы страшились, мы не хотели брать это бремя — сохранения чистоты Евангельского учения — на свои недостойные рамена. Мы ждали и надеялись несколько месяцев, что он одумается, но теперь мы видим ясно, что ждать больше нельзя. Наша совесть и звание пастырей не позволяет нам далее молчать, иначе и мы будем искажать этим Истину и Правду Евангельскую, применяя Евангелие к жизненным условиям и ставя человеческие измышления выше Истины, возвешенной Самим Господом в Евангелии. Мы решили твердо, смело и громко сказать, что мы откалываемся от Церкви, где представители церковные не только отказались взять бремя на свои рамена, но искажают Его Истину и где некоторые предпочитают молчать и быть ночными учениками Христа.

Мы твердо можем сказать, что мы в нашей малочисленной Церкви не одиноки. Мы получили благословение архипастырское, и много епископов высказались против деятельности и угодничества высших представителей Церкви, следовательно, наша Церковь является единой, преемственной, получившей благодать от Святого Духа. Мы много перенесли душевных страданий, решившись отколоться, но мы великолепно сознаем, что это лишь начало скорбей, которые нас ждут. Все мы предстанем перед судом Единого Властителя, Повелителя, Архипастыря нашего Иисуса Христа. Мы предстанем пред Ним с единым лишь оправданием, что мы не исказили Его учения, свои преступления и грехи мы не возлагали на Него, мы не забрызгали грязью Его учение, стараясь сохранять и охранить чистоту Его.

Дорогие братья и сестры, перед вами стал очень

тяжелый вопрос — будете ли вы с нами, отколовшимися, или же останетесь в прежней Церкви. Убеждать, уговаривать вас не будем. Обдумайте серьезно и придите к твердому решению, свободному от случайностей, от какого-нибудь житейского увлечения, чтобы потом не хромать на обе ноги.

ИЗ ПРОПОВЕДИ

Киев, 10/X 1928 г.

/.../ Меня страшит и мучит страх не за себя и свою судьбу, а за вас, с которыми я привык столько лет молиться и беседовать. Кто из вас найдет в себе силу пойти за нами, избрать и пройти до конца тот тернистый, скорбный путь, отречься, может быть, от единственной радости, оставшейся нам среди наших горестей, когда мы уже все потеряли, отказаться от радости принимать участие в служении церковном, вообще от всех радостей и утешения, что дает Церковь. Возможно, что не только этот храм, но и все закроется для тех, кто из вас пойдет с нами. Не падайте духом. Помните, что если все закроется, то останется храм нашей души, где Господь может воздвигнуть престол Свой. Оберегайте же и храните его. Пусть каждый только после серьезных и долгих размышлений решится на этот путь. Проверьте себя, чтобы потом не дойти до полного отчаяния. Иисус Христос ушел из храма, когда увидел, что творится там. О тяжелых временах были и раньше предсказания, но мы не ждали, что так скоро наступит. Преподобный Серафим предсказал, что за преступления епископов отнимутся храмы у нас. Благодать Духа Святого отошла от храмов. Может быть то, что нам

не удалось вымолить в прежней Церкви, удастся вымолить в нашей Единой Апостольской Церкви. Я говорю о тех, кто в силах будет идти по этому пути, сохраняя до конца верность Правде и чистоте Евангелия.

Не падайте духом и помните, что во время великих скорбей Бог посылает и великие радости. Он пошлет Своих пастырей, а пока вверим себя Его руководству, Единого нашего Пастыря. /.../

.....

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Дальнейшее служение батюшка совершает в храме Преображения, где служит о. Спиридон, который тоже примыкает к отделившимся от митрополита Сергия.

Наша община продолжает жить своей жизнью; помогая и укрепляя друг друга, жила наша молодежь. Уже не один брак совершился в недрах общины, зажигались свечечки "малых церквей", росли дети, но все тревожнее и тревожнее становились проповеди батюшки.

ИЗ ПРОПОВЕДИ

Киев, 9/VI 1930 г.

Господь наш Спаситель не оставит Своих рабов в чрезмерной скорби, как не оставил Свою Церковь в чрезмерных обстоятельствах.

Так было, так и есть с нашим народом. Последние годы величайших испытаний для Церкви, величайших скорбей, какие Церковь когда-либо испы-

тывала, когда Она должна была видеть сынов своих, как они ругаются над святыней, изменяют святыне и уходят в страну далекую. Среди скорбей и испытаний не оставляет Церковь нас своею милостию и накануне скорбей проявила особую милость... Господь благословил, и Дух Святый соизволил, и в Москве был созван Церковный Собор, и после долгого перерыва раздался голос Русской Церкви и прозвучал для того, чтобы дать ободрение для верующих сынов. Московский Собор восстановил разрушенное патриаршество и указал путь, по которому должна идти Церковь Русская.

Среди множества других дел... он установил новый праздник — всех святых земли русской.

/.../ Если память какого святого обличает нашу жизнь грешную, безумную, то образ святого, сродника нашего по плоти, особенно обличает нашу жизнь, и они имеют право обличать нас и призывать к суду. Они отцы наши, они родили нас в муках рождения не только по плоти, но и по духу. Своими руками они несли величайшее сокровище, сокровище пресветлого Православия, и передали нам, как святыню, как наследие, как дар отцов детям. Взирая на них, мы не можем не испытывать жгучего стыда за все, в чем виноваты перед их даром наследства. Мы верим, что они с нами, когда говорим о них, призываем их имена. Каким взором смотрят они на нас, что должны испытывать за нас — радость или печаль, чувство удовлетворения или жгучее чувство стыда за детей, оставивших наследие и ушедших на страну далекую. Что должен испытывать митрополит Филипп или патриарх Гермоген, взирая на своих преемников, принявших от них жезл святительства и бросивших его к подножию

мира? Что должны испытывать преподобный Сергий и преподобный Серафим или пламенные угодники, истинные священники Бога Вышнего, взирающие на нас, имеющих дар священства, но не имеющих дара чистоты молитвы, умиления? Что должны испытывать предки наши, в мирском звании достигшие спасения — Михаил, князь Черниговский, боярин Феодор, отказавшиеся прыгнуть через огонь, предпочтя смерть измене. Что должны испытывать они, видя, как их дети готовы скакать через всякие огни, чтобы спасти кусок своего имущества, не думая о правде... Дети их, мы, должны закрывать лицо перед отцами, мы должны плакать, потому что мы блудные дети, мы, изменившие отцам, мы, растоптавшие наследство, и полученную святыню готовы растоптать в угоду миру, лжи, неправде...

Мы не знаем выхода, потому что изъязвлены грехом, бессильны, немощны, преступны... Наши отцы, они не могут не жалеть нас, заблудших, скорбных, и их любовь больше отвращения и снисхождения, больше гнева, они не только обличители, но и помощники, заступники, молитвенники.

Отцы святые нашей Отчизны, сродники наши по плоти, простите нас, блудных сынов, безумных, преступных, скверных. Там, у Престола Царя Небесного, помолитесь о каждом из нас, помолитесь о земле родной, о Церкви, о настоящем, о будущем, отвратите нашу печаль, волной разливающуюся, чтобы приобщить нас великой радости в день суда стать и поклониться Богу Вышнему, Богу отцов наших...

ИЗ ПРОПОВЕДИ, СКАЗАННОЙ
ПОСЛЕ ПОГРЕБЕНИЯ АРХИМ. СПИРИДОНА

3/IX 1930 г.

/.../ В это воскресенье мы были свидетелями и участниками необычайного: эта толпа, тысячи людей, вышедших на встречу гроба священника — необычайна, эти люди, стоявшие около церкви в течение многих часов, встречавшие на улице, на окраине города, пришли не ради любопытства, суетной мысли, пришли хоронить своего священника, вождя, друга, научившего их верить, любить, молиться.

Все было необычайно: толпа, цветы, венок, который несли нищие, толпы детей... Может быть когда-нибудь город наш видал более торжественные, многолюдные похороны, но не было более необычайного, чем это погребение, необычайного потому, что человек, которого мы провожали, был необычайным, непохожим на других...

Наличие церковной действительности не удовлетворило его: он скорбел, обличал и хотел найти другие пути церковной жизни, путь, который состоял в том, чтобы собрать в единое тело и научить деятельной любви друг к другу и всем скорбящим, обремененным, нуждающимся. Он возродил древний церковный идеал, и это было совершено в нашем городе. Как ни ужасны были условия, при которых проходило его служение, как ни трудно было дело, мы видим, как много он сделал. Он показал и верующим, и неверующим — что такое Церковь и священник. Неверующие и отошедшие от Церкви увидели образ Пастыря, полного любви, верующие увидели... что христианство является не только в молитве, но и в любви. /.../

Не смущайтесь тем, что он был плохо понят своими собратиями и верующими. Закон христианской жизни в том, что каждое высокое служение вызывает преследование, непонимание. /.../

ИЗ ПРОПОВЕДИ

8/IX 1930 г.

... Как бы ни безумствовал грех, как бы ни вздымал темную пену против святости и непорочности, мы знаем, что святость победит, потому что по грешной земле нашей прошли стопы Единой Чистой. Церковь, как бы ни казалась гонимой, не погибнет, потому что сердце Церкви — Богоматерь, и это сердце облечено в вечную святость божественной любви...

Святость эта — источник возрождения, победа вечной жизни.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Покров 1930 г. был последним днем служения батюшки. 1/X 1930 г. он был арестован, долго его держали во внутренней тюрьме на Лубянке, потом в Бутырской тюрьме, и после годового следствия был вынесен приговор. Отца Анатолия и Владыку Дмитрия Гдовского вызвали из камеры в коридор и прочли приговор: "Приговорены к высшей мере наказания". Батюшка и Владыка перекрестились. Через несколько томительных секунд приговор был прочтен до конца: "расстрел заменен 10-ю годами лагерей".

Начались лагерные мытарства: Свирские лагеря, Соловки, Беломорский канал...

Свирьлаг, декабрь 1931 г.

Я оказался значительно ближе к родным пределам, чем предполагал. Я оказался не в Соловецких, а в Свирских лагерях. Почтовое отделение "Важаны, Ленинградская обл., 2-е отд. Свирских лагерей". Я на различных случайных и канцелярских работах, больше всего был сторожем. И сторожевая работа — 8 часов на воздухе, наедине с собой, это мне по душе. А одежда у меня теплая, и холода я не испытываю... Жилищные условия бывали различные. Но теперь они вполне удовлетворительные. Здоровье в обычном состоянии. Ревматизм в лагере не проявлялся. Питаюсь вполне удовлетворительно. Душою я бодр. Живу верой в Бога...

Свирьлаг, 14/І 1932 г.

/.../ Я получаю посылки и письма. В связи с переменной категорией у нас я зачислен в 3-ю инвалидную, зачет трудовых дней у нас производится. Срок мой считается с 10 ноября 1930 г. по ст. ст. со дня приезда в Москву. — Приговор мне вынесен по 6-му и 11-му пункту 58 статьи. Новый адрес мой: Свирьстрой, Ленингр. обл. 1 отд. Свирьлага. Я живу теперь в лесу, где вероятно хорошо будет летом. Живу теперь в комнате вдвоем, и это для меня простор небывалый. Работаю немного и по собственной охоте помогаю только в счетоводстве, так как мой туберкулез освобождает меня от всякой обязательной работы...

Толстовская дача¹¹, 8/ІІІ 1932 г.

Лежу в большом бревенчатом бараке на отдельной койке... Я здесь на положении хронического

больного вследствие своего туберкулеза. Для меня ведь так знакома и так привычна эта обстановка больницы одного из мест заключения, ведь при каждом из своих "сидений" я попадал на больничную койку. И в последний раз в Бутырках я был в больнице дважды: первый раз еще в последний месяц твоей свободы, в январе 31 года, второй раз, как ты знаешь, в июле, оба раза с острым ревматизмом... Как я был удивлен, когда, помню, внесли меня в знакомую камеру — ведь в первый и второй раз я лежал в той же самой камере, где лежал в 23-м году. Здесь за время моего пребывания я уже второй раз в больнице и сейчас вот уже второй месяц... ведь это мой обычный, хорошо знакомый туберкулез с его обострениями.

В бараке людей довольно много, но я среди них один... Это большей частью все уголовные, и их непереносимый жаргон с душами, вывернутыми и оскверненными, большей частью, еще в младенчестве... Я почти целыми днями молчу, но слушаю часто... Мне хочется проникнуть глубже в страшный мир этих душ, уловить, рассмотреть своеобразие линии их жизни. Мое молчание, мое одиночество не тяготит меня. Оно напоминает мне незабываемые дни моей четырехмесячной одиночки, когда я был не только один, но и без одной книги...

31/III 1932 г.

Вот, представь себе аптеку, уставленную всевозможными банками, стопки всевозможных форматов, весы, и среди этих полок и банок — я — обычно в белом халате за работой. Работа интересная и даже увлекательная. В свободные часы занимаюсь тео-

рией дела. Выписал себе кое-какие книги. Условия жизни хорошие. В таких я еще не жил в лагере. Здоровье сильно поправилось и вошло в обычную для него норму...

Такова жизнь сегодняшнего дня, что будет завтра — не знаю, ведь тут так обычны перемены...

Божья ласка, посылаемая нам на нашем скорбном пути, как напоминание о беспредельной радости и милости, что ждут нас в лоне Отца Небесного. Помнишь, как мы втроем в день сорока мучеников читали стихиру и слова св. Василия Великого: "люта зима, но сладок рай, мучительна стужа, но блаженна вечность". Как часто, находясь в своей одиночке, перекликался мысленно с тобой именно этими словами, вспоминая любимые стихиры и песнопения... У нас уже весна! Просыпаешься утром, и хотя невеселая картина из окна — но небо все розовое, голубое, все золотится от лучей солнечных.

Великая Суббота

В Великую Субботу, в часы, когда переоблачается Престол и отлагаются траурные одежды, я уже не у Престола и не меняю риз своих в этот день. В трауре, в работе, но душа отлагает свою одежду и облачается в радость и ликование. Слава Богу, так говорит все существо мое, и не говорит, а поет каждой своей частицей — Слава Богу!

1 мая 1932 г.

Сижу за оградой лагеря, за высоким частоколом. Передо мной северные наши леса, перелески, прогадины. Утро светлое и небо голубое, голубое. Редко бывает здесь таким, обычно серое, свинцовое. Теперь здоровье мое в состоянии обычном. Я уже не

работаю в аптеке. Я опять теперь сторожем. Сторожу сено. Опять долгие часы один. Вероятно, так нужно: душа теперь свободна, молиться легче, воспоминания, мысли ткнут свою пряжу... Получил "Историю Востока" Тураева, читаю понемногу. Живу в общем бараке, но барак хороший, люди кругом тоже. Сторожу за лагерным забором. Сейчас пишу "на страже".

31/V 1932 г.

Господь отнял у меня такое дорогое священство и алтарь... надолго ли не знаю, но знаю и исповедую: достойно и праведно: "Прав Ты, Господь, и правы суды Твои!" Жизнь моя течет обычным порядком, часов в 5 просыпаюсь от гула пробудившегося и спешащего за кашей барака... до 7 утра надо закончить все дела, а в 7 уже спешу на работу. Теперь в лес — работа по приему и распределению бревен, "окорка" их. Работа посильная и, я думаю, летом полезнее, чем пребывание в комнате. От лучей хотя северного, но все же солнца, и ветра лицо почернело... Прихожу усталый, часа в 4 обедаю (из собственных наших продуктов кое-что готовит в добавление к общему столу один из соузников) и ложусь на час-другой, потом "сверка" — там вечер, обычно на дворе, в одиноких мыслях и воспоминаниях, иногда в беседах. В 10 молитва "на сон грядущий", в 11—12 сон, обычно крепкий, хороший. А ночи здесь совсем белые, без теней и мрака. Такова внешняя оболочка жизни, но внутренняя жизнь — иной мир... Тут воспоминания, и мечты, и надежды, и то, что больше мечтаний — маленькие крупички настоящей жизни... Ведь внешних, трогающих сердце интересов почти

нет, тем определеннее выступает внутренний мир, его сокровище, его запросы.

Так много прочитано и передумано в течение жизни, что самым дорогим после Слова Божия и самым нужным кажется теперь то, что прочитал когда-то, к несчастью так невнимательно, в книгах святых подвижников. Их изречения собираю целыми часами на ниве памяти и, собрав, останавливаюсь мыслями и вниманием.

”Сердечный жертвенник”, ”непрестанная молитва” и ”пусть с самым дыханием твоим соединится Имя Иисусово”. ”Где бы, с кем бы ни был, кого бы ни встретил — будь последним”. ”Самое великое, самое важное, наука из наук и искусство из искусств — войти в себя и познать себя”, вот о чем думаю теперь, как о самом важном. Вспоминается св. Игнатий... После долгой прожитой жизни с дороги в Рим он писал: ”я только теперь начинаю быть учеником”. Как хотелось бы мне начать внутреннее ученичество и после долгих, увы, таких рассеянных и неполных лет, повторить вместе с ним: ”начинаю быть учеником”. И тогда, так верит сердце, — тогда совершится чудо и дар, хотя скорбный, но великий дар страдания... Он, Любящий, восполнил бы другим даром нашей встречи, нашей общей жизни, обновленной жизни...

И может быть тогда, хоть единый раз в жизни принял бы Он от меня, как от Своего священника, слова святого Возношения, буди, буди.

11/VI 1932 г.

... возврат к алтарю кажется теперь не только несуществимым, но просто запредельным. ”Несмы достоин”, вот главное в сознании священника. И ка-

жется, подобно Давиду, не посмел бы теперь даже прикоснуться к святыне, а только издали целовал бы землю, откуда открывается страна святыни.

Я теперь на новом деле — плету корзины из больших дранок. И удивляюсь, как будто успеваю на этом деле, столь непривычном и несвойственном к рукоделию рук.

Уже 10 часов. Наступила светлая, как день, — напоминающая о невечереющем дне — ночь...

30/IX 1932 г.

Канун Покрова. Ночь. Недавно как-то проснулся поздно ночью. Спят кругом... темный душный барак с мерцающим около потолка фонарем. Тела сгрудились. Много, много людей. Обычная, хорошо знакомая картина, обычное ощущение многих ночей долгих этих двух лет... и на душе чувство страшного одиночества, немощи детской и невыразимой... Теперь некуда пойти... И нет того среди окружающих человеческих существ, кому можно было бы вручить хотя бы малую часть предельной, идущей из самой глубины немощи. И помню, вот тогда ночью, почти без слов, с тихим беззвучным плачем точно схватился я за Его руку, припал к Нему, как к последнему прибежищу, Единственному, Близкому, Любящему, Хранящему в Себе огонь и тепло нездешнего милосердия и ласки. О, эти минуты, когда из глубины рвется и припадает к Нему душа. "Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в несчастии моем". Эти слова 18-й кафизмы стали теперь последней ощутимой сердцем правдой...

Жизнь течет однообразно... В дождливых серых сумерках теряются начало и конец дня, а середина тонет в однообразном труде, когда в долгие часы

стоишь в громадном бараке со своим ножом и коло-тушкой перед корзинами... Душа как-то замирает, грубеет от этой постоянной грубости окружающей, дикости, неистовства, ругательства и хулений. Только молишься: "Не оставь, не дай опуститься в эту глубину, спаси Своим прикосновением, как хочешь и как знаешь, спаси без молитвы и подвига. Слышащий каждый вздох, принимающий даже часть некую капли слезной, как жертву благую... скорбь и радость и умиление, и чувство безмерной вины и благодарности и что-то, чему нет имени на языке человеческого, сладостное и мучительное до боли... Бог, вечность... Все остальное, что кругом, как затянувшийся сон. Господи, дай проснуться.

Ушел в ссылку в Архангельск доканчивать десятилетний срок мой сосед по нарам, протоиерей Верюжский.

Завтра Покров. Последний праздник нашей общей свободной жизни.

Россия, моя Россия,
Страна несказанных мук,
Целую язвы страстные
Твоих пригвожденных рук.

Ведь в эти руки когда-то
Ты приняла Самого Христа,
А теперь сама распята
На высоте того креста.

Я с Тобой, на руках моих раны,
И из них сочится кровь,
Но в сердце звучит "осанна"
И сильнее смерти любовь.

Впереди я вижу своды
Все тех же тюремных стен,
Одиночку, разлуки годы
И суровый лагерный плен.

Но я все, я все принимаю
И святыням твоим отдаю,
До конца, до самого края
Всю жизнь и всю душу мою.

Много нас, подними свои взоры,
Погляди, родная, окрест:
Мы идем от Твоих просторов,
Поднимаем Твой тяжкий крест.

Мы пришли с Тобой на распяты
Разделить Твой последний час.
О, раскрой же свои объятия
И прости, и прими всех нас.

Соловки, 25/X 1932 г.

Море... опять море. Властное, могущественное и безбрежное, и торжественное... Опять оно, как в те дни, когда мы были вместе так близко друг к другу, в дни нашей общей такой уединенной радости и любви. Опять оно, оно иное, непохожее, темное, холодное, мрачное... Но все-таки это оно — море... Я под охраной и в лоне Того, Кто ведет за правую руку. Я доволен своим переездом. Мне не о чем жалеть в этих Свирских болотах... Условия жизни были нелегкие — близких, особенно дорогих людей не было — терять нечего. А здесь красота прозрачная, важная и суровая в одно и то же время. Недаром ведь когда-то Нестеров приезжал сюда жить и рисо-

вать. Правда, у меня пока что только первые впечатления. Но это особенно тихие, торжественные впечатления. Они завладели душой с первой минуты, когда два дня назад поздним вечером, после трехчасовой, совершенно не подействовавшей на меня качки, вышел вместе с другими на берег острова, и передо мною, под звездным северным небом выросли кремлевские Соловецкие стены и башни.

Мой адрес: АК ССР, почт. отд. Попов остров, 1-е Соловецкое отделение СЛАГ. Лагерный пункт № 1.

21/ХІІ 1932 г.

Условия жизни здесь настолько хороши, что если бы это было в начале нашей разлуки, надо было бы хлопотать о твоём переводе сюда. Я получил 2-ю категорию... здесь нет тяжелых работ, я остаюсь на старой работе и верю — не будет ничего страшного...

Все об одном думаю я. Летом, говорят, сюда прилетает много чаек, живут здесь в кремле, почти как ручные... Мне рассказывали сегодня об этом. Да зори, зори... И я с высоты кремлевской лестницы смотрю, как за безграничным и темным и бурным морем пламенеют победные тучи... Такова жизнь... Бурная, безграничная, как море... Но там на горизонте лучи, Свет незакатный... после одиночки, особенно после одиночки, бессмертие стало для меня таким явным, несомненным и очевидным...

1/І 1933 г.

Дни бегут за днями... Бог даст, пролетят и эти оставшиеся месяцы... без скорби нельзя нам пройти путь свой... Но после минут самых трудных снова возвращаюсь к Нему смиренным сердцем, целую

благостные руки и шепчу умиленный, пристыженный, покорный и благодарный: "Моя вина — Твоя воля... Верю и предаюсь Тебе, предаю себя в Твои руки".

Соловки, 28/III 1933 г.

/.../ Недаром ведь Страстная приходит весной, и ее принижающая сокровенность сердца, грусть сочетается всегда с первым весенним цветением души... Рядом с этими солнечными воспоминаниями тянутся иные в памяти: храм, страстные службы, страстные напевы, вереница Евангельских образов, таинственный брачный пир, чертог украшенный и Лик Единый, такой в эти дни скорбный. И опять, хотя Он отнял радость и чудо этих служб, но все, все, что пережито в них и через них, все это такое сокровище, что принявшая его в себя душа может жить им и не ощущать скудости не месяцы, а годы — века... И здесь глядит Его взор, грустный и тихий, так же, как там в храме, в устыженное, знающее о своей небрачной одежде сердце... И радость Воскресения — всемирная радость — ведь и для нас и в нас она.

Соловки, 26/V 1933 г.

У нас, наконец, дня три назад начались теплые дни, относительно. Пахнуло теплым ветром, а ветер главное в вопросе о погоде у нас.

Остров становится воплощенной сказкой... дня два назад, в день отдыха, я бродил здесь по дорогам, поднимался с вершины на вершину, и с каждой вершины открывалась новая сказка, новая поэма, поэ-

ма тишины, молчания, голубизны и затвора. Маленькие бесчисленные озера, открывшиеся ото льда, кажется, хранят в себе целые замкнутые миры прозрачной гармонии. Повсюду смыкаются стройные островерхие ряды елей, такие свежие в своей невянущей зелени. Отовсюду море, свободное, безграничное, местами только прорезанное горами льда, занесенными из океана.

Так непривычно видеть морской простор и слышать знакомую кукушку... Овсянки щебечут непрерывно. С своеобразным звуком проносятся над головою дикие утки...

А ночи... Солнце здесь не вечеряющее. Оно не знает заката, в час, два, три ночи я читаю свободно, как днем. Все так необычно, так сказочно.

Соловки, 9/VIII 1933 г.

В грубости жизни, в грубости, доходящей часто до нравственного одичания, окружающих людей самое большое испытание — это грубые слова, жесты, взгляды — нравственные толчки от ближних, это несравненно хуже, мучительнее, чем все здешние испытания. Грязь, темнота, мучительное недоедание и все, что бывало, теперь этого нет у меня.

Любящий ведет на Фавор — я верю и надеюсь. Он отнимает всякую радость, даже радость молитвы. Он предает на раны, большие и малые, сердце, чтобы оно, окончательно сломленное, истекающее кровью, признавшее свое предельное бессилие и сиротство, отдалось Ему полно и безраздельно, обрелось в Его руке, в Его деснице навеки... С невольной тревогой я наблюдаю за собой. Гибель лишенной всякой внешней поддержки души кажется почти

неизбежной, и тогда вспоминаю: "Когда я немощен — тогда я силен" и хватаюсь за край Его одежды.

Внешне все благополучно. Я работаю делопроизводителем в совхозе... Работа кропотливая, для меня новая. Но все это ничего. Получаю посылки и очень окреп за лето... Хожу гулять. Иногда приношу чернику и морошку... Живу в хорошей светлой комнате за кремлем. Во все окна смотрит красота.

Море, озеро и камень тоже облечены в лепоту.

Дни идут за днями.

Парандово, 26/II 1934 г.

Неделя Крестопоклонная. Завтра опять куда-то еду¹². Кажется опять на 4-й лагпункт. Уж такая жизнь моя неприкаянная здесь, бесприютная. Но чувствую, что месяц, прошедший на берегу шумного Выга, пролетел недаром. Сколько я передумал здесь.

Причины переезда опять неясны. Куда — в конце концов не так важно. Только бы сердце сохранилось в Нем и с Нем.

Парандово, 27/II 1934 г.

У меня жизнь налаживается. Я — статистик... Работа, условия жизни неплохие... А потом... мне везет в лагере, а это ведь важно...

Сосновец, открытка без даты.

Принимаю все испытания... Они уже начались. Все было так хорошо! Условия жизни, работа, люди... Но, как это обычно на моем лагерном пути, все изменилось после первого же дня, в одно мгнове-

ние. Я в общем бараке на пункте, пока на общих работах. Но все это не пугает меня теперь, не кажется мучительным... Все это без всякого внешнего повода... Не присылай мне ничего лишнего, с вещами будет трудно... Мой адрес: 5 отд. ББК, с. Сосновец, 2-й лаг/пункт.

Ст. Выгозеро, 1/III 1934 г.

Я опять на Выге (километра 4 от л/п.). Я переведен сюда на общие работы. Хожу, что-то пилю, строю, сооружаю. Право, мне кажется, что лучше и проще тяжелой канцелярской суеты. Вообще, чувствую, как все эти внешние пертурбации все меньше и меньше волнуют и трогают, хотя физически, конечно, сильно утомляют... Обидно очень, что опять будут у меня перебои в получении писем и посылок. Живу в маленькой кабинке на крутом берегу Выга. Выговская пустынь, старообрядческие скиты. Здесь укрывались "раскольники" от зоркого ока. Выг — река необыкновенная. Она течет в своем глубоком ложе по камням, уступам незамерзающими и немолкающими водопадами. И днем и ночью в кабине постоянный то затихающий, то усиливающийся шум — говор Выга.

Утром, совсем рано, пробираюсь по снежной тропе, вглядываюсь в противоположный берег, каждый день расцветенный по-новому, воплощающий в золоте, пурпуре, голубизне, новое откровение.

.....

Сосновец, 22/III 1934 г.

Сегодня ночью прибыл в Сосновец, прибыл вместе с инвалидами и активированными для переосвидетельствования, в связи со своим туберкулезом.

Что будет из этого, не знаю, боюсь, что только путешествия, переброски и прочее... Но все в Его воле.

Доехал благополучно, на первых порах размещаюсь, кажется, тоже недурно. Только в Сосновце все новые, кого я не знаю из людей, все уже разъехались. По-видимому, еду в Кузему. Инвалидная командировка, 9-е отделение.

Сосновец, 27/IV 1934 г.

Я в Кузему не поехал, остался в Сосновце. У меня полной инвалидности не оказалось (III кат., 60%, легкие работы в лагере). Я доволен, что избавлен от этапов и долгого пути. Еще никаких определенных занятий не получил, ходил сегодня на общие работы — нетрудные. Как сложатся обстоятельства дальше — не знаю, но острота положения относительно меня явно миновала, стояли Соловецкие острова и другие перспективы. Посылку с пути получил. С посылками вообще здесь будет легче, так как здесь центральная экспедиция. Не надо только присылать продукты для приготовления пищи, так как печи на зиму убраны, готовить негде.

Тунгуда, апрель 1934 г.

А я пишу с нового места, 2-й лагпункт, 5-е отделение, ст. Тунгуда. Прибыл сегодня ночью. Долго ли здесь буду — не знаю, но чувствую, что буду недолго

и двинусь дальше. Куда? Может быть в Соловки, может быть в другой какой-нибудь дальний край, не знаю. На сердце спокойно и радостно... Внешне все хорошо, только посылки гуляют. Особенно обидно, что сапоги еще не дошли.

Сосновец, май 1934 г.

/.../ Я в Сосновце на общих работах... Работа нетрудная, да ведь у меня 3-я категория (60% легких работ), все это страховка от непосильной при моем здоровье работы. Живу в общих условиях, не так, как недели три тому назад. Как все пойдет дальше — не знаю... Есть какое-то чувство, что я опять здесь непрочно и куда-то скоро двинусь, но, может быть, это просто привычка, образовавшаяся от постоянных переездов... Переправы мои обошлись благополучно, и из всего скарба потерял только маленькие щипчики. Это наредкость хорошо и удачно.

Как хорошо... знать, что все Божье, что нет какого-то отдельного Божьего дела, нет каких-то особенных мест или положений для служения Ему, а всякое дело может быть Его делом... вот эта убогая, каменная, вьющаяся среди маленьких елок и только что распустившихся кустов дорога — Его дорога... Вот этот труд над переброской и выниманием бревен и досок — Его дело, служение Ему, и, наконец, этот дощатый барак с койками — может Его таинственным и полным благодати и трепещущих ангельских крыльев царством.

Я писал, чтобы не присылали продуктов для варки, так как варить негде, но теперь возможность варить опять есть. Только смущает меня эта безграничная и самоотверженная щедрость.

Сосновец, 17/V 1934 г.

Я опять в сборах. Дня через два должен опять ехать в Тунгуду, жить на приемных основаниях. Мои сообщения о радужных перспективах, о возможности для меня других условий — оказались преждевременными. Ну, да мне здесь особенно терять нечего, да и вообще во мне как-то притупилась чувствительность ко всем этим передрягам и неприятностям.

Что ждет в Тунгуде, не направят ли меня с другими дальше еще куда-нибудь, не знаю. Последние дни и последние ночи прошли у меня в хлопотах. Я на несколько дней опять оказался статистиком, да при этом пришлось работать в таких условиях, что не знал покоя ни днем, ни ночью. Это было, конечно, хуже всяких общих работ, наполнило душу мою суетою и суетой, так что и бесконечно любимые и дорогие Троицны дни не ощутил и не провел так, как хотел.

Только мгновениями в суете и вихре, несмотря на все, глубоко и остро радость касалась сердца, и тогда все существо становилось благодарностью Ему — но проходил миг, и вихрь суеты снова уносил дальше...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Тунгуда, май 1934 г.

Мы приехали утром в лагпункт Тунгуда¹³. Начальник лагпункта категорически отказал в свидании с батюшкой, ссылаясь на общее распоряжение, но разрешил остановиться в пустующем бараке, носящем название "дом свиданий", и обещал по окон-

чании рабочего дня прислать заключенного для передачи для батюшки.

Недалеко от лагпункта производились земляные работы. Группами и поодиночке работали люди в серых бушлатах, что-то копали, возили на тачках... Вдали стояли стрелки.

Мы подошли ближе. Низко нависло холодное северное небо, моросил мелкий дождь. Кругом было серо, неприглядно, уныло. Временами дул резкий ветер, низко нагибал чахлые березки... Ноги тонули в вязкой черной земле... Идти было томительно трудно... Подойдя ближе к работавшим, мы увидели батюшку. Он стоял, опершись на лопату. Худое, усталое лицо его все обветрилось и казалось бронзовым. Бушлат и шапка намокли. На сапогах были глыбы густой грязи. Он обернулся и нас увидел... Он был очень голоден и, когда ел хлеб, принесенный нами, весь нервно дрожал.

А вечером, после работы, в сопровождении конвоира пришел заключенный, присланный за передачей, — это был сам батюшка.

В небольшой, слабо освещенной клетушке за столом я угощала привезенными продуктами стрелка. Он ел охотно, разговаривал, не торопился уходить, не следил за своим подопечным.

В темном углу на скамейке батюшка разговаривал с Ниной. Заключенный "не смог" взять всю привезенную передачу, хотя она и не была так велика, и приходил еще за ее остатками на следующий день вечером в сопровождении стрелка...

Хорошо жить на Божьем свете, когда сквозь всю непроглядную жесткую кору жизни могут пробиться доброта, любовь, внимание, даже в самое суровое время, при самых тяжелых условиях.

Надвойцы, 19/VIII 1934 г.

Пишу опять с нового места. Вчера в канун светлого сегодняшнего дня простился с Тунгудой и особенно с баракком около плотины, где оставил столько воспоминаний.

Ночью приехали вместе со всей бригадой в Надвойцы. Сорок пять километров пути совершили на барже по каналу и Выгу. Ехали часов 12. День выпал прекрасный, солнечный, жаркий. Голубое небо, вода... Облака сквозили солнечными лучами. И так же проходили в душе пронизанные светом облака. Хорошо было. Путешествие ничем не омрачилось. Надвойцы по местоположению очень привлекательны. Здесь иной воздух, чище почва, чем в Тунгуде — не болотистая, как там, в скалистая. На всем печать особой прозрачности, напоминающей Соловки северной красотой. Особенно хорошо озеро Выг, просвечивающее через перелески. Я не знаю, но думаю почему-то, что где-то здесь должна быть Выговская пустынь...

Надвойцы, 16/VIII 1934 г.

Уже ночь. Барак спит, а я пишу. Этот день... Какой ответ дам за него и за все прожитые от него годы Богу моему в день ответа? Прав Он и сегодня, лишивший меня того, к чему был призван — соучастия в Его вечери... Разлука с Его престолом мучительно бесконечно, — но сердце исповедует правду Его суда.

Последние дни в работе не был так отъединен от других, как раньше, не мог потому сосредоточиться во внутренней своей келье. А от рассеянности и

растерянности духовной все внутри обесценивается и блекнет... Ведь вся радость и вся жизнь во внутреннем сокровище, и когда оно оскудевает в сердце, жизнь становится будничной и осенней. На работу хожу — пилить дрова... Погода стоит необычайная. Дни светлые, ясные, хотя день ото дня все холоднее. Скоро нужны будут теплые варежки... Неловко и писать, сколько раз мне их присылали. Жду обещанных книг.

Надвойцы, 6/IX 1934 г.

Моя жизнь по-прежнему в двух планах. Во внешнем без особых перемен. Много работы. Устаю. Пил дрова. Как будто усвоил это искусство и "ставлю" десять кубометров "на пору". Теперь вожу в тачках и ношу на носилках глину. Несмотря на утомление и усталость, нахожу в физической работе для себя особую привлекательность. Есть что-то в ней, в противоположность всякой суете, есть что-то, что гармонирует с внутренней работой, ей помогает. А это — самое главное. Это — вторая жизнь, подлинная, настоящая, каждый день иная, новая, своеобразная. Кажется иногда, что вот сейчас достигнешь желанных врат царства — мгновение, усилие, и трудная основная задача будет разрешена — найдешь ту точку, с которой весь мир открывается в лучах благословения, где тишина, покой и близость Божия...

Так кажется, но мгновение проходит, и какое-то случайное обстоятельство, раздражающая мелочь или темный взрыв изнутри показывает явно, "как труден горний путь и как еще далеко, далеко все, что грезилося мне". Все время чувствую себя учеником. Кажется иногда, что настоящие практические

занятия по "философии" не там, в уютном университетском семинаре, а здесь, за тачкой. Только, к сожалению, здесь никак не могу получить желанного зачета...

Надвойцы, 16/IX 1934 г.

У нас уже настоящая, так быстро наступившая осень. Дождь, ветер, пасмурное, бессолнечное небо, холодно. Только иногда, как напоминание о пролетевшем, таком ясном, сияющем лете, на какой-нибудь час уже так мало греющее солнце снова льет свою лучистую благостыню...

Господи! Так тоскует душа о Литургии.

Седое утро. Рано. Реет мгла.
Мороз и иней. Тишина. Молчанье.
Прибрежных сосен смутно сочетанье.
Работа началась, звенит пила.

Мгновения летят. Над Выгом, словно
встарь,
Заря воздвигла огненные храмы.
Плывет туман, как волны финиама,
Престолы — острова, и небеса — алтарь.

Пила звенит. Молчи. Терпи. Так надо.
В себя войди. В венце живых лучей
В глубинах сердца — храм. Готовь елей,
Войди в алтарь и засвети лампаду.

Ты слышишь: ангелы спешат в незримом
сонме.
Ты слышишь: клирное они свершают пенье.

Слепотствующим труд, для зрячего — служенье.
Любимый близко. Здесь. Премудрость. Вонмем.

Надвойцы, 4/II 1935 г.

Последнее время сильно утомляюсь на своей работе — работал на лесном заводе, — и это более утомляет, чем пила дров, хотя и пила теперь для меня была бы тяжела, так как на последней комиссии я получил опять простую 3-ю категорию, по выходе из лазарета я имел 60%. Устаю сильно, и все-таки жизнь кажется такой содержательной, богатой и интересной и... впечатление не одной недели и не одного месяца. Первое и самое важное, это та внутренняя задача — строительство внутреннего храма, — которая неотступно стоит перед сознанием. Я чувствую, как малы мои усилия, и вижу — за весь пройденный путь даже не положил начала благого! Тут приливы и отливы, и так часто отлив относит назад за прежнюю черту и разрушает как будто уже собранный плод работы. И тем не менее какими полными и содержательными делают день и ночь и самые смены разных духовных упражнений и деланий. Вкрапляясь в физическую работу, они притупляют и ее жало, труд незримо претворяют в служение. И ведь это схождение внутрь переживается как служение миру. И перебирая, как драгоценные четки, длинный ряд имен любимых, чувствую, как близкими сердцу становятся отделенные далями пространства.

Второе — это работа мысли. В самые трудные дни я обладал способностью читать трудные вещи и думать над ними. И теперь, придя с работы часов в 5 1/2 и отдохнув до 7, я берусь за книги, и за чте-

нием и мыслями я не слышу и шума барачной жизни. И все направляется к единому центру, и острее, направленное против основ моего миропонимания, становится во мне радостным утверждением "осаны"... на днях случайно слышал трепетные звуки Лунной сонаты, любимой...

Теперь о прозе, о присылке брюк. Не надо ни присылать, ни покупать. Я получил очень хорошие ватные "1-го срока".

У нас совсем тепло, но теперь два дня похолодало опять.

Надвойцы, 10/V 1935 г.

Ведь где-то настоящее тепло, настоящая весна. Где-то распутившиеся березы, нарциссы, сирень. Где-то солнце льет тепло золотистым трепещущим потоком. Ведь вчера прошли уже "розалии весенние святителя Николы". А у нас под нашим северным небом... Правда и у нас уже в воздухе ощущается что-то весеннее... Если поверх фуфайки, свитера, "частей лисовых" и теплой рубашки одеть "бушлат", то, пожалуй, в полдень, если не дует северный ветер, а это бывает не часто, — пожалуй, и не холодно. Река уже почернела и скоро, пожалуй, и тронется. Снег белеет еще только местами, проталинами, но... ведь это так не похоже на настоящую весну, как мучительное томление одиночества на жизнь настоящую, полнозвучную, пронизанную лучом и голубящей улыбкой. Но надо терпеть... Только бы не застыла, не замерзла душа, и не завяла бы совсем, не обнищала бы до конца в этой суете и томительной беспраздничности. И вместе с тем я знаю, что Господь близко, что прежде всего от себя, от

собственной духовной праздности эта темнота и скудость...

"Рай – есть любовь Божья".

Св. Исаак Сириянин

И этот шум, и крик, и эти нары,
И тесный лагерный барак,
Блевотина хулы, неверья мрак —
Все это только ведовство и чары.

Не верит сердце тягостному сну,
И не сомнет суровый гнет насилья
Моей души трепещущие крылья,
Не победит грядущую весну.

Весна... Алеет утро... Тени
Бегут, скользят: и нежный аромат
В прозрачном воздухе струят
Омытые росой кусты сирени.

Весна в моей душе. Моя душа, как сад,
Проснувшийся, оживший на рассвете,
В слезах омыты венчики соцветий,
Благоухают и в лучах горят.

Пусть жизнь в оковах. Дух уже расторг
Оковы тьмы. Путь неукорный к раю
Открыт. Любовь есть рай. Я знаю.
И в сердце тишины, молитва и восторг.

Надвойцы, 27/VIII 1935 г.

Читаю много, но всю относительно большую библиотеку отдал бы, как Татьяна, всю пылкость своей жизни за полку книг, своих книг. Между прочим

все больше и больше убеждаюсь в необходимости читать, перечитывать и передумывать "классические вещи". Насколько это больше дает, чем всякое случайное чтение. Например, я перечитал не один раз "Гамлета". Для меня теперь это целое новое мироотношение. Толкования Гете, Белинского, Фрейда кажутся мне неудовлетворительными, а при моем понимании, которое связано с идеей воскресения и тоской об отцах усопших, "Гамлет", действительно, величайшее прозрение и человеческий документ.

О здоровье моем не беспокойся, все благополучно. Мне впрыскивают мышьяк, что впрочем мне не совсем выгодно и удобно, потому что делает мой аппетит волчьим. Работаю в общем по-старому. Пилка дров — мое "служение", выгрузка, часто ночная, что не совсем приятно. Но скоро, кажется, начнет действовать наш лесозавод.

... Мне иногда кажется, что старость может принести тот плод радости, который ищут, как синюю птицу, на перепутьях жизни. Выходя из удушья страстей в тишину... Светлое озарение духовной юности, утренняя заря в сердцах наших. Вот чего жду и чаю.

Надвойцы, 16/XI 1935 г.

У нас некоторая новость. В кодексе существовала ст. 401. Она говорит, что отбывший половину срока может быть освобожден досрочно. Статья эта, до сего времени широко применявшаяся в домах заключения, в лагерях не была в ходу. Теперь получено распоряжение о широком ее применении к з/к в лагерях, без различия статей и сроков. И нам, отбывшим половину срока, предложено подать

заявление, которое должно быть рассмотрено местной комиссией, а потом направлено на утверждение Медвежьей горы... И я в числе очень многих подал заявление, хотя об успехе думать не приходится...

Надвойцы, 4/XII 1935 г.

... Когда я думаю о воле, жизнь представляется именно так: маленькая комната, где-то в заброшенном тихом уголке. Закрывать все входы от внешнего мира, оставив только одно окно, через которое струится золотая лазурь. Из внешнего, как необходимость, оставить только труд для насущного хлеба, лучше полуфизический, какое-нибудь место сторожа... Поставить у своей иконы аналой, развернуть на нем книгу и переходить по церковным кругам от слова к слову, от видения к видению, от памяти к памяти, от света к Свету. Из всех воспоминаний моей богатой впечатлениями жизни самым сладким является детское воспоминание о часах молитвы в храме. Прежде всего о часах литургии. И вот теперь, после всего пережитого вернуться к этим воспоминаниям, повечерелым, может быть, уже освобожденным от гнетущего зноя страстей сердцем погрузиться в море церковной красоты, упиться ею — вот еще неутолимое желание моей жизни...

Я знаю, что отсутствие храма это громадное лишение, это настоящее большое горе, но все же и вне храма остается столько неиссякаемых манящих возможностей... может быть это настоящий "идиотизм", но так у меня, и я не могу не быть искренним. Вот здесь я читаю очень много, иногда слушаю музыку Бетховена, Моцарта, Чайковского, Бородина, но все это только суррогаты, и кажется мне,

если бы был на воле, минутки не было бы свободной, так жадно я старался бы каждое мгновение отдать вожделенной красоте. Служение красоте есть для меня — служение Воскресению. Маленькие заботы жизни — приготовление дров, пищи, уборка и прочее — все это не нарушает мира, но может быть радостным.

Конечно, труд есть труд, и не утомлять он не может. Но во всяком случае это не то что прошлогодние десять кубометров, о которых вспоминаю с жутью. Да и главное, у нас совсем еще тепло, необычно и безветренно. Начало зимы прекрасное.

В нравственном отношении работа — отдых и успокоение. Тяжело другое, постоянная нелепость барачной жизни — шум, ругань, непрестающее оскорбление тайны материнства, извержение целого потока испражнений, заражающих воздух, которым дышу уже шестой год... Вот тягота...

Сегодня утром видел северное сияние. Оно не так ярко, как в Соловках, но все же прекрасно.

Надвойцы, 18/XII 1935 г.

С праздником Рождества Христова. Еще один год, еще один праздник...

У меня все по-прежнему. Только вот на свое заявление я получил ответ — отказ из первой местной инстанции. Однако мне разъяснили, что это временно, что через месяц я могу подать заявление опять с надеждой на успех, что отказ вызван не личным отношением ко мне — характеристики на этот раз дали вполне хорошие — а общими соображениями относительно людей такого типа, как я. Проще: так хо-

чет Тот, Кто ведет нас... Так нужно... иллюзий строить не надо.

Прислали мне полушубок. У нас очень тепло, 2—3°. Читаю Гоголя.

Надвойцы, 28/III 1936 г.

Христос Воскресе!

Великая Пятница. Так мучительно хочется церковной сладости. Как остро чувствую эту мучительную боль от неопределенности, разлук, ожидания...

Надвойцы, 26/V 1936 г.

У меня есть новость, неожиданно я снят с общих работ и назначен экономистом-статистиком в производственно-техническую часть колонии. Работы будет порядочно — целое море всякого рода цифр. Ну да как-нибудь не утону в них. Зато отойду от физического утомления... Я здоров... Погода неплохая...

Надвойцы, 23/I 1937 г.

У меня во внешней жизни некоторые перемены к худшему. Я опять в "барак" с двойными нарами "вагонной" системы, в "лагере", который ты видела издали. Много народу и притом самого разнообразного, шумно и утомительно. Работа прежняя, только много приходится работать по вечерам, и все это вместе несколько удручает и нервирует: новое доказательство духовной невоспитанности и слабости моей.

Надвойцы, 6/II 1937 г.

/.../ Еще до всего того, что случилось, еще давно я думал о том, как трудно будет тебе, если мама уйдет раньше тебя в иной мир. За тебя было всегда тревожнее, чем за нее. Мучительные, страшные страдания перед смертью увеличили и твою муку невыразимо.

... во время этих страданий тебе говорили, что при виде таких страданий можно потерять веру. Я думаю, что те, кто говорил так, не смотрели никогда пристально на Распятие, не переживали Его тайны в глубине сердечной. Страдание невинного, страшное смертное страдание, крест, принимаемый на рамена перед лицом Вечности, ведь это самое основание нашего миропонимания, нашей веры... Взгляд, что страдание всегда есть наказание за личные грехи, вовсе не христианский... Он подвергнут уничтожающей критике еще в книге Иова. Но для нашей веры страдание есть преображение мира в целом, соучастие в творческих божественных планах. Мы судим всегда по поверхности, мы видим только внешнюю оболочку жизни. Мы не видим тех глубоких слоев бытия, где совершаются подлинные события и перемены.

Одна благая мысль, одно благое чувство или желание, один миг страдания могут произвести больший сдвиг в жизни, в космосе, чем внешние громадные дела — только этот сдвиг невидим для внешних и видящих внешне взоров.

Когда Он был вознесен на Крест, когда Он был раздавлен миром, не казалось ли всем окружающим, что это страдание не только незаслуженно и чудовищно, но и бессмысленно? На самом деле именно

оно дало спасение миру, окончательную победу над смертью, светлый дар воскресения.

Ты пишешь о маме, что страдания довели ее до того, что остался с ней один безумный вопль физической муки.

Но прости, от твоего рассказа в целом получается другое впечатление... Самые слова невыразимой муки последних часов: "Господи, больно" — разве не говорят они не только о боли, но вместе с тем и о совершенной вере, покорности, терпении, о высших ступенях духовного восхождения? Сравню опять Божеское с человеческим. Вспомни о Нем. Ведь и Его страдание на кресте выразалось в воплях: "Боже мой! Боже мой!", но разве эти вопли, мука последних минут, разве они не живое свидетельство Его совершенного богочеловечества?

... Ты спрашиваешь о будущей встрече, и сердце боится всецело отдаться утешению веры. Но нам ли в этом сомневаться? Ведь опыт любви, весь опыт Церкви со дня Его восстания из мертвых — нерушимый залог нашего упования. Более несомненно, чем наше собственное бытие — эта грядущая встреча, когда мы познаем друг друга совершенным познанием, неведомым на земле, и возлюбим совершенной еще не открывшейся здесь любовью. И мало этого. Эта грядущая встреча — не только наша надежда, но прямая цель нашей жизни. Каждое наше движение, каждая мысль, каждое желание благое, воздействуя на невидимые, но глубочайшие тайны мира, приближают или, напротив, замедляют миг мирового преображения... И самое страдание тоже есть вклад наш в этот творческий подвиг преображения космоса.

... Я знаю, как бесконечно трудно тебе, как кро-

вью истекает от боли твое сердце. Я знаю, что скорбь эта неизбежна и неотвратима. Но как бы хотелось, чтобы она стала помощью отшедшей в ее новых путях, там в ином мире. Да поможет тебе благой Утешитель. Поклонись до земли за меня у родной могилки и поцелуй землю.

Надвойцы, 23/II 1937 г.

... Все как-то устаю, и голова какая-то несвежая. Недавно получил справку на свои неоднократные запросы о своих зачетах.

До 1/I -36 г. мне зачтено 219 дней. Если все пойдет благополучно, то приблизительно, как я и думал, освободиться я должен к концу 39-го года. Еще нескоро... но все же виден какой-то просвет. Дай Бог дойти до него.

Надвойцы, 7/IV 1937 г.

Христос Воскресе!

Может быть, эти строки придут к святой ночи. Мое сердце не убрано и не готово к встрече праздника. Суета, усталость, мрак душевный, грусть непреодолимая о прошлом и настоящем. Но верю, что если мое сердце темно и беспамятно, то Он помнит обо мне и хранит меня в любви Своей. Среди множества воспоминаний об этой ночи — одно из последних о том, как уже в одиночке, после трудных, трудных дней Он Сам посетил меня Своим утешением.

Надвойцы, 18/IV 1937 г.

Христос Воскресе!

Было много тоски, смущения, скорби, томления... Нет близких. Оттого, что девятый раз встречаю светозарную ночь на берегу, не на волнах красоты церковной. Оттого, что так много, много отшедших, кого не встретишь на земных путях; оттого, наконец, что вообще много было трудного, шумного, суетного... Барак, где я живу теперь, так полон народом, неплохим, но таким шумным...

Наконец, были особые... трудности, искушения, как всегда бывает в великие праздничные кануны. День Великой Субботы был как бы смутным. Наступил вечер. Дождь моросил в холодных сумерках. Темная река, покрытая местами неверным, зыбким, но еще не растаявшим льдом. За ней черные очертания леса. Я бродил по лагерному двору в этой сырой полутьме...

Надвойцы, 24/IV 1937 г.

Ты помнишь картину Костанди "Сирень". Уголок монастырского сада у самых врат... Весна... Всюду кусты сирени, она вся в цвету. Как будто бы сам ощущаешь, чувствуешь аромат, которым все напоено в картине. А на скамеечке сидит монах, кажется, молодой. Он согнулся, лица не видно, потому что оно закрыто ладонями поднятых кверху рук. Но чувствуется в каждом изгибе его тела, в самой гармонии красок, непобедимая, могучая сила бурь, как будто бы навеки отринутых и замкнутых, но вдруг так неожиданно и так внезапно нахлынувших на его душу вместе с волнами весенних, несущихся от

окружающих его цветущих бесчисленными купами цветов благоуханных. Сирень. Вчера был день св. Анатолия. Целый день вчера и вечером, и бессонной ночью (я дежурю), и сегодня весь "выходной", свободный от работы день, да и раньше, пожалуй, всю эту пасхальную неделю я во власти сирени — невидимой, но где-то цветущей и так ошутимо действующей на мою душу.

... Ты мечтаешь о тишине... Тебе кажется, что за годами наших испытаний нас ждут дни невозмутимой тишины и покоя... мне как-то чувствуется иначе. Я не говорю уж о внешнем, здесь я тоже жду немалых испытаний, скорбей и трудностей... Но сейчас я думаю о внутреннем... какая неуспокоенная душа у меня, сколько в ней невысказанных, никогда и никому, но тем более трудных, смут, бурь, которым пожалуй пора бы было смириться.

Надвойцы, 29/V 1937 г.

Еду из Надвоец — куда еще не знаю. Сообщу при первой возможности.

Урос-озеро, 7/VI 1937 г.

Представь себе прозрачное, хрустальное карельское лето, день и ночь сливаются вместе и неразрывно в непрекращающееся торжество света, то греющего, почти палящего, то охлажденного, но все время не меркнувшего. Кругом в этих прозрачных лучах всюду Выг-озеро, а за ним полоса лесов. Я на маленьком клочке земли — это островок Урокса. Название финское, не думай, что оно происходит от хорошо тебе известного слова "урка". Имен-

но здесь этой последней категории нет совсем, а исключительно люди той же категории, как я, того же типа "правонарушителей".

Работы здесь общие — лесоразработка, окорка деревьев. Должен сказать, что это, в общем, нетрудно, физически вполне справляюсь с работой, только с нормами пока не справляюсь. Работаю в ночную смену. Возвращаюсь утром и ложусь спать на дворе — это гораздо лучше, чем в бараке. Так хорошо спать на открытом воздухе, вдыхая полной грудью прохладу утра... прямо идиллия, мне "везет" и это меня радует. Боюсь, что несколько затруднительно будет здесь с доставкой писем и посылок. Ведь от станции 18 километров: 18 пешком и 2 на лодке.

Урокса, 14/VI 1937 г.

Несомненно надо считать, что зачетов у меня не будет с самого начала моего срока. Хотя я не получил еще официального уведомления, но я повторяю — для меня это сомнению не подлежит. Итак конец срока надо считать по календарю 10 ноября 1940 года (ведь 40 дней киевского "сидения" мне не зачтено с самого начала)... Я с этой мыслью примирился спокойно, т. к. почему-то на зачеты никогда не рассчитывал особенно...

Урокса, 26/VI 1937 г.

Пишу... в последние часы перед этапом. Завтра рано утром я покидаю Уроксу и потом еду дальше. Куда? Не знаю. Знаю только, что очень далеко, за пределы ББК. Состав едущих спокойный, удобный

для "путешествия". Физически и душевно чувствую себя хорошо и бодро... Все предаю Его воле...

Урос-озеро, 29/VII 1937 г.

Вот уже третий день я живу своеобразной бивуачной жизнью. Я покинул свою Уроксу, вышел на отделение на Урос-озере. Вчера день прошел в путешествии. Сегодня на новом месте в суете и приготовлениях. Я готовился к бесконечно далекому путешествию на самый край света, далеко, далеко... Но, в силу своих физических немощей, я в числе некоторых других оказался оставленным и должен завтра ехать в Уроксу. Вероятно мне не миновать путешествия, но только оно не будет уже, надо думать, таким далеким.

Урокса, 2/VIII 1937 г.

Я опять на старом месте на Уроксе. Промелькнули несколько дней моего этапа. Это было неплохое путешествие. В прекрасный солнечный день, в хорошей, хотя большой, компании, налегке, потому что все вещи были на подводе, пропутешествовали от Уроксы до Урос-озера сначала на лодке, потом пешком. Потом вечер, ночь, потом в вокзальной обстановке на бивуаках в нетерпеливом ожидании, приготовлении и слухах. Есть действительно что-то мощное и влекущее в слове "дорога". И даже когда условия дороги так своеобразны, как например у меня, все-таки мысль о ней не перестает волновать и манить...

Урокса, 24/IX 1937 г.

Мой барак так не похож на тот домик, где ты у меня гостила. Представляешь ли ты мою жизнь? Мою верхнюю полку, громадное преимущество которой, что у меня нет соседа — я один. Шумную барачную жизнь с шумным "домино", с густой приправой ругани и человеческого горем и с этими проблесками красоты образа неизреченной славы среди язв прегрешений. Представляешь ли ты мое утро, когда встаю по призыву звенящей рельсы, выхожу из барака и всматриваюсь в дали над озером: что на небе — свинцовый ли сумрак или осенняя лазурь ласкает последней лаской и каково озеро, бурлит ли оно белыми барашками или, как иногда, спокойно и прозрачно. Ведь от этого зависит весь день: десятичасовая работа не страшна, когда ласково и солнечно небо, и, напротив, — мучительна, если моросит дождь, особенно когда к тому же работаю на сыром и холодная влага просачивается через сапоги к пальцам. Вечер после работы, обед, "проверка", жужжит барак, а я у себя наверху какой-нибудь час, пока светло, перелистываю книгу, а потом со своими мыслями и воспоминаниями.

Только поздно, когда барак засыпает, слезаю со своего верха и один брожу, думаю, думаю. А ночью выйдешь из барака и любишься трепетным светом северного сияния. Жив и здоров.

Урокса, 12/X 1937 г.

Жив, здоров. В моей жизни кое-какие перемены, но Бог даст... напишу об этом после... пока что не работаю.

28/Х 1937 г.

Я жив и здоров. Теперь пока что сижу без работы. Душевное состояние спокойное. Не волнуйся, если в письмах будет задержка.

10/ХІ 1937 г.

Не волнуйся, не беспокойся, что так редко теперь пишу. Я жив и здоров.

Может быть, скоро напишу подробнее и буду писать чаще.

Декабрь 1937 г. Переписка прекратилась.

Июль 1940 г. "За вновь содеянное преступление осужден на 10 лет строгой изоляции без права переписки".

1943 г. Тот же ответ.

Август 1955 г. Получено извещение из Петрозаводска.

"Анатолий Евгеньевич Жураковский умер в больнице Петрозаводской тюрьмы 10 октября 1939 года от туберкулеза, осложнившегося воспалением легких".

КОММЕНТАРИИ

1. В общей сложности о. Анатолий пробыл в тюрьме (под следствием) и ссылке 1 год и 9 месяцев.

2 и 3. Упоминание о "болезни" "Н." и "Мак. И." – это скрытое сообщение об аресте митрополита Киевского Михаила.

4. Общинная молодежь временами выезжала в Ирпень "на криничку", к явленному колодцу, чтимому местным православным народом. В конце апреля 1925 г. состоялась очередная поездка к источнику. Здесь провели ночь у костра. О. Анатолий служил молебен. Через несколько дней Александрович заболел, болезнь приняла опасный характер после того, как врач, поставив неправильный диагноз, прописал ему касторку.

5. О. Александр Глаголев, известный киевский священник. Эксперт на процессе Бейлиса, своим заключением способствовал его оправданию. Преподавал в КДА историю Ветхого Завета. Автор многих церковно-исторических и богословских работ. В 1930 г. арестован, выпущен, в 1938 г. вновь арестован, умер в Лукьяновской тюрьме 25.11.1938 г.

6. Алексей Глаголев, сын протоиерея Александра, будущий священник. Его жена — Татьяна Павловна. Восприемниками их первой дочери были дедушка Александр и Нина Сергеевна Жураковская.

7. О. Николай Стеценко, служил в храме возле товарной станции. Его дальнейшая судьба после ссылки неизвестна.

8. По вторникам после вечернего богослужения о. Анатолий читал в храме проповеди. Традиция эта брала начало со вторничных его проповедей в храме Религиозно-просветительного общества. Почти все вторничные проповеди были застенографированы Александрой Яковлевной Слоним, сестрой знаменитого киевского врача.

9. Мария Люсиновна Жюно. Ее отец был швейцарского происхождения. Входила в сестричество Марии Магдалины. Регент приходского хора. Слаба здоровьем. Арестована в 1937 г. Приговор: "10 лет строгой изоляции".

10. Митрополит Михаил (Ермаков). Был последовательно ректором Вольнской семинарии, затем инспектором Петербургской духовной Академии; епископом Омским; архиепископом Гродненским и членом Св. Синода. Участник киевской конференции по вопросам миссионерской деятельности (1911 г.). Участник Всероссийского Помест-

ного Собора 1917–18 гг. С 1921 г. Патриарший Экзарх Украины. Боролся с обновленчеством и другими схизматическими течениями, возникшими в период его служения на Украине. Арестован в 1922 г. (вместе с викарным епископом Димитрием (Вербицким) викарным епископом Василием (Богдашевским) и сослан в 1923 г., но в том же году из-за многочисленных протестов верующих, протестовавших против преследований своего епископата, возвращен на кафедру. 12 декабря 1924 г. тринадцать украинских епископов под председательством митрополита Михаила лишили главу автокефальной церкви духовного сана. Вторично арестован в 1925 г. Сослан на Кавказ. В 1927 г. получил разрешение жить в Харькове, тогдашней столице УССР. Тогда же ему предложено стать местоблюстителем Патриаршего престола – отказался. Издал свой вариант Сергиевской "декларации", вернулся в Киев, где и умер в 1929 г.

Когда о. Анатолий, арестованный в марте 1922 г., этапированный в Москву, вошел в бутырскую камеру, навстречу ему встал человек в одном белье: "Я Вас ждал, о. Анатолий". Это был митрополит Михаил. Батюшка ответил, что рад быть ему полезным. До 6/19 мая 1923 г. они пробыли вместе в одной камере, здесь зародились их братские отношения (по воспоминаниям О. В. М.).

11. Толстовская дача – лагпункт для слабосильных в глубине леса, в 25 км от ст. Деда. У о. Анатолия была в это время 2-я категория, что составляло 60% трудоспособности.

12. А. Е. Жураковский находился в системе лагерей Беломоро-Балтийского канала. Свирские лагеря шли вдоль реки Свирь, впадающей в Ладожское озеро. Надвойцы находятся на берегу Выгозера, Сосновец – выше Надвойц на самом канале. Парандово – между Надвойцами и Сосновцем, по одной линии ББК.

13. Не единственное и не первое посещение о. Анатолия в лагере. По воспоминаниям его духовных чад, до 1937 г. свидания давались чаще, чем раз в год: это зависело от работы з/к и от директив, спускаемых сверху. Свидания

давались родственникам, но степень родства была не важна; вообще, не выясняли, действительно ли состоят навещающие в родстве. Приехавшему на свидание разрешали общее количество часов и количество дней, в которые их можно было использовать. Например, 16 часов разрешали использовать в течение восьми дней, т. е. по два часа в день. Однако охрана, случалось, относилась мягко, и можно было видаться подольше. Выдачей свиданий и контролем их руководил непосредственно "карнач" — караульный начальник. При свидании посетители должны были иметь при себе паспорт и справку о разрешении свидания.

Первый раз члены общины посетили о. Анатолия в лагере 2/15 февраля 1932 г. в Сретенье. Второй раз перед Рождеством в 1933 г. Свидание было в Дедах, недалеко от Толстовской дачи. Здесь в больнице лежал о. Анатолий, и О. В. М. удалось получить неофициальное свидание. Третий раз ездили в лагерь на праздник Казанской Б. М. 8/21 июля 1933 г., но о. Анатолия перевели на материк (см. письмо от 26. 2. 34). В это же время Н. С. Жураковская, по своему освобождению из лагеря, приехала к нему на свидание в Кемь и, узнав, что мужа здесь уже нет, оставила ему передачу. Уехала в Киев и получила письмо от о. Анатолия с благодарностью.

В 1935 г. на свидание ездили Н. С. Жураковская и О. В. М. (описание в тексте). Это было после убийства Кирова, когда всех з/к лишали свиданий в порядке "справедливой кары". Свидание состоялось неофициально, благодаря снисходительности местного начальства.

В 1936 г. в Надвойцах была О. В. М. Отдельно от нее в том же году была и Н. С. Жураковская.

Епископ Игнатий (Брянчанинов)

ДУХ МОЛИТВЫ НОВОНАЧАЛЬНОГО

Здесь предлагаются мысли о молитве, свойственной начинающему идти к Господу путем покаяния. Главные мысли изложены каждая отдельно с той целью, чтобы они могли быть читаемы с большим вниманием и удерживаемы в памяти с большей удобностью. Чтение их, питая ум истиною, а сердце смирением, может доставлять душе должное направление в ее молитвенном подвиге, и служит к нему предуготовительным занятием.

1. Молитва есть возношение прошений наших к Богу.

2. Основание молитвы заключается в том, что человек — существо падшее. Он стремится к получению того блаженства, которое имел, но потерял, и потому — молится.

3. Пристанище молитвы — в великом милосердии Божиим к роду человеческому. Сын Божий для спасения нас принес Себя Отцу Своему в умиловительную, примирительную жертву: на этом основании, желая заняться молитвою, отвергни сомнение и двоедушие¹. Не скажи сам себе: "я грешник; неужели Бог услышит меня?" Если ты грешник, то к тебе-то и относятся утешительные слова

¹ Иак. 1, 6—8.

Спасителя: *Не приидох призвати праведныя, но грешныя на покаяние*¹.

4. Приготовлением к молитве служат: непресыщенное чрево, отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх, который так свойственно иметь созданию, когда оно будет допущено к беседе с Создателем своим по неизреченной благодати Создателя к созданию.

5. Первые слова Спасителя к падшему человечеству были: *Покайтесь, приблизися бо царство небесное*². Посему, доколе не войдешь в это царство, стучись во врата его покаянием и молитвою.

6. Истинная молитва есть голос истинного покаяния. Когда молитва не одушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего назначения, тогда не благоволит о ней Бог. Он не уничтожит *дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно*³.

7. Спаситель мира называет блаженными *нищих духом*, то есть имеющих о себе самое смиренное понятие, считающих себя существами падшими, находящимися здесь, на земле, в изгнании, вне истинного своего отечества, которое — небо. *Блаженни нищии духом, молящиеся при глубоком сознании нищеты своей, яко тех есть царство небесное*⁴. *Блаженни плачуущии* в молитвах своих от ощущения нищеты своей, *яко тии утешатся*⁵ благодатным утешением Святаго Духа, которое со-

¹ Мф. 9, 13.

² Мф. 4, 17.

³ Пс. 50, 19.

⁴ Мф. 5, 3.

⁵ Мф. 5, 4.

стоит в Христовом мире и в любви о Христе ко всем ближним. Тогда никто из ближних, и злейший враг, не исключен из объятий любви молящегося; тогда молящийся бывает примирен со всеми тягостнейшими обстоятельствами земной жизни.

8. Господь, научая нас молитве, уподобляет молящуюся душу вдовице, обижаемой соперником, сидящей неотступно судии беспристрастному и нелицеприятному¹. Не удаляйся расположением души при молитве от этого подобия. Молитва твоя да будет, так сказать, постоянною жалобой на насилующий тебя грех. Углубись в себя, раскрой себя внимательно молитвою: увидишь, что ты точно вдовствуешь в отношении ко Христу по причине живущего в тебе греха, тебе враждебного, производящего в тебе внутреннюю борьбу и мучение, содействующего тебя чуждым Богу.

9. *Весь день*, говорит о себе Давид, весь день земной жизни, *сетуя хождах*², препроводил в блаженной печали о грехах и недостатках своих: *яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей*³. Лядвиями названо шествие по пути земной жизни; плотию — нравственное состояние человека. Все шаги всех человеков на этом пути преисполнены преткновений; их нравственное состояние не может быть вылечено никакими собственными средствами и усилиями. Для исцеления нашего необходима благодать Божия, исцеляющая только тех, которые признают себя больными. Истинное признание себя больным доказывается тщательным и постоянным пребыванием в покаянии.

¹ Лк. 18, 1–8.

² Пс. 37, 7.

³ Пс. 37, 8.

10. *Работайте Господеви со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом*¹, говорит Пророк, а другой Пророк говорит от Лица Божия: *На кого воззрю, точию на кроткаго, и молчаливаго, и трепещущаго словес Моих*². *Господь призре на молитву смиренных, и не уничижи моления их*³. Он — *даяй живот, то есть спасение, сокрушенным сердцем*⁴.

11. Хотя бы кто стоял на самой высоте добродетелей, но если он молится не как грешник: молитва его отвергается Богом⁵.

12. В тот день, в который я не плачу о себе, сказал некоторый блаженный делатель истинной молитвы, считаю себя находящимся в самообольщении⁶.

13. Хотя бы мы проходили многие возвышеннейшие подвиги, сказал святыи Иоанн Лествичник, но они не истинны и бесплодны, если при них не имеем болезненного чувства покаяния⁷.

14. Печаль мысли о грехах есть честный дар Божий; носящий ее в персях своих с должным хранением и благоговением носит святыню. Она заменяет собою все телесные подвиги при недостатке сил для совершения их⁸. Напротив того, от сильного тела требуется при молитве труд; без него сердце не сокрушится, молитва будет бессильною и неистинною⁹.

¹ Пс. 2, 11.

² Исаии 66, 2.

³ Пс. 101, 18.

⁴ Исаии 57, 15.

⁵ Преп. Исаак Сирский. Слово 55.

⁶ Эти слова произнес иеросхимонах Афанасий, безмолствовавший в башне Свенского монастыря Орловской епархии, некоторому страннику, посетившему его в 1829 г.

⁷ Лествица. Слово 7, гл. 64. Изд. Моск. Духовн. Академии, 1851.

⁸ Св. Исаак Сирский. Слово 89. ⁹ Он же. Слово 11.

15. Чувство покаяния хранит молящегося человека от всех козней дьявола: бежит дьявол от подвижников, издающих из себя благоухание смирения, которое рождается в сердце кающихся¹.

16. Приноси Господу в молитвах твоих младенческое лепетание, простую младенческую мысль — не красноречие, не разум. *Аще не обратитесь* — как бы из язычества и магометанства, из вашей сложности и двуличности — *и будете*, сказал нам Господь, *яко дети, не внидете в царствие небесное*².

17. Младенец выражает плачем все свои желания: и твоя молитва пусть всегда сопровождается плачем. Не только при словах молитвы, но и при молитвенном молчании пусть выражается плачем твое желание покаяния и примирения с Богом, твоя крайняя нужда в милости Божией.

18. Достоинство молитвы состоит единственно в качестве, но не в количестве. Тогда похвально количество, когда оно приводит к качеству. Качество всегда приводит к количеству; количество приводит к качеству, когда молящийся молится тщательно³.

19. Качество истинной молитвы состоит в том, когда ум во время молитвы находится во внимании, а сердце сочувствует уму.

20. Заклучай ум в произносимых словах молитвы, и сохранишь его во внимании⁴. Имей глаза на

¹ Преп. Григорий Синаит. О прелести, идеже и о иных многих прилогах. Доброт. ч. 1: "Егда видит кого дьявол, — говорит святыи Григорий, — плачевне живуща, не пребывает тамо, еже от плача приходящаго смирения бояся".

² Мф. 18, 3; Лествица. Сл. 28, гл. 9.

³ Преп. Мелетий, в Галисийской горе подвизавшийся. Стихотворение о молитве; Лествица. Слово 2, гл. 21.

⁴ Лествица. Слово 28, 17.

устах или закрытыми¹: этим будешь способствовать соединению ума с сердцем. Произноси слова с крайнею неспешностью, и будешь удобнее заключать ум в слова молитвы: ни одно слово твоей молитвы не будет произнесено, не будучи одушевлено вниманием.

21. Ум, заключааясь в слова молитвы, привлекает сердце в сочувствие к себе. Это сочувствие сердца уму выражается умилением, которое есть благочестивое чувство, соединяющее в себе печаль с тихим, кротким утешением².

22. Необходимые принадлежности молитвы — *пождание*³. Когда чувствуешь сухость, ожесточение не оставляй молитвы: за пождание твое и подвиг против сердечного нечувствия низойдет к тебе милость Божия, состоящая в умилении. Умиление — дар Божий, ниспосылаемый *пребывающим и претерпевающим в молитвах*⁴, постоянно возрастающий в них, руководящий их к духовному совершенству.

23. Ум, предстоя внимательною молитвою пред невидимым Богом, должен быть и сам невидим, как образ невидимого Божества: то есть, ум не должен представлять ни в себе, ни из себя, ни пред собою никакого вида — должен быть совершенно безвидным. Иначе: ум должен быть вполне чужд мечтания, сколько бы ни казалось это мечтание непорочным и святым⁵.

¹ Совет старца, иеромонаха Серафима Саровского "О том, что полезно молиться при закрытых глазах", сказано и в 11 Наставлении его о молитве. Изд. 1844 г., Москва.

² Преп. Марк Подвижник. О мнящихся от дел оправдаться, гл. 34. Добротолюбие, ч. 1.

³ Преп. Григорий Синаит: "О еже како подобает безмолвствующему сидети и творити молитву". Доброт., ч.1.

⁴ Рим. 12, 12; Кол. 4, 2.

⁵ Преп. Каллист и Игнатий. О безмолвии и молитве. Ст. 73. Доброт. ч. 2 и Лествица, сл. 28, гл. 42.

24. Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих нервов, не горячи крови. Напротив — содержи сердце в глубоком спокойствии, в которое оно приводится чувством покаяния: вещественный огонь, огонь естества падшаго, отвергается Богом. Сердце твое нуждается в очищении плачем покаяния и молитвою покаяния; когда же оно очистится, тогда Сам Бог ниспослет в него Свой всесвятый духовный огонь¹.

25. Внимание при молитве приводит нервы и кровь в спокойствие, способствует сердцу погружаться в покаяние, и пребывать в нем. Не нарушает тишины сердечной и Божественной огонь, если он низойдет в сердечную горницу, когда в ней будут собраны ученики Христовы — помыслы и чувствования, заимствованные из Евангелия. Этот огонь не опалает, не горячит сердца, напротив того, орошает, прохлаждает его, примиряет человека со всеми людьми и со всеми обстоятельствами, влечет сердце в неизреченную любовь к Богу и к Ближним².

26. Рассеянность окрадывает молитву. Помолвившийся с рассеянностью ощущает в себе безотчетливую пустоту и сухость. Постоянно молящийся с рассеянностью лишается всех плодов духовных, обыкновенно рождающихся от внимательной молитвы, усваивает себе состояние сухости и пустоты. Из этого состояния рождается хладность к Богу, уныние, омрачение ума, ослабление веры, и от них мертвость в отношении к вечной, духовной жизни. Все же это вместе взятое служит явным признаком, что такая молитва не принимается Богом.

¹ Лествица. Слово 28, гл. 45.

² Преподобный Максим Капсокалив. Собеседование с преподобным Григорием Синаитом. Доброт., ч. 1.

27. Мечтательность в молитве еще вреднее рассеянности. Рассеянность делает молитву бесплодной, а мечтательность служит причиною плодов ложных: самообольщения и, так называемой святыми отцами, бесовской прелести. Изображения предметов видимого мира и сочиняемые мечтательностью изображения мира невидимого, напечатлеваясь в уме, соделывают его как бы вещественным, переводят из Божественной страны Духа и Истины в страну вещества и лжи. В этой стране сердце начинает сочувствовать уму не духовным чувством покаяния и смирения, а чувством плотским, чувством кровяным и нервным, безвременным и беспорядочным чувством наслаждения... чувством неправильным и ложным мнимой любви к Богу. Преступная и мерзостная любовь представляется неискусным в духовных опытах святою, а на самом деле она — только беспорядочное ощущение неочищенного от страстей сердца, наслаждающегося тщеславием и сладострастием, приведенными в движение мечтательностью. Такое состояние есть состояние самообольщения. Если человек укуснит в нем: то являющиеся ему образы получают чрезвычайную живость и привлекательность. Сердце при явлении их начинает разгорячаться и наслаждаться беззаконно или, по определению Священного Писания, прелюбодействовать¹. Ум признает такое состояние благодатным, божественным: тогда — близок переход к явной прелести бесовской, при которой человек теряет самовластие, делается игралищем и посмешищем лукавого духа. От мечтательной молитвы, приводящей человека в это состояние, с гневом отвергается Бог. И сбывается над молящимся такую

¹ Пс. 72, 27.

молитвою приговор Писания: *Молитва его да будет в грех*¹.

28. Отвергай благие, по-видимому, помышления и светлые, по-видимому, разумения, приходящие к тебе во время молитвы, отвлекающие тебя от молитвы². Они выходят из области лжеименного разума — восседают как бы всадники на конях, из тщеславия. Закрыты мрачные лица их, чтоб ум молящегося не мог узнать в них врагов своих. Но потому именно, что они враждебны молитве, отвлекают от нее ум, уводят его в плен и тягостное порабощение, обнажают и опустошают душу, потому именно познаются, что они — враги, и из области миродержца. Духовный разум, разум Божий, содействует молитве, сосредоточивает человека в самом себе, погружает его во внимание и умиление, наводит на ум благоговейное молчание, страх и удивление, рождающиеся от ощущения присутствия и величия Божиих. Это ощущение в свое время может очень усилиться и соделать молитву для молящегося страшным судилищем Божиим³.

29. Внимательная молитва, чуждая рассеянности и мечтательности, есть видение невидимого Бога, влекущего к Себе зрение ума и желание сердца. Тогда ум зрит безвидно и вполне удовлетворяет себя невидением, превысшим всякого видения. Причина этого блаженного невидения есть бесконечная тонкость и непостижимость Предмета, к которому направлено зрение. Невидимое Солнце правды — Бог испускает и лучи невидимые, но по-

¹ Пс. 108, 7. Преп. Симеон Новый Богослов. О первом образе молитвы у преп. Синаита, л. 131. Доброт., ч. 1.

² Лествица. Слово 28, гл. 59.

³ Там же, гл. 1.

знаваемые явственным ощущением души: они исполняют сердце чудным спокойствием, верою, мужеством, кротостью, милосердием, любовью к ближним и Богу. По этим действиям, зримым во внутренней сердечной клетке, человек признает несомненно, что молитва его принята Богом, начинает веровать живою верою, и твердо уповать на Любящего и Любимого. Вот начало оживления души для Бога и блаженной вечности¹.

30. Плоды истинной молитвы: святой мир души, соединенный с тихою, молчаливою радостью, чуждою мечтательности, самомнения и разгоряченных порывов и движений; любовь к ближним, не различающая для любви добрых от злых, достойных от недостойных, но ходатайствующая о всех пред Богом, как о себе, как о своих собственных членах. Из такой любви к ближним возсиявает чистейшая любовь к Богу.

31. Эти плоды — дар Божий. Они привлекаются в душу ея вниманием и смирением, хранятся ея верностию к Богу.

32. Душа тогда пребывает в верности к Богу, когда удаляется всякого слова, дела и помышления греховного, когда немедленно раскаивается в тех согрешениях, в которые увлекается по немощи своей.

33. То, что желаем стяжать дар молитвы, доказываем терпеливым приседением молитвою при дверях молитвы. За терпение и постоянство получаем дар молитвы. Господь, говорит Писание, давай мо-

¹ Вышеупомянутое стихотворение преп. Мелетия. Слово о сокровенном делании Феопипта, митр. Филадельфийского. Доброт., ч. 2.

литву благодатную молящемуся¹ терпеливо при одном собственном усилии.

34. Для новоначальных полезнее краткие и частые моления, нежели продолжительные, удаленные одно от другого значительным пространством времени².

35. Молитва есть высшее упражнение для ума.

36. Молитва есть глава, источник, мать всех добродетелей³.

37. Будь мудр в молитве твоей. Не проси в ней ничего тленного и суетного, помня заповедание Спасителя: *Ищите же прежде царствия Божия и правды его, и сия вся, то есть все потребности для временной жизни, приложатся вам*⁴.

38. Намереваясь сделать что или желая чего, также в затруднительных обстоятельствах жизни, повергай мысль твою в молитве пред Богом: проси того, что считаешь нужным и полезным; но исполнение и неисполнение твоего прошения предоставляй воле Божией в вере и уповании на всемогущество, премудрость и благость воли Божией. Этот превосходный образ моления даровал нам Тот, Кто молился в саду Гефсиманском: *да мимо идет определенная Ему чаша. Обаче не Моя воля, заключил Он молитву Свою ко Отцу: но Твоя да будет*⁵.

39. Принеси Богу смиренную молитву о совершаемых тобою добродетелях и благочестивых под-

¹ I Цар. 2, 9.

² Св. Димитрий Ростовский, ч. 1. Внутренний человек, гл. IV.

³ Преп. Макарий Великий. Слово 3, гл. 1. Лествица. Слово 28, заглавие. Согласно сему поучают и другие отцы.

⁴ Мф. 6, 33. Св. Исаак Сирский. Слово 5.

⁵ Лк. 22, 42.

вигах: очищай, совершенствуй их молитвою и покаянием. Говори о них в молитве твоей то, что говорил в ежедневной молитве своей праведный Иов о детях своих: *Негли когда сынове мои погрешаши, и в мысли своей злая помыслиша противу Бога*¹. Лукава — злоба: неприметно примешивается добродетели, оскверняет, отравляет ее.

40. Отвергнись всего, чтобы наследовать молитву — и, поднятый от земли на кресте самоотвержения, предай Богу дух, душу и тело твои, а от Него прими святую молитву, которая по учению Апостола и Вселенской Церкви есть действие в человеке Святого Духа, когда Дух вселится в человека².

*

Кто небрежет о упражнении внимательною, растворенною покаянием молитвою, тот чужд преуспеяния духовного, чужд плодов духовных, находится во мраке многообразного самообольщения. Смирение есть единственный жертвенник, на котором дозволено человекам приносить молитвенные жертвы Богу — единственный жертвенник, с которого молитвенные жертвы приемлются Богом³; молитва есть мать всех истинных божественных добродетелей. Невозможно, невозможно никакое духовное преуспеяние для того, кто отверг смирение, кто не озаботился вступить в священный союз с молитвою.

¹ Иов. 1, 5.

² Рим. 8, 26. Св. Исаак Сирский. Сл. 21. "Кто достиг (непрестанной молитвы), тот достиг края добродетелей, и соделался жилищем Святого Духа", сказал св. Исаак.

³ Мнение преп. Пимена Великого. Алфавитный Патерик.

Упражнение молитвою есть завещание Апостола: *непрестанно молитесь*, говорит нам Апостол¹. Упражнение молитвою есть заповедь Самого Господа, заповедь, соединенная с обетованием: *просите*, приглашает нас Господь, повелевает нам Господь, *и дастся вам: ищите и обрящете; толцйте и отверзется вам*². Не *воздремлет, ниже уснет*³, молитва, доколе не укажет возлюбившему ее и постоянно упражняющемуся в ней чертог наслаждений вечных, доколе не введет его в небо. Там она преобразится в непрестанную жертву хвалы. Эту хвалу непрестанно будут приносить, будут провозглашать неумолчно избранные Божии от непрестанного ощущения блаженства в вечности, прозябшаго здесь, на земле и во времени, от семян покаяния, посеянных внимательно и усердною молитвою. Аминь.

¹ Сол. 5, 17.

² Мф. 7, 7.

³ Пс. 120, 4.

М. А. Новоселов

ПИСЬМА К ДРУЗЬЯМ

Михаил Александрович Новоселов (год смерти – 1938) – известный церковный деятель, до революции – редактор и издатель широкоизвестной “Религиозно-философской библиотеки” (выходила до 1918 года, издано около ста выпусков), основатель и руководитель периодических церковных собеседований (известных под названием “новоселовского кружка”), проходивших на его московской квартире в Обыденском переулке.

Проф. И. М. Андреев (псевдоним И. М. Андриевского) вспоминает о нем (см. “Новые мученики российские”, т. II, сс. 135–136) :

”М. А. Новоселов, бывший в молодые годы другом Л. Н. Толстого и блестящим профессором Московского Университета (по кафедре классической филологии), издававший очень популярную среди интеллигенции религиозно-философскую библиотечку (маленькие розовые книжки) постепенно, но неуклонно рос духовно, сближался с о. Иоанном Кронштадтским, а затем с оптинскими старцами и, наконец, стал одним из самых твердых и ясномыслящих православных мыслителей, боровшихся с ядом модернизации... Арестованный в 1928 году, Мих. Ал. Новоселов отбыл 10 лет Политического изолятора, а затем (в 1938 г.) был отправлен в ссылку в Сибирь, откуда уже никаких больше сведений о нем не имеется”.

В книге Н. Зернова "Русское религиозное возрождение", П. 1974, о М. А. Новоселове и его кружке говорится: "В то же время (в 10-е гг. — Сост.) в Москве существовала группа светских богословов, члены которой стояли гораздо ближе к Православию (нежели другие рел.-фил. кружки Петербурга и Москвы. — Сост.). Они встречались в доме Михаила Александровича Новоселова, бывшего толстовца, вернувшегося к Церкви и привлечшего к ней многих своих друзей. В эту группу входили: Владимир Кожевников, друг и ученик Николая Федорова; о. Езерский, А. Д. Самарин и Павел Мансуров. К ней же принадлежал епископ Феодор, ректор Московской Духовной академии, а позднее присоединились Булгаков и Дурьлин. Бердяев остался чужд ее консервативной тенденции.

Люди, встречавшиеся в монашеской квартире Новоселова, противостояли бюрократической власти Синода, выступали за реформу церковного управления, однако с недоверием относились к Владимиру Соловьеву и его школе и черпали вдохновение в монашеской традиции. Они были убеждены, что истинный голос русского христианина исходит не из официальных церковных кругов, но из учения старцев, сохранивших нетронутым его подлинный дух /.../. Новоселов стал епископом и погиб в период репрессий. Никто из этой группы не смог или не захотел эмигрировать" (с. 121—122).

Сведения о "новоселовском" кружке см. в письмах А. П. Руднева ("Надежда", выпуск 6), часто посещавшего эти собрания.

Корреспондентка епископа Германа (Ряшенцева) Н. А. В. ("Надежда", выпуск 5) одно время помогала М. А. Н. в издании выпусков "Рел.-фил. биб-ки"; она называла его "отченька", в кружке его полушутливо называли "авва". Был ли М. А. Н. действительно епископом (а если и был, то только тайным) пока установить не удалось.

Рукопись М. А. Новоселова "Письма к друзьям" найдена в Самиздате.

5 февраля 1923 г.

Дорогие друзья мои!

Простите, что долго не писал вам. Обстоятельства так сложились, что мне трудно было взяться за перо. Возобновляя обещанную в конце 2-го письма беседу о Церкви, я предложу вам на этот раз духовную трапезу, изготовленную не из мыслей духовных Отцов, а представляющую собой сводку суждений о Церкви простого мирянина, так как жизнь его является совершенно исключительной по тем внешним и внутренним переживаниям, которые выпали на его долю. Этот мирянин — князь Дмитрий Александрович Хилков, том писем которого лежит у меня на столе.

В предисловии к "Письмам" издатель сообщает биографические данные о князе. Я не буду их приводить полностью, а приведу только схему его жизни, которая в предисловии не без основания названа "причудливой". Вот она: 1. Блестящий паж и лейб-гусар, очень набожный православный христианин. 2. Начальник казачьей сотни и видный участник русско-турецкой войны. 3. "Ярый толстовец". Отрицает православие, государство, войну, раздает свою собственность, сам пашет землю. 4. Революционер. 5. Враг церковности, крайний индивидуалист, покровитель религиозных сект. 6. Апологет

* В этом выпуске "Надежды" мы помещаем с небольшими сокращениями три письма — 5, 10 и 14-ое, сохраняя орфографию самиздатской рукописи, которая, к сожалению, содержит много ошибок, пропусков и неточностей.
— С о с т.

церковности, верный сын православия и почти затворник в глуши и тиши своего хутора. 7. Вновь казак и герой нынешней войны.

Из указанного тома писем (1—123 сс.) я старался извлечь все существенное, что сказано автором о Церкви. Мне хотелось рассеянные на многих десятках страниц мысли о Церкви собрать воедино и представить вам в виде более или менее цельного произведения. Насколько удалось мне это сделать, судите сами.

Считаю не лишним сказать несколько слов в разъяснение того, как производил я свою работу. Я выбирал разные места писем и распределял их по определенным темам, которые подсказывались содержанием мыслей автора. Таких тем я наметил пять: 1. О Церкви как живом организме. 2. О "нынешнем православии". 3. Из кого состоит Церковь. 4. Жизнь и взаимоотношения Членов Церкви как живого организма (по сравнению с сектанством). 5. Богочеловек и человекобог.

Всюду я привожу подлинные слова автора, сохраняя, между прочим, и его несколько необычную пунктуацию. Иногда только мне приходилось переставлять некоторые фразы для большей ясности речи. Некоторые места я выносил из текста в примечания. В двух-трех случаях я позволил себе вставить по несколько слов для связности речи. Раза два-три я дополнил мысли автора "Писем" своими соображениями, чтобы казавшаяся мне недоговоренность в письмах не привела вас, мои дорогие, в недоумение. Цифры в скобках указывают страницы "Писем", откуда взято данное место.

Читая предлагаемое вам рукописание, вы, с одной стороны, легко убедитесь, как ценны для

нас мысли покойного Дмитрия Александровича о Церкви, с другой, — без труда усмотрите их согласие, по существу, с тем, что вы читали в предыдущих моих письмах о том же предмете.

Вы сумеете, надеюсь, извлечь из этих мыслей то, что осветит вам и многие современные явления церковной жизни и, может быть, грядущие судьбы Церкви. Поэтому я не буду подсказывать вам, на что следует обратить особенное внимание.

Маленькое замечание: письма, из которых сделаны мною извлечения, относятся к самому концу 1913 г. и первой половине 1914 г.

Еще: мне хотелось бы, чтобы вы не относились пассивно к тому, что я с такой любовью собирал для вас в писаниях мудрого князя. Обсудите предлагаемые вашему вниманию мысли, примите их в свою душу и воспользуйтесь этим драгоценным материалом для уяснения и оценки тех "церковных" и иных течений, которыми так обильно напояется наша земля.

Хочу надеяться, что вы с большим интересом и немалой пользой для себя услышите голос покойного искателя вечной правды, открывшейся ему в Церкви Христовой, верным сыном которой он отошел от нас в "онный мир".

1. О Церкви как живом организме

С самого начала было два разных представления о христианстве и христианской общине.

Иудейское представление ныне называется рационалистическим. Христианство сводится к личной внутренней связи каждого порознь с Божественной

Личностью и к вере в Нее и Ее дело. При этом Сама Личность, как находящаяся на небе, — все "таит". Представление о Ней делается смутным, а на Ее место становится Ее учение. И человек "связывает себя" не с Божественной Личностью, а с Ее учением.

Гностицизм выродился в мистические секты. Мистики строят свое понимание христианства на началах сердечных, на любви к Личности Христа. Они утверждают необходимость познания живого, видимого и осязаемого Христа. И в этом они правы, ибо благовествование Христа содержит в себе такое именно представление.

Но неправы мистики, когда ищут и находят живого, осязаемого и видимого Христа там, где они Его ищут и находят. Рационалисты не врут, они только суживают благовествование. Мистики расширяют и расширяют совершенно правильно понимание рационалистов, но и у них (кроме ошибки искания и нахождения) есть громадный пробел — они игнорируют очень важную часть благовествования.

Эта часть относится к существу общины христианской и к взаимной связи ее членов.

В представлении рационалистов и мистиков община христианская есть организация — и больше ничего. Члены этой организации связаны между собой на подобие членов всякой организации: общностью цели, верованиями и убеждениями. Но ведь в благовествовании мы имеем указание на другого сорта общину, на общину, как на организм, на общину, как на живую Личность.

Вот это-то представление о христианстве, как о чем-то не только личном, но и соборно-обществен-

ном, мы имеем только в учении Церкви. По учению Церкви, Церковь Христова не только организация, но она еще живой организм. Живая Личность, Тело Христово.

Как некогда Христос для выполнения Своего дела нуждался в теле, так и ныне для продолжения Своего дела Он нуждается в видимом и осязаемом теле. Нынешнее Тело Христа это — Церковь Его.

Теперь подобие: что делает живая яблоня, когда она растет? Живая яблоня, т. е. какая-то сила, которую мы называем жизнью в яблоне, хватает мертвое, неорганическое (кремень) и наделяет жизнью, делает живым, органическим.

Так же точно и Христос: Сила Христова хватает живое только физически, втягивает в Свое Тело и наделяет жизнью высшего порядка, жизнью невременной.

Подобно тому, как живое только растительной жизнью, втянутое в человека, — начинает жить жизнью человеческой, а человек начинает жить в этом растительном, так точно и человек, втянутый в Тело Христово, начинает жить в Христе, а Христос начинает жить в нем.

Клеточки нашего тела все живут самостоятельной жизнью, но кроме этой жизни у них есть и другая жизнь, которую мы им даем*.

Клеточки нашего тела, поскольку они живут в нас, а мы живем в них, имеют общую жизнь и связь между собой. Если же мы умрем, то в тру-

* Для такого представления, конечно, требуется вера или знание о том, что мы составляем (мы есмы) нечто самостоятельное, отдельное, вера в личную душу и т. п.

пе нашем клеточки, сохраняя свою жизнь, утра-
тят жизнь в нас и связь между собою (в человече-
ском).

Вот апостол, говоря об этом, и говорил: "Когда я был втянут в Тело Христово, то я, на подобие клеточки, был жив, но центр тяжести моей жизни и ее смысл и значение изменились. Я жив, — но уже не я живу, а живет во мне Иван Иванович".

И об этом самом говорит Христос. Он говорил клеточке: "только та клеточка, которая начнет с того, что утерет свою жизнь клеточки, может надеяться получить жизнь в Иване Ивановиче". "Чтобы сохранить душу свою, надо сначала потерять ее" (50—3).

Поневоле многие, слыша подобные слова, говорили: "какие странные слова!". Странными они кажутся для тех, которые не думали о кремне и яблоне и никак не догадываются, что эти слова надо понимать в самом прямом, обыденном смысле.

Как только вы поймете эти слова ("чтобы обрести жизнь свою, надо сперва потерять") просто, то увидите, что лучше и точнее сказать нельзя: для того, чтобы кремнь обрел жизнь свою (ожил), надо сперва, чтобы он перестал жить кремнем, а стал жить в яблоне — яблоней. Не кремнь должен "воплотить" яблоню, — ибо что это значит? А надо, чтобы яблоня воплотила (в свою плоть приняла) кремнь. Не павел стал организмом Христа, — это — хлыстовское учение — суть хлыстовства, а Павел вошел, как часть в Тело Христа, в живой организм Христа, в Церковь Христа, и совершенно подобно тому, как кремнь входит в яблоню (66).

Для жизни вечной не человек должен воплотить

Христа, Христос должен воплотить человека. Если бы человек воплощал Христа, то Христос явился бы частью человека. И только если Христос воплотил человека, можно говорить, если выразаться точно, — что человек стал частью Тела Христова.

Христос говорил, что Он — начаток нового Существа, нового организма (не организации), что Он — глава этого Существа. А люди — друзья Его — члены этого Организма. И Он говорил совершенно точно и определенно: так как Я имею жизнь вечную, то могут иметь жизнь вечную — только части Меня Самого.

Я брал яблоко, как подобие Христа. Человека я уподоблял кремню, который только оживает в яблоне. Если не рядом будет лежать, а если станет частью яблони.

”Я — начаток новой жизни”, — говорил Христос. — ”Я притягиваю людей не в организацию, а втягиваю в Себя, в Свою жизнь... Я есть сама жизнь вечная” (62—3).

Вы говорите, что не понимаете как можете быть втянуты в Тело Христа.

Об этом много говорил Христос, и все сводится к подобию яблони и кремня. Разве можно объяснить, как кремень втягивается в яблоко и становится живым? ”Всякий слышавший от Отца о нужде быть втянутым, втягивается”. Действует и привлекает Божественная сила, и больше ничего неизвестно. Еще известно, что некоторые не противятся этой силе, а другие противятся (65).

Итак, по учению Церкви, мы — частицы и молекулы Тела Христова, если не будем противиться силе Христовой, втягивающей нас в Тело Христово (53).

2. О "нынешнем православии"

Теперь я могу ответить на вопрос о том, что такое нынешнее православие с точки зрения учения Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой.

Я спрашиваю спрашивающего меня: что понимаете вы под словами: Церковь Христова? Понимаете ли вы одну только организацию, или же понимаете "организм"? Есть ли у вас вообще представление об общине, как об организме? Если вы такого представления не имеете, то применять к организации наименование Церковь не следует, ибо это только порождает недоразумение. Лучше назвать партией, обществом, общиной и т. п. Тогда и вопрос явится в гораздо более определенной форме, а именно: похожа ли современная нам православная партия или община на первобытную партию, организацию или общину христианскую? И я отвечаю: нисколько не похожа! Затруднение тут только в том, что судить об организации, в которую входят сотни миллионов, трудно. Но все же ответ остается тот же: нисколько не похожа.

Но если мы станем на точку зрения благовествования и признаем, что Церковь есть именно Церковь, — храм живущего в ней Святого Духа, Тело Христово и живой организм, то все представление наше меняется, а вопрос утрачивает всякий смысл. Утрачивает потому, что в нем нет вопроса!

Ведь Церковь, это — жизнь во Христе сотен миллионов людей. Отчего мы можем думать, что эта жизнь во Христе этих сотен миллионов или части их — не та же самая, которой жили и раньше части и молекулы Тела Христова?

При таком взгляде на Церковь (как на живой организм), указывать на Синод или "группу архиереев"* , по учению отцов Церкви, все равно, что подойти к яблоне, указать на дупло и сказать: Вы утверждаете, что яблоня жива, что это нечто живое и реальное, а вот смотрите — пустое место, наполненное грязью и пылью.

И еще подобие: на теле человека вырос "злокачественный нарост". Так определили доктора.

Теперь я спрашиваю: в каком отношении находится этот нарост к личности человека? Скажем так: наша индивидуальность живет в нашем теле, живет в руке, ноге, в ушах. Вскрывает "нарост". Я спрашиваю: живем ли мы в этом наросте? Христос дает такой ответ: пока нарост "чувствителен", пока нам больно, если его будут "колоть", до тех пор несомненно вы живете в этом наросте. Если же "чувствительность" потеряна, то да будет вам этот нарост, как мытарь и грешник. Если он "не слушается", если чувствительность утеряна, то, значит, он уже не часть тела (53—5).

Представьте себе, что ныне при нас наступило бы то, что непременно наступит и сбудется: что из 100 епископов 99 отрекутся от православия, а из 80-ти миллионов отрекутся от Него 79 миллионов 999.990 человек. Что же из этого? Да ровно ничего! Это дело очень бы "касалось" отрекшихся, но Церкви вовсе бы не касалось. Как она была Телом Христовым и Новым Организмом, такой бы и осталась (77).

* Вероятно, корреспондент Д. А. Хилкова указывал на какие-нибудь некрасивые действия Синода, "оскверняющие", по его мнению, святыню Церкви и подрывающие авторитет последней.

Если Христос пришел основать не организацию, а дать жизнь высшему Организму, тогда толпы грязных тунеядцев-монахов и т. п. тут ровно ни при чем.

Указывать на них, желая умалить христианство, так же нелепо и неразумно, как если бы кто-нибудь при споре о превосходстве грязного подорожника перед граненым алмазом, с точки зрения "жизни", указывал на то, что подорожник в навозе.

И такие замечания всегда делались, и всегда делаются, и всегда будут делаться иудействующими, т. е. рационалистами. Они говорили и говорят Христу: Твои ученики в навозе!

А Христос всегда отвечал, отвечает и будет отвечать: Да! К сожалению, это так, но раз они живы, то навоз они скинут с себя. Что толку, что на вас, иудеях, нет навоза, — раз вы — мертвы?

Раз мы за критерий — возьмем жизнь вечную, то Церковь Христова с грязными монахами и всяким безобразием, — все-таки выше земной организации с временной жизнью, как бы эта организация ни была чиста и отшлифована. И Л. Н. Толстой в минуты просветления это понимал, и завидовал грязной, распутной бабе, которую видел молящейся, т. е. утверждающей свою жизнь в Церкви Христовой, т. е. в этом живом вневременном Организме (59).

Если Церковь Христова есть живой Организм, то нельзя ставить Церкви в вину нелепых монахов и митрополитов с алмазами, на том же основании, на каком нельзя обвинять Спасителя в том, что к Нему приближались мытари, грешники и блудницы.

Если же можно ставить в вину Церкви Христо-

вой митрополитов с алмазами, то, значит, иудеи были правы, говоря: Он друг мытарей и грешников.

Если мы — христиане, то должны же мы понимать "азбуку", а именно: или, что алмазы для митрополита ничто, и тогда не можем мы обращать на них внимания; или они — для него навоз, — и тогда мы должны пожалеть беднягу. Но зачем же его ругать? Но хуже всего мешать сюда Церковь.

Мытари и грешники, шедшие за Христом, наверное были "больны". Но не надо эту "болезнь" переносить на врача: на Христа, на Его Церковь (60—1)*. Заканчиваю: "нынешнего православия" нет и не может быть.

Православие одно и неизменно. Всегда было, есть и будет едино.

Тело Христово одно. И всегда было одним, и меняться или изменяться по существу не может.

Полнота Истины всегда содержалась и содержится в этом Теле (56).

3. Из кого состоит Церковь?

Если мы не откинем слов Христа о послании Духа Святого и о том, что Дух Святой научит, то здравый смысл требует, чтобы мы спросили учени-

* Практика жизни — дело, конечно, важное, но разве Церковь об этом не говорит? И разве можно думать, что нет "праведных" церковников? Ведь истинная жизнь — не видна и не заметна. Только механизмы явны. Поэтому не надо удивляться тому, что на внешний взгляд мы не видим знамений и чудес. Надо присмотреться, и тогда, я думаю, мы поражены будем их "обилием". Может, форма их будет не та, которой мы ждем, но, несомненно, увидим (80).

ков — первых членов Церкви: кто попадет и как попасть, и как остаться в Церкви? И ученики и говорят это — и письменно, и устно (Предание).

Теперь конкретный вопрос: находится ли такой-то крещеный в Теле Христовом? Это никому, кроме Христа, неизвестно. В организации он находится — мы это видим, но находится ли он в Теле — это неизвестно (64—5).

Никто не может сказать про человека: этот человек попадет в жизнь вечную. Но можно с долей вероятности сказать, что если человек отрицает жизнь вечную, то, вероятно, он ей непричастен. Утверждать же опять нельзя, — ибо это тайна, личная тайна между человеком и Богом. Так — по существу дела — Церковь православная и учит. Никогда православие не говорило, что оно — православие, или видимая церковь, или ее священнослужители — могут кому-либо гарантировать жизнь вечную. Это говорит католичество. Православие же говорит, что в последнем счете дело все-таки сводится к личным отношениям между Богом и каждым человеком (77).

Эту, в общем, справедливую мысль Д. А-ча о неведомой тайне спасения нелишне восполнить указанием, что нередко угодившие Богу люди получали извещение о своем спасении. Стоит вспомнить хотя бы слова ап. Павла, обращенные к его ученику ап. Тимофею: "Время моего отшествия настало: подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил: а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его" (2 Тим. 4, 6—8).

Такое же самочувствие было и у других апостолов (см. например 2 Петра 1, 14; 1 Иоанна 3, 2) и многих святых Божиих, живших в последующие века.

Иные получали извещение относительно ближних своих. Такие случаи нередки в житиях святых.

В этом нет ничего удивительного: принявшие обильно благодать Духа Святого естественно удостоверились в будущей судьбе своей, ибо уже здесь на земле могли сказать вместе с ап. Павлом: "Жизнь для меня Христос, а смерть — приобретение".

Эту же в сущности мысль высказывает и Д. А-ч, говоря об "аттрибутах" членов Церкви, которые, по его словам, "наделены Христом только одним атрибутом — жизнью временной. Они перешли от смерти к жизни" (67).

Конечно, принятие "жизни вечной" чадами Церкви имеет разные степени, о чем много и глубоко пишет преп. Макарий Египетский (главным образом, в своих "Словах", которые помещены в конце единственного тома его творений).

Возможно и замирание в человеке жизни вечной, отпадение от нее. Прочтите грозные строки ап. Павла в послании к Евреям (6, 4—8), грозные по отношению к попирающим принятую благодать Святого Духа. Да охранит нас Господь от этой беды!

Продолжаю излагать мысли князя — его же собственными словами — о составе Тела Церкви.

Совершенно верно, что Тело Христово покрыто ранами. И когда Христос висел на кресте, то мало было красоты и привлекательности.

Церковь Христова состоит не из здоровых, а из больных, — и это с самого начала. Это смущало законников — и совершенно правильно. Ибо с точки зрения закона благочестия это нелепо.

Закон благочестия имеет свой критерий и свою мерку. Эта мерка — "праведность", исполнение закона, нравственность и т. п.

У закона благодати другая мерка. Это не значит, что благочестие или нравственность отменены, а это значит, что они дело второстепенное*.

Грешник и блудница не могли принадлежать к организации храма Иерусалимского. К храму же Тела Христова могут принадлежать.

Законник говорил: раз ты — мытарь, грешник и блудница, я тебя не могу принять в свою организацию. И если бы Церковь была только организацией, и она должна была бы сказать то же самое. Христос же поступал не так, как законник, потому что исходил не из закона благочестия, а из закона благодати.

Видит: — сидит мытарь: "Иди за Мной. Составь часть Тела Моего. Я силен тебя переродить и спасти. Мне и Моему царству не нужны дела закона. Я и без них тебя принимаю. А когда станешь частью Меня, и Я буду жить в тебе, ты и начнешь делать дела Христовы, поскольку упразднишь себя".

* В разъяснение мысли Д. А-ча следует сказать, что христианин спасается не благочестием и нравственностью, как таковыми, а благодатию, приемлемою по вере и созидающею в нем, как свой плод, и благочестие, и нравственность. Поэтому человек, при известных условиях (как разбойник на кресте, или умирающий, принесший искреннее покаяние), спасается, прежде чем могли произрасти или достигнуть полноты зрелости плоды благодати и веры. В этом смысле и благочестие и нравственность являются делом второстепенным.

И все апостолы в один голос только об этом и говорят.

Вот в этом смысле и говорится, что сила Божия в немощи совершается.

И если подумаете, то увидите, насколько такая проповедь должна была казаться соблазнительной законникам, и почему мытари, "покрытые болячками" и ничего не могшие привести в свое оправдание, шли ко Христу. И перерождались. И очищались от болячек, — только это невидомо (68—9).

Характеризуя различные отношения к греховным болячкам рационалиста, евангелиста и христианина, Д. А. замечает:

"Рационалист только и делает, что чистится"*.

Евангелист** утверждает, что их нет — Кровь Христа их смыла.

Христианин говорит: "буди милостив ко мне, грешному".

Здесь уместно вспомнить слова преп. Ефрема Сирина: "Вся Церковь — кающихся, вся она есть церковь погибающих", т. е. сознающих свою греховность и ищущих спасения. Несомненно и то, что святые, сознавая свою греховность и каясь в ней, вели усиленную борьбу, при содействии благодати, со своими страстями, памятуя, что "царствие небесное нудится" и "нуждницы восхищают е" (Мф. 11, 13) и что "иже Христовы суть, плоть распяща со страстями и похотями" (Гал. 5, 24).

* То есть собственными усилиями хотят избавиться от болячек.

** Речь идет о сектанте.

4. Жизнь и взаимоотношение членов Церкви как живого организма (по сравнению с сектантством)

Рационалистическая концепция христианства такова: 2000 лет тому назад появилась Божественная Личность. Эта Личность чрез некоторое время ушла туда, откуда приходила, оставив учение. Религия в том, чтобы установить интимную, внутреннюю связь между человеческой личностью и этой Божественной Личностью. Мало-по-малу эта Божественная Личность заменяется Ее учением, и рационалист оставляет связь с Божественной Личностью и связывает себя с Ее учением. (Протестантство в этом положении и все рационалистические секты.)

Концепция церковника совсем другая.

Он полагает, что Искупитель-Христос (идея искупления явно запечатлена во всем мире, на всей жизни мира: во всем мире все сущее так или иначе отдает жизнь свою ради жизни других), церковник полагает, что Искупитель-Христос, сотворив Себе плоть, — воплотился. Для этого выбрал народ, колено, семью. В этом для церковника смысл Ветхого Завета. Воплотившись, Божественная Личность — Искупитель, ради продолжения Своего дела, снова сотворяет Себе плоть из человеческого естества. Плоть эта и есть Церковь. Церковь — Тело Христа. Каждый церковник в отдельности — "член Тела Христова".

Когда рационалист говорит: "я жив", то он разумет, что связал себя со Христом.

Когда церковник говорит: "я жив", то он этим хочет сказать и говорит следующее: "я жив, но живу уже не я, а живет во мне Христос".

Когда рационалист говорит о "духовной жизни", он понимает жизнь своей души, и только.

Церковник же, член Церкви, под словами "духовная жизнь" понимает гораздо больше. Он еще понимает соборную, в единении, жизнь всех частиц, всех молекул Тела Христова, во Святом Духе, или Святым Духом.

Когда рационалист-сектант говорит о благодати, то он понимает нечто в роде помощи Божией, ему лично посылаемой и его лично оживляющей.

Член Церкви кроме этого утверждает, что принятая им благодать проникает еще и во все частицы Тела Христова, т. е. и во всех друзей Христовых, во всех членов Церкви (37—8).

Баптисты и рационалисты думают, что Дух Христа вселяется в каждого верующего и оживляет его.

При таком взгляде христианство есть нечто только личное. Никакой связи между людьми, кроме той, которая существует в любой социал-демократической организации, — нет.

При церковном же взгляде, христианство нечто соборное, члены Церкви суть молекулы одного организма. Какая же разница? — Громадная. Если баптист Сидор получил от Духа Христа, то через это с баптистом Иваном ничего не произойдет. Он ничего при этом не получит. Ибо, если я намочу один камень, лежащий в куче, то остальные от этого не намокнут.

В Церкви совсем другое: благодать, которую воспринял член Церкви Сидор, оживляет не только Сидора, но и всех членов Церкви.

Совершенно так, как в яблоне или нашем теле. Заразилась одна "клеточка", болеют все.

Полили вы корни, а ветки получили воду (70—1).

Для церковника "Церковь" не только организация, но еще и организм, не только система или учение, а Живая Личность, и эта Личность — Христос.

Видимая Церковь — это естественное, видимое, осязаемое Тело Христово.

А потому и судьбы Церкви должны быть подобны судьбам Иисуса Христа.

Она должна быть искушаема и предаваема, она постоянно умирает и постоянно воскресает.

Если просмотрите речи Спасителя, то увидите, что в этих речах именно это и излагается. И если эту концепцию исключить из речей Спасителя, то придется исключить не только три четверти речей по букве, а еще вынуть, так сказать, краеугольный камень всего здания.

При этой концепции суть нашей жизни на земле такова: сила Христова, сила Искупителя вытягивает во Христа частицы и молекулы мира для дачи им высшей жизни. Но ведь это самое и говорил Христос. Христос из нас строит Себе Тело, Которое не будет знать смерти. Это Тело есть Церковь.

Это строительство идет во всем мироздании. Растения вытягивают в себя минералы и дают им высшую жизнь. Животные вытягивают в себя растения, и так далее. И везде действует сила Христова.

Если Вы станете на такую точку зрения, то вам будет ясна и роль таинств и всего прочего в учении Церкви.

Божественный акт приобщения к высшей жизни и называется таинством.

И этот акт, видимо, совершается при посредстве людей — "священства" — Самим Христом. И на это есть подлинные слова Спасителя.

Подобно тому, как при земной жизни Христа

приобщение людей к высшей жизни совершалось при посредстве человеческого естества Спасителя, так точно и ныне видимое приобщение к этой жизни совершается при посредстве видимого и осязаемого человеческого естества Тела Христова, при посредстве Церкви (38—9).

Если Церковь — живой организм, и организм высшего метафизического порядка, то само собою мы должны признать и чудеса, т. е. что-то такое, что сверх физического естества, но не противофизического естества*.

Если же такой высшей жизни нет, то нелепо и глупо говорить о чудесах, ибо сами себя мы за уши поднять не можем. Но это не значит, что другой нас не может поднять. Если же мы отрицаем этого другого, то, конечно, нелепо говорить о возможности быть поднятым за уши (57).

Если вы сделаете все выводы из этой церковной концепции, то увидите, что она, действительно, может быть названа "универсальной", ибо равно может удовлетворить и ребенка, и "угольщика", и Пастера (79—90).

Дело не в том, чтобы мыслить одинаково, а дело в том, чтобы жить одним и тем же.

"Я жив, — говорит Павел, — но уже не я живу, а живет во мне Христос".

А Христос это же самое выражал словами: "никто не спасет жизни своей, если раньше не потеряет ее".

Для чего ее терять? Для того, чтобы дать возмож-

* Говоря о сверхестественном, Церковь утверждает и учит, что сверхестественное НЕ противоестественно, а только превосходит, идет дальше естественного (40).

ность Христу жить в этом потерявшем свою жизнь человеке.

При церковной концепции, основанной на словах Христа и ап. Павла, единение "угольщика" и неграмотной бабы с Пастером вполне возможно*. Каким образом? А тем, что "они живы, но не они живут, а живет в них Христос. Поэтому оказывается, что истинно демократическим учением, в лучшем самом возвышенном и широком значении этого слова (демократизм) является учение Церкви (41).

Согласитесь с тем, что истинная "демократичность" и братство, и равенство только в церковном учении.

Мы равны и братья, только если мы части и молекулы одного и того же живого тела. В организации нет и не может быть "органического" равенства и братства.

Только при концепции церковной голова или рука не могут "гордиться" пред ногой или ухом (36).

Дары различны, но жизнь едина, ибо живет во всех Единый (41).

Причина ухода из Церкви и возвращение в нее

Мы все, рожденные и воспитанные в лоне Церкви, совершенно похожи на того младшего сына, который, забрав причитающееся ему достояние, пошел искать доли своей.

* Имеется в виду известное высказывание Пастера о том, что он хотел бы обрести веру простой крестьянки.

Мы оставили кров Церкви и, оперевшись на свои силы, пошли искать жизни.

Но вот, все изведав, все испытав, видим, что нет нам питания вне Дома Отчего. И нас тянет назад. Может, это слабость. Несомненно слабость. Но именно в немощи нашей только и может проявиться сила Божия. Я жив, но уже не я живу. Я изжился, и ослабел, и потерял веру в себя. Вот те необходимые условия, при которых и может только проявиться в нас Сила Христова.

И вот, мы ориентируем свой путь по направлению того, что некогда оставили.

И заметьте удивительную вещь: такой путь — обратный к дому Отчему, возможен только для тех, в ком была сильная любовь к Личности Иисуса Христа.

Без такой любви, без такого отношения и личности Христа — путь к Церкви — обратный путь — невозможен, ибо Церковь есть Личность Христа.

И вот мне думается, что когда человек увидит, что ему "некуда идти", то он обязательно вспомнит о Личности Иисуса Христа и придет к этой Личности, не за гробом, а тут на земле.

И сколько я ни думаю и ни вникаю в дело, я не вижу другой основы для утверждения Церкви Христовой в той концепции, в какой я изложил дело, как именно любовь к Иисусу Христу. И никак не могу себе представить, чтобы при наличности этой любви — рано или поздно — человек не принял учения о Церкви и учения Церкви.

Тут только вопрос времени, вопрос внешних обстоятельств (60).

В заключение могу сказать, что, ознакомившись

с учением Православной Церкви, я пришел к выводу, что это учение: 1) исчерпывает благовествование; 2) самое разумное из всех известных мне схем миропонимания; 3) единственное "универсальное", т. е. обращается равно как к "вохву-мудрецу", так и к пастуху; 4) единственное учение, которое дает ответ и удовлетворяет все запросы разума и сердца человеческого.

5. Богочеловек и Человекобог

С самого начала существуют два течения мысли и два отношения к делу Христа. Люди как бы делятся на две группы, и каждая группа видит во Христе разное и ожидает от Него другого.

Одна группа ожидает от Христа устройства земной жизни. Другая: спасения души.

Во-вторых: первая группа склонна видеть в соборании христиан совершенную, божескую организацию, которая, устроая земную жизнь, дает, кроме того, и спасение души, — если таковое существует. Тут центр тяжести, несомненно, в земном. Другая группа смотрит на земную жизнь как на незначительный момент жизни человека, взятой в бесконечной целостности.

В-третьих: для первой группы Христос — пророк и установитель царства Божия на земле. Его царство, это царство мира и единения людей на земле.

Для второй группы: Христос — Зерно, Начаток, Источник и Глава нового, небывалого до Его пришествия, Организма, обладающего новой, небывалой (для людей) до того жизнью другого порядка по существу. Это — главное в христианстве; все

остальное — второстепенное и составляет естественное приложение. Этот новый Организм назван Телом — Церковью Христовой. Это значит, Богочеловеческий Организм. Тут, следовательно, полная аналогия с тем, что для верующего был исторический Христос.

С той только разницею, что исторический Христос жил на земле в естестве человеческой жизнью личной, а ныне Христос в теле Своей Церкви, — из естества человеческого — живет жизнью соборной. Соборной в том смысле, что отдельные люди, как "живые камни", составляют часть — органическую — Его тела, храма Его Тела.

При таком представлении должна существовать полная аналогия между историческим Христом и Его Церковью. Если были благочестивые люди, вроде Гамалиила, которые не видели Христа, то ныне должны существовать благочестивые люди, которые могут не видеть Христа в Его Церкви.

Из расспросов я вижу, что нет ни одного выражения, ныне делаемого против Церкви, которое бы, в свое время, не делалось против Христа (97—8).

Если вникните в отношения иудейского законника к Иисусу, то увидите, что драма и трагедия происходили оттого, что иудейские законники никак не могли примирить в своем сознании две вещи: полное Божество и полное человечество Плотника из Назарета.

Если вы только вообразите, что Иисус "выразил" одно из двух: или полное Божество, или же полное человечество, то вы увидите, что не могло бы произойти того, что происходило между Ним и законниками.

Совершенно в таком же положении и Богочеловеческий организм, называемый Церковью.

Если вникнуть во все то, что выставляется против Церкви, то увидите, что соблазны и недоумения имеют своей причиной именно Существо Церкви, именно слияние Божеского и человеческого. То требуют от нее одно Божеское, забывая про человечество ее, то требуют одно человеческое, забывая про Божескую ее природу.

Как раз такое же отношение было и к Плотнику из Назарета. То камнями побить за богохульство, то сделать царем, дабы насытиться; то дай нам знамения с неба, то запрети ученикам возглашать осанну! (110—111).

Теперь о четвертом. Первая группа, о которой я сказал выше, с психологической, внутренней, духовной точки зрения, вполне подобна стаду "без пастыря". Христос ушел на небо. Наместники путают, и получается не жизнь, а безобразия. Отсюда, как естественное следствие, постоянные ожидания "святого мужа", который, наконец, "устроит жизнь по-Божескому".

Но дело в том, что такие ожидания, по существу и в принципе противоречат самой сущности христианства, ибо помещают телегу впереди лошади. Следствие становится целью*.

А во-вторых, земной жизни придается неправильное значение: внешнее становится выше внутреннего.

Забывается, что целью пришествия Христа было не устройство земной жизни, как думали иудеи и

* Д. А. хочет сказать, что земное благоустройство должно быть следствием, а не целью христианской жизни: "Ищите прежде царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам" (Мф. 6, 33).

иудействующие христиане, а спасение души и приобщение ее к жизни другого порядка, к жизни вневременной.

Для церковника — ожидать "святого мужа" незачем по той причине, что для церковника Сам Христос ныне живет на земле в Телѣ естества человеческого, в Своей Церкви.

Если же многие благочестивые и приятные Богу люди не видят Его в Его Церкви (т. е. во плоти), то ведь и Гамалиил Его не видел, — не прозрел, что Плотник из Назарета есть Христос Сын Бога Живаго!

Я не сужу нынешних Гамалиилов и Савлов, но только констатирую, что ожидание "святого мужа", который устроит земную жизнь и объединит людей вне Церкви, т. е. вне Тѣла Христа — опасно.

Если мы твердо это усвоим и будем твердо знать, что учитель Христос всегда с нами, — но мы не всегда Его видим, — то мы не будем "надеяться на человека"* , а возложим упование на Христа. Понятное дело, что Христос проявится для нас в виде человекoв, но ведь это — другое дело, ибо, хотя Он и проявится чрез человекoв, все же до скончания века Он — Единый Учитель и Верховный Первосвященник. Великий Единый Учитель уже приходил и

* В предыдущем письме Д. А.: "Я думаю, что эта идея ("обожествление себе довлеющего человека") быстро завоевывает умы людей. Я предрекаю ей скорый и быстрый видимый успех и внешнюю видимую победу над идеей Богочеловечества" (90). Отстаивая эту идею, "Церковь главным образом борется с идеей человекобожества. С идеей замены Творца — тварью. С идеей упразднения Бога за практической Его ненужностью и с тенденцией замены религии — нравственностью" (102).

уже находится налицо. Живет на земле в теле естества человеческого жизнью соборной.

И Тело это есть Церковь, глава которой — этот Единый Учитель Иисус Христос.

И в Нем, и только в Нем, человечество обретает спасение, и единение, и б ы т и е (102).

От себя ничего больше прибавлять не буду.

Письмо вышло безобразно велико. Простите, что не сумел сделать короче. Прошу молитв о себе и о покойном рабе Божиим Дмитрием, уготовившем для нас такую обильную и питательную трапезу.

Мир вам, мои дорогие!

Любящий вас брат о Господе.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

2 января 1924 г.

День пр. Серафима Саровского

”Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете” (1 Петра 4, 12—13).

Этими словами апостола закончил, если помните, я седьмое письмо к вам, друзья мои. Ими же начинаю теперешнее мое письмо. Там слова эти не являлись итогом и заключением к целому письму, а скорее должны были послужить ободрением в противовес печальной теме письма и естественно грустным выводам из него. Сейчас же вышеприведенное

слово апостольское должно ввести вас в самую суть предстоящей беседы, внося вместе с тем и сокрытый в нем дух христианского упования.

/.../ Апостол увещевает христиан, внушает им, чтобы они не относились к "огненному испытанию", "как к приключению для них странному", чтобы "не чуждались" его, как чего-то для них неожиданного, им — христианам не свойственного.

"Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы" (2 Тим. 3, 12), — подтверждает мысль ап. Петра другой первоверховный апостол Павел, и добавляет: "злые же люди (по-славянски "лукавые") и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь" (2 Тим. 3, 13).

Но раньше, чем апостолы, Сам Господь изрек непререкаемое слово о том, что Его последователи будут ненавидимы и преследуемы, и что эта тяжелая участь будет их уделом именно за их верность и последование Ему — Христу Господу. Мысль о неизбежности гонений всякого рода за исповедание имени Христова Господь не раз высказывал в течение Своей земной жизни и выяснял причину этого, на первый взгляд многим кажущегося странным, явления.

Посылая двенадцать Своих учеников на проповедь, Господь предупреждает их, что на них "возложат руки и будут гнать их, предавая в синагоги и темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Его" (Лука 21, 12), что они будут "преданы родителями и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из них умертвят", что вообще они "будут ненавидимы за имя Его" (Лука 21, 16—17).

Вот чего, по слову Божественного Учителя, должны ожидать Его ученики от мира, в который Он посылал их с благою вестью спасения.

В чем же причина этой ненависти, которую суждено было встретить благовестникам Христова мира и любви?

Ответ на этот естественный вопрос дает Господь в Своей прощальной беседе с учениками: "Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел; если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше: но все то делают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня" (Иоан. 15, 18—21).

Дальнейшее разъяснение этой мысли мы находим в разговоре Иисуса Христа с Пилатом.

Когда Пилат, призвав Иисуса, спросил Его: "Ты царь Иудейский?" Иисус отвечал ему... "Царство Мое не от мира сего: если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвизались бы за меня, чтобы Я не был предан Иудеям, но ныне Царство Мое не отсюда". — Не отсюда, т. е. не от мира сего.

На встречный вопрос Пилата: Царь ли Он, — Господь отвечает утвердительно и при этом дает характеристику Своего царства и его граждан: "Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего" (Иоан. 18, 33, 36—37).

Итак, причина ненависти мира ко Христу и Его верным последователям та, что мир, "весь лежащий

во зле” (точнее в диаволе) (1 Иоан. 5, 19), не знает Бога (Иоан. 15, 21; ср. 17, 25), чужд истины, составляющей существо царства Христова (18, 38; ср. 1, 17; 14, 6; Ефес. 4, 21). ”Духа истины... мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его” (Иоан. 14, 17).

Беседуя с неверовавшими в Него Своими родственниками (братьями), Господь сказал им: ”вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы” (Иоан. 7, 7).

Итак, свет истины обличающий темные дела мира, невыносим для него, и мир естественно проникается злобой к носителям света, начиная с Самого Светодавца Христа, и пытается изъять их из своей среды.

Если вы, мои дорогие, вчитаетесь в те места Нового Завета, где говорится о взаимоотношении Христова Евангелия и мира, то вы без труда усмотрите их коренную противоположность во всех областях жизни. Эту противоположность непрестанно и неустанно подчеркивают ближайшие ученики Господа, первые провозвестники Его Евангелия. Прислушайтесь к их голосам:

”Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле” (1 Иоан. 5, 19), — возвещает великий тайнозритель ап. Иоанн. ”Не любите мира, ни того, что в мире, — увещевает тот же Апостол любви, — кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская — не есть от Отца, но от мира сего” (1 Иоанн, 2, 15–16).

”Прелюбодей и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто

хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу”, — пишет “двенадцати коленам, находящимся в рассеянии”, праведный Иаков, брат Господень (Иак. 4, 4).

“Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого”, — так противопоставляет в своем послании к Коринфянам ап. Павел мудрость Христову мудрости века сего (1 Кор. 2, 12—13).

“Никто не обольщай самого себя, — продолжает назидать Коринфян Апостол языков. — Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом” (1 Кор. 3, 18—19).

“Смотрите, братия, — предостерегает Колоссян тот же Апостол, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает полнота Божества телесно” (Кол. 2, 8—9).

Как движущей и вдохновенной силой для христиан является “полнота истины” — Христос Господь, владычествующий над царством не от мира сего Духом Истины, так двигателем и вдохновителем жизни мира сего является “лжец и отец лжи”, князь этого мира — диавол, окутывающий мраком лжи область своего царства. Ап. Иаков, возвестив, что “дружба с миром есть вражда против Бога”, делает отсюда вывод, вскрывающий внутреннюю сторону этого мира: “Итак, — говорит он, — покоритесь Богу, противостояйте диаволу, и убежит от вас” (Иак. 4, 7).

К постоянной борьбе с этим миродержцем призывают чад Христовых и другие Апостолы. “Облеки-

тесь во всеоружие Божие, — наставляет Ефесян ап. Павел, — чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань... против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных” (Ефес. 6, 11–12).

Что же требуется для победы над этим миродержательным злом? Кто и при каких условиях может надеяться на успех в этой борьбе?

На этот вопрос дает ответ возлюбленный ученик Господа, ап. Иоанн: ”Всякий рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий, ... пришедший водою и кровию и Духом” (1 Иоан. 5, 4–5).

Облекшийся во Христа и сочетавшийся с Ним в водах крещения, приявший Св. Духа в тайне миропомазания, углубляющий свое общение со Христом в достойном приятии животворящих Тайн Тела и Крови Христовых и делающийся чрез то обителем Св. Троицы, вот кто является победителем мира и князя его. Основывается же эта победа на предварительной победе Искупителя Христа, изрекшего в прощальной беседе с учениками: ”Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего (Иоан. 14, 30) ... мужайтесь: Я победил мир” (Иоан. 16, 33).

Эта победа над миродержательным злом, вполне сказавшаяся после славного Воскресения Христова, сообщилась и тем, кто, отрекшись от отца лжи, сочетался с Победителем Христом и увидел в себе живущим Сына со Отцем и Духом (см. Канон ко св. Причащению, п. 9, троп. 2, также 1-ю молитву св. Василия Вел. ко св. Причащению). ”Дети! вы от Бога, и победили их (слуг антихристовых); ибо

Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире”, — удостоверяет тайнохранитель (1 Иоан. 4, 4).

Борьба тьмы со Светом, отца лжи с Духом Истины, князя мира сего с Царем небесным, Владыкой царства премирного, началась на земле со времени наших праотцов. Тогда же изречено было Божие Слово, предопределившее на тысячелетия эту борьбу, равно как и течение ее: ”И сказал Господь змию... ”вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пяту” (Быт. 3, 15).

С особенной яркостью и силой сказалась эта положенная Богом вражда между князем мира сего и семенем жены, когда ”тайна беззакония” (2 Фес. 2, 7) столкнулась в мире сем с великой ”тайной благочестия”, когда ”Бог явился во плоти” (1 Тим. 3, 16). Потерпев поражение в этом столкновении с Богочеловеком, князь мира сего обрушился со страшной силой на наследие Сына Божия, на Церковь Святую ”юже стяжа” Христос честною ”Своею Кровию” (Деян. 20, 28).

Эта последняя брань, разнообразясь по виду и содержанию, изменяясь в силе и напряжении, стихая в одних местах и разгораясь в других, оставляя одну область и переходя в другую, прошла века и дошла до наших мест и до наших дней, к которым с достаточным основанием приложимы слова Апокалипсиса: ”Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени” (12, 12).

Привыкши, в течение многих веков, к ”мирному и благоденственному житию”, под покровом православного государства, мы оказались совершенно

неподготовленными к той, для большинства христиан неожиданной, духовной борьбе, к которой привела нас промыслительная десница Вождя и Подвигоположника нашего. Глухие к слову Божию и пророческим голосам, вещавшим о близости и неизбежности этой борьбы, слепые относительно событий, которые не то что говорили, а вопияли о надвигающейся грозе, охотно и легко обольщавшиеся грезами лжепророков "научного мировоззрения", которые ублаживали нас пошлым и нелепым учением об автоматическом прогрессе, забыв слово апостольское, точнее Духа Святаго, о том что истинные христиане "не имеют зде пребывающего града, но грядущего взыскуют" (Евр. 12, 14), мы так уютно и, казалось, прочно засели и устроились в здешнем граде, где со времени падения Адамова утвержден "престол сатаны", что нам и во сне не снилось того, что свалилось на наши в разных смыслах бедные головы. Когда все говорили: "Мир и безопасность" (по слав. "утверждение"), тогда "внезапно постигла нас пагуба" (1 Фес. 5, 3).

Потрясенные в наших политических и социальных верованиях и чаяньях, мы так растерялись, что подумали, будто и Церковь Христова должна сокрушиться под ударами ее врагов, как рушился под этими ударами тот государственный и общественный строй, при котором так недавно и так самоуверенно покойно жили мы, среди которого и в союзе с которым жила наша церковь, уподобляясь кораблю, стоящему на якоре в тихой, надежной пристани.

Глубокое и для христианина преступное заблуждение. Заблуждение это избличает в нем ложное отношение к Церкви только как к организации, и организации человеческой, и неверие в Церковь,

как живой организм Тела Христова. Не говоря уже о том, что здесь сказывается и просто научное невежество в области церковной истории, или, по крайней мере, забвение тех уроков, которыми полна история Церкви, и которые надлежит чадам Церкви постоянно носить в душе своей.

Какие же это уроки? Чему они учат нас?

В одну из особенно значительных минут Своей земной жизни, когда злоба иудеев из-за воскрешения Лазаря дошла до решимости убить не только Иисуса, но и воскрешенного Им Лазаря, Господь Иисус Христос изрек ученикам Своим — Андрею и Филиппу, сообщившим Господу о желании пришедших на праздник эллинов видеть Его, следующие знаменательные слова:

”Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почитит Отец мой. Душа Моя теперь возмутилась, и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего. Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое.

Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю” ... И сказал Иисус народу: ”Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе”.

”Сие говорил Он, — разъясняет последние слова Господа евангелист Иоанн, — давая разуметь, какою смертью Он умрет” (Иоан. 12, 23—28, 31—33).

Господу ветома была злоба иудеев против Него, разжигаемая диволом, детьми коего Он и называл их за их человекоубийственное и враждебное Истине настроение (Иоан. 8, 41, 44); Он предвидел близость Богоубийства, задуманного Его врагами, озлобленными растущим с каждым днем нравственным влиянием Его на народ, — и вот случай с искавшими видеть Его злиными, могущий вызвать еще большее негодование иудеев, побуждает Господа раскрыть ученикам и народу тайну приближающегося к Нему страдальческого и вместе славного подвига.

Он говорит о предстоящей Ему славе (23) и тут же об отдаии Своей жизни (24). Он обяывает Своих последователей принять путь креста и обещает им почет у Отца Небесного и жизнь вечную (25—26); душа Его возмущается в предвидении смерти и страшного преступления, имеющего над Ним совершиться, и в то же время Он молит Отца о прославлении Его имени (27—28); Он зрит позорную жизнь, которой подвергнется по воле Отца, и вместе созерцает победу над князем мира сего и спасительное привлечение к Себе людей именно этой позорной смертью (31—33).

Сколько глубоких, радостных и таинственных для плотского ума истин приоткрывают эти немногие строки Евангелия от Иоанна! Здесь указана Самим Господом безмерная цена нашего спасения в Церкви Христовой, которая созиждется на крови Богочеловека; здесь начертан путь креста, по которому во все века должны идти и пойдут истинные чада Церкви, ”взираая на Начальника и Совершителя веры, Иисуса, Который, вместо подлежащей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамле-

ние, и возсел одесную престола Божия” (Евр. 12, 2); здесь возвещается поражение дьявола и слава Иисусова, достигнутые крестом.

Итак, крест — вот основа христианства, основа Церкви, сила, побеждающая мир и мироправителей века сего. Крест — путь Искупителя, он же — путь для Его учеников; Глава Церкви и члены ее неразрывно связаны между собою единством пути — единством страдания и славы, умирания и воскресения.

Тайна креста, тайна страдания за имя Христова, как условие стяжания Царствия Божия, была прежде всего усвоена ближайшими учениками Искупителя, о чем свидетельствуют их писания и жизнь. Но совершилось усвоение этой коренной тайны Христова благовестия не сразу, ибо ветхий человек, вдохновляемый князем мира сего, естественно противится принятию этой тайны, и только Дух Святый изменил в апостолах ветхое самочувствие самоутверждения на новое — самоотречение.

Тот самый Апостол, который, желая отвести Господа от крестного пути, в период своей ветхости говорил Ему: ”Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою”, и который заслужил за это суровый упрек от своего Учителя, сказавшего ему: ”Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое” (Мф. 16, 22—23), этот Апостол, озаренный Духом, убеждает, как вы, надеюсь, помните, чад Христовой Церкви ”не чуждаться огненного искушения, как приключения для них странного”, и ”радоваться участию в Христовых страданиях”.

Писания и жизнь другого первоверховного Апо-

тола Павла преисполнены, можно сказать, раскрытием и выявлением тайны и силы крестной, неведомых и чуждых миру. "Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость... Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого", — пишет он Коринфянам (1 Кор. 1, 23—24; 2, 2). "Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, Которым для меня мир распят, и я для мира", — говорит он в послании к Галатам (Гал. 6, 14).

Это устремление ко Христу распятому, сораспятие Ему, ношение язв Его на теле своем (Гал. 6, 17), вообще вседушное и всестороннее приятие крестного пути (см. 2 Кор. 11, 23—29) соделало великого Апостола языков причастником силы Христовой в такой мере, в какой едва ли кому сообщалась эта сила. Приобщившись ей, он мог дерзновенно исповедать в Послании к Филиппийцам: "Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе" (Фил. 14, 13).

И точно, только укрепляемый безмерной силой Христовой, мог святой Апостол переносить все то, что перенес он на своем изумительном жизненном пути. И посмотрите, с какою бодростью и почти радостью говорит он об испытываемых им неисчислимым скорбях:

"Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем" (2 Кор. 4, 8—9).

"Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа,

ибо когда я немощен, тогда силен” (2 Кор. 12, 10).

Как же относятся к своим обидчикам и гонителям св. ап. Павел и его сподвижники по оружию?

”Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый донныне” (1 Кор. 4, 12–13)*.

Так говорят, так мыслят, так чувствуют, так живут новые граждане того ”неотпадающего Царства”, которое основал на ”честной крови” Своей Искупитель Христос. Уже здесь, в пределах ”мира сего”, они таинственно изведены из этого мира и, соделавшись ”новою тварью”, положили начало царству не от мира сего, живущему совсем иною жизнью, управляемому совсем иными законами, чем жизнь и законы мира. И, естественно, мир возненавидел этих новых граждан, как возненавидел Он Основателя нового царства — Христа, и словом, и жизнью обличавших неправду этого мира (Иоан. 15, 18–19; 8, 8; 7, 7).

Но не страшит граждан нового царства эта идущая по пятам их ненависть. То, чем они живы, что составляет существо их нового бытия, находится за пределами, переступить которые бессилен мир в своей ненависти.

”Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: ”За Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец,

* С какой верностью выполняют первые ученики Христовы заветы своего Небесного Учителя: ”любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и гонящих вас” (Мф. 5, 44).

обреченных на заклятие” (Пс. 43, 23). Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем” (Рим. 8, 35—39).

Таков победный клич ”непоколебимого” (Евр. 12, 28) Царства Христова, возлюбивших своего победоносного Вождя ”всем сердцем своим, всею душою своею и всем разумением своим” (Мф. 22, 37). Над входом во врата этого нового царства начертаны слова, определяющие сущность этого царства и условия вступления в него: а) Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе (Рим. 14, 17) и б) многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14, 22).

За первыми гражданами, вступившими в это царство, Апостолами и мужами Апостольскими, последовал бесчисленный сонм мучеников, в течение почти трех веков заполнявших область царствия Божия, Церкви Христовой. Вместе со своими предшественниками — Апостолами — они легли в основание Церкви, спаявшись своею кровью с краеугольным Камнем Церкви, Христом. И Церковь в своих чинопоследованиях ежедневно прославляет эту красу свою, этих мужественных исповедников Истины, своею кровью заливших отверзшуюся было на Церковь адскую пасть, своею смертью оправдавших и утвердивших во всем мире благовест о вечной жизни.

”Мученик Божественный личе, — молитвенно взывают чада Церкви, обращаясь к святым мучени-

кам, — Церкви основание, благовестия скончание, вы делом Спасова глаголения исполните: вами бо врата адова на Церковь отверзшаяся заключишася, крове вашей литие идолийския жертвы изсуши, заклятие ваше породе церковное исполнение: бесплотных удивисте, Богу венценосцы предстоите, Его же непрестанно молитесь о душах наших” (Канон всем святым, стихира)*.

Такова сила, таково значение крови, проливаемой за Истину!

На крови Сына Божия созиждилась Церковь, кровью сынов Божиих укреплялась и расширялась, преодолевая неисчислимы козни исконного врага Божия, князя мира сего.

Обильно орошаемая мученическою кровью в течение трех веков, церковь из ”зерна горчичного” выросла в огромное, многоветвистое дерево, в ветвях которого находили приют многочисленные стаи словесных птиц. Пришло время — милостиво взглянул Господь на страдальцу Церковь и, оградив ее от любого миродержца, даровал ей покой рукою благочестивого императора Константина. Потухли костры, на которых жарились тела христианских мучеников; уничтожены страшные орудия мучений, созданные диавольскою злобой; раскрылись темницы, где во множестве томились исповедники имени Христова; опустели каменоломни, где непосильным трудом и жестокостью приставленников измождались верные рабы Христовы, — мир и благоденствие настали для последователей Распятого.

Милость Божия была вызвана, надо думать,

* См. также Канон малого повечерия: ”Яко начатки естества” ... и Тропарь (там же) всем святым: ”Иже во всем мире мученик”...

крайним напряжением нравственных и физических сил христианского, церковного общества, очевидно, нуждавшегося, однако, в пережитом им "огненном крещении".

С наступлением, после Миланского эдикта, мирного жития для исповедников Христовых, когда сам император всемирного царства вошел в ограду Церкви, как послушный сын ее, можно было подумать, — и многие думали, что "царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его" (Апок. 11, 15). Но, увы, думы эти и чаяния не оправдались. Борьба князя мира сего с наследием Христовым не прекратилась, а лишь видоизменилась, и едва ли к торжеству христианства.

Милостью Божией, создавшей новые условия жизни для Святой Церкви, враг воспользовался, чтобы оразнообразить борьбу и перенести ее с периферии в центр, из внешней сделать внутренней, причем вместо одного бранного фронта образовалось два, которые утвердились в христианском обществе на многие века: в существе своем и видимости они дошли и до нашего времени, хотя и изменились в силе и напряженности борьбы.

Когда христианство было объявлено государственной, т. е. господствующей религией в Римской империи, огромные толпы римских граждан ринулись и заполнили ограду Церкви по мотивам вовсе не религиозным. Это равнодушное к вере, теплохладное стадо корыстных душ, "искавших не Иисуса, а хлеба куса", быстро видоизменило состав церковного общества, внеся в него мирские эгоистические начала жизни, наполнив его мирским духом.

Не мир стал царством Божиим, а царство Божие

прияло в свое недра мир и вступило на путь обмирщения. Вот тогда-то души, действительно ревновавшие об Истине Христовой, жаждавшие спасения и искренно искавшие его, стали отходить от мира с христианской позолотой, или, иначе, от христианства, помазуемого духом мира сего. "Видя беззаконие и пререkanie во граде" и "не оскудевшую от стогн его лихву и лесть", эти боголюбивые души "удалились, бегая, и водворились в пустыне, чая Бога, спасающего их от малодушия и от бури" (Пс. 58). Чистое христианство устремилось в места безводные и с трудом проходимые, где ранее обитали одни звери дивии, и немного прошло времени, как пустыни процветали, яко крини сельнии.

Но глубоко ошибся бы тот, кто подумал бы, что без особых трудов, потом создалось это процветание, что уклонившиеся от соблазнов мира уклонились и от борьбы, что с уходом в места тихие, уединенные и безмолвные, они избегли козней дьявольских и брани, воздвигаемой князем мира сего.

Кто сколько-нибудь знаком с историей христианского подвижничества, тот, конечно, не подумает этого. Брань, открывшаяся в пустынях, была продолжением той брани, которую вели мученики на стогнах градов: только мученичество в пустыне стало более внутренним и добровольным, менее острым и более продолжительным. Хотя там не было видимого излияния крови (если не говорить о нередких избиениях пустынножителей варварами), производимого руками мучителей-человеков, зато там происходило пожизненное невидимое излияние ее в борьбе с плотью и миродержателями тьмы века сего, нигде не разнообразившими так своих козней и не обнаружившими так своей нена-

висти к роду христианскому, как среди насельников пустынь.

Известна классическая формула, определяющая существо подвижнического жития: "дай кровь и прими дух". В ней сказано самое существенное о подвижничестве: указаны путь и цель. И мириады воинов Христовых, разного пола и возраста, незримо изливали кровь свою для стяжания духа Божия из любви к возлюбившему их Господу Иисусу. На этом фронте, если и бывали поражения в стаде Христовом, то в общем победа целые века оставалась за гражданами Царства Божия, к великому посрамлению главного "мироправителя" и клеветов его, изгоняемых из "безводных мест" (см. Мф. 12, 13 и Лк. 11, 24) силою креста и имени Христовых (преп. Иоанн Кассиан). Не то происходило на другом фронте — мирском.

Я не буду касаться страшной и великой эпохи ересей, воздвигнутых и поддерживаемых отцом лжи* в течение нескольких столетий. Потрясая иногда весь состав церковного тела богохульными учениями и одерживая нередко крупные частные победы, враг Истины терпел в конечном счете серьезные поражения.

Но одновременно с этой борьбой на почве верования шла последовательная брань князя мира сего с носившими имя Христово в области повседневной жизни, личной и общественной. Здесь постепенно, но неуклонно враг захватывал все новые позиции, расширяя и углубляя сферу своего влия-

* См. об участии дьявола в порождении ересей интересные указания у преп. Иоанна Кассиана и у св. Симеона Нового Богослова.

ния в так называемом христианском обществе, в государственной церкви и христианском государстве.

Сущность борьбы сводилась к подмене подлинного христианства подложным, живого — мертвым, сердечной веры — отвлеченной богословской мыслью, богодейственных богослужебных тайн — внешней культовой помпой, внутреннего подвига — лицемерной внешностью скромного во имя Христа жития — удобствами жизни, духовного воздействия на тех "иже во власти суть" — угодничеством пред ними и т. д. без конца.

Христианство, которое получалось в результате этой борьбы, можно охарактеризовать словами, которыми ап. Павел определяет сущность христиан последнего времени: "имуции образ благочестия, силы же его отвергшиися" (2 Тим. 3, 5). И главное — это повсюдное отступничество покрывалось ("даже до сего дне") христианским наименованием, а потому не мозолило глаз и не тревожило "христианской" совести.

Чего враг не мог достигнуть насильем, он с успехом стал достигать путем многообразных подделок, имитаций, фальсификаций и компромиссов.

Церковь не должна была забывать, что она все-таки в мире, в мире нечестивом* и, по существу, ей враждебном, который при всяком случае стремится и может дать ей почувствовать вражду свою. Ей, пока она находится в условиях мира сего, не должно мечтать о покое: она должна непрестанно воинствовать под знаменем креста.

Вступив на путь "мирного" сожительства с госу-

* "Лежащем в диаволе", см. выше об этом.

дарством, стихией мирской, Церковь стала забывать свой сверхмирный характер, и ее дальнейшее существование может быть охарактеризовано словами одного ученого историка и философа, благоговейного почитателя и исследователя библейских пророчеств. Истолковывая одно место из Апокалипсиса, он говорит по поводу его: "Церковь будет существовать под владычеством земных государств, которые станут покровительствовать ей и вместе поработать ее... И в самом деле, в течение 18-ти веков* положение, принятое государством относительно Церкви, может быть выражено столько же словом: благоволение, сколько и словом: порабощение. Тем не менее, Церковь облечена в солнце, и пусть она никогда не забывает этого. Она есть светильник для мира, а светильник не должен гореть под спудом. Она призвана просвещать весь мир и приводить к Истине всех, кто есть от Истины. Такова, до времени, единственная задача ее относительно мира".

В другом месте того же исследования читаем: "зная даже, что врата адовы не одолеют Церкви, она не должна опочивать в безопасности. Между семенем жены и змием Сам Бог положил вражду, которая должна продолжаться до конца. И не преследования только, но и все другие способы вражески употребит теперь сатана. Стало быть, в особенности теперь нужно Церкви облечься "во вся оружия Божия" (Ефес. 6, 11), быть в состоянии носить их и с решимостью употреблять. Кровью Агнца верующие победили (Апок. 12, 11), но на завоеванном этой победой поле нужно им одержи-

* Автор писал свое исследование в начале XIX века.

вать новые победы. Торжеством своего Вождя мы обязываемся к постоянным новым торжествам, точно так же, как умерши раз во Христе, должны "постоянно умерщвлять уды, яже на земли" (Кол. 3, 5; Рим. 6, 2—14)...

В настоящее время Церковь больше всего должна стараться не сообразоваться веку сему. Как опасно для нее, когда благоденствие и комфорт лишают ее воинственного огня, и она перестает быть странницею на земле! Насилия и угрозы ничего не могли сделать с нею, но враг попытается употребить хитрость и обольщающее коварство — и Церковь падет!.. Апокалипсис (и не один Апокалипсис) предвещает глубокое падение Церкви, предвещает унижение ее даже в уровень с миром"*.

Итак, и голос науки, не отрехшейся от Единого Источника Истины — Христа, и, что несравненно важнее, голос самой Церкви Христовой, идущий из богослужебных недр ее (см. в середине письма стиху из "Канона всем святым"), согласно утверждают, как следствие гонений, и самоумерщвление (Кол. 3, 5), как добровольный подвиг; — суть два неизменных с существом пути Христова, неразрывно связанных образа жития христианского. Может не быть в известную эпоху первого образа жития, но тогда необходим второй (не исключаемый, впрочем, и первым) — для сохранения истинного русла Церкви, для соблюдения чистой веры, непостыжающей

* Меня очень соблазняет желание продолжить выписки из писаний серьезного ученого, вдумчивого мыслителя и религиозного исследователя Слова Божия, но я боюсь расширить этим письмо до неподобающих размеров, а потому побеждаю соблазн, утешая себя мыслью посвятить одно из будущих писем всецело автору вышеприведенных цитат.

надежды и нелицемерной любви. Когда же отсутствуют в церковном обществе или слишком бледнеют тот и другой образы жития, то это печальный признак духовного омертвления общества и его богооставленности.

И я думаю, что пред разразившейся над нашими головами катастрофой, начавшейся с 1914 года и постепенно углубляющейся, наша Церковь* находится именно в этом состоянии быстро растущего падения, растления, омертвления. К ней применимо слово Господне, обращенное к ангелу Сардийской церкви: "Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв" (Апок. 3, 1).

И если вы, мои дорогие, не поленитесь хорошенько припомнить то время и попристальнее всмотреться в тогдашнюю жизнь "святой Руси" сверху донизу (в этом отчасти помогут вам мои предыдущие письма), то едва ли вы, положа руку на сердце, по христианской совести, пожалеете, что "светильник" нашей церкви был "сдвинут" (Апок. 2, 5) со своего места благодетельною рукою Промысла и отдан (и доселе отдается) на поправление врагам. Нагар на этом светильнике был так велик, копоть поэтому от него была так сильна, что потребовалось Правосудием и милостью Божиею бросить его "в великое точило гнева Божия" (Апок. 14, 19; 19, 15), чтобы "истоптанный в этом точиле отстал нагар, очистился светильник и засветил чистым Светом Христовым".

Истинно так, друзья мои: Жалеть "церкви прошлого" нечего, — это сожаление свидетельствовало

* Всяду здесь речь идет о церкви-организации, а не о Церкви-организме, Теле Христовом.

бы только о том, что мы живем "плотским мудрованием", стелемся помыслами по земле, едим пищу "змия" и забываем Христа, "Божью Премудрость и силу", забываем, что "наше житие на небесах есть" (Фил. 3, 19) (не будет, а есть, должно быть теперь), что мы должны питаться хлебом небесным.

Печальные события церковной жизни последних лет, всем вам хорошо известные, суть прямо непосредственный результат прежнего, давнишнего недуга Церкви, результат и обнаружение его. В происходящей разрухе церковной нечего винить "внешних": виноваты неверные чада Церкви, давно гнездившиеся, однако, внутри церковной ограды. Благодетельной десницей Промысла (а не сатанинской злобой гонителей, произведен разрез злокачественного нарыва, давно созревшего на церковном теле: удивительно ли, что мы видим и обоняем зловонный гной, заливающий "Святую Русь"? За разрезом последовал процесс выдавливания гноя, который продолжается и доселе. Этот мучительный процесс необходим для очищения и оздоровления тела. Неизбежна боль в месте надавливания, но этой болью покупается здоровье всего организма, предохраняемого ею от заражения.

Оставляя в стороне метафору, скажу прямо. При отвержении церковным обществом второго образа христианского жития (см. выше о нем), необходимо, для спасения верующих, появление первого. Вспомните слова еп. Игнатия Брянчанинова в предыдущем моем письме к вам: "подвигов нет, духовных руководителей нет, — скорби заменяют все". И скорби, выпавшие на нашу долю, на долю современных чад Церкви, имеют особенно глубокое и спасительное значение: они углубляют

ров между верой и неверием; переводят колеблющихся в своем религиозном сознании и жизни между Христом и миром на ту или другую сторону, разрешая богопротивную "теплохладность" или в горячность веры, или в холод неверия; выделяют, выявляют и ставят на свое, свойственное их действительному духовному нутру, место незаконно укrywшихся под кровом православия; они всех заставляют отдать себе отчет в подлинном их уповании (1 Петра 3, 15), размежевывают области Христа и антихриста, приготавливают настоящих слуг Тому и другому, причем, говоря словами одной церковной молитвы, способствуют "благим во благодати пребывати, средним лучшим быти, согрешающим в исправление приходити".

"Тайна беззакония" (2 Фес. 2, 7), раскрывающаяся в наши дни с исключительной силой и в своеобразных формах, не должна смущать истинных чад Церкви, верующих в несокрушимость "дома Божия" (1 Тим. 3, 15; Евр. 10, 21; Мф. 16, 18). Как грядущий антихрист, так и его мелкие, но многочисленные предтечи и слуги не страшны чадам Церкви, крепко держащимся за этот "столп и утверждение истины" (1 Тим. 3, 15). Ухищрения и козни слуг миродержца губительны для тех, которые "не приняли любви истины для своего спасения" (2 Фес. 2, 10). За это неприятие пошлет* им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи (2 Фес. 2, 11). "Ходящие же в истине", которых ублажает возлюбленный ученик Господа (2 Иоан. 1, 5; 3 Иоан. 1, 2), застрахованы от этого пути гибели Истиною, живущею в них, ибо по слову

* Уже посылает.

того же ученика Христова, "Тот, Кто в них, больше того, кто в мире" (1 Иоан. 4, 4).

Итак, не кручиньтесь, друзья мои, при виде потрясений, которые переживает наша Церковь: они необходимы для уврачевания церковного тела, изъязвленного язвами многими и застарелыми. Истинно, не кручиньтесь, а лучше подивитесь великой мудрости Божией, претворяющей действие "тайны беззакония" в преуспевание "тайны благочестия", — ибо в то время, как враги Церкви Божией дышат сатанинской ненавистью к ней и употребляют все усилия, чтобы истребить на земле память о Невесте Христовой, последняя, стряхивая с себя многообразную нечистоту, прилипшую к одежде ее, начинает являть все более проясняющийся светлый лик свой. Таинственно руками нечестивых Господь творит святую и благодетельную волю Свою, омывая исповеднической и мученической кровью Свою невесту.

Ну, а что же они, эти нечестивцы, которые, по вашим словам, являются орудием благой воли Божией? Они — попирающие святую Русь, святую Церковь Божию, святых Божиих, — торжеством своего нечестия подвергающие тяжкому испытанию христианские души, искушаемые успехом лжи и неправды? Что скажете вы о них, об их судьбе? — слышится мне вопрос из вашей среды, друзья мои.

Ответствую на него приточно словами "ветхозаветного евангелия" великого пророка Исаии.

Когда избранный народ Божий закоснел во всякой неправде, Господь постановил наказать его нашествием языческого Ассирийского царя, и вот что устами пророка изрекает Господь об этом орудии гнева Своего:

”О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке его — Мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого* и против народа гнева Моего, дам ему повеление — ограбить грабежом и добыть добычу и попить его, как грязь на улицах. Но он не так подумает, и не так помыслит сердце его; у него будет на сердце — разорить и истребить немало народов. Ибо он скажет: ”не все ли цари князья мои? Халне не то же ли, что Кархемис? Емаф не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самариею и идолами ее?” И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: Посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит: ”Силою руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен; и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин; и рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю и никто не пошевелил крылом и не раскрыл рта и не пискнул”. Величается ли секира** пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его! Как будто палка поднимается на того, кто не дерево! За то Господь, Господь Саваоф, пошлет чихлость на туч-

* То есть Израиля, изменившего Господу.

** Говорит Господь о царе Ассирийском, орудии Своем.

ных его, и между знаменитыми его вождет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и Свя-
тый его — пламенем, которое сожжет и пожрет
терны его и волчцы его в один день; и славный лес
его, и сад его, от души до тела, истребит; и он бу-
дет, как чахлый умирающий. И остаток дерев леса
его так будет малочислен, что дитя в состоянии бу-
дет сделать опись” (Исаия 10, 5—19)*.

”Посему так говорит Господь, Господь Саваоф:
народ мой, живущий на Сионе! не бойся Ассур. Он
поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на
тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и
пройдет Мое негодование, и ярость моя обратится
на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич
на него... (Исаия 10, 24—26). И будет в тот день,
снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его — с
шеи твоей, и распадется ярмо от тука” (27).

Это с одной стороны, с другой, — я не хочу за-
таивать от вас, мои дорогие, и некоей иной сокро-
венной думы сердца моего касательно грядущей
судьбы современного Ассур, поскольку он являет-
ся потомком колена Иудова. Уже несколько лет при
мысли о нем, у меня неизменно всплывает из глуби-
ны души пророчесственный глагол великого израиль-
тянина, св. ап. Павла, который в послании к Римля-
нам предугадывает последнюю судьбину своего, и
тогда уже богоборного, народа.

”Не хочу оставить вас, братья, — пишет Апостол,
— в неведении о тайне сей (чтобы вы не мечтали о
себе), что ожесточение произошло в Израиле отчас-

* Некоторым дополнением и частичным комментарием к словам пророка Исаии может служить 36-й псалом царственного пророка Давида. Рекомендую прочесть этот псалом со вниманием.

ти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано: 'приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова' " (Рим. 11, 25–26). В главе 9-й того же послания точнее определяется словами пророка Исаии, кто спасется в Израиле: "Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется" (Рим. 9, 27). К этому остатку и прилагает ап. Павел выражение "весь Израиль".

С большой определенностью касается будущей судьбы избранного народа другой Апостол, возлюбленный ученик Христов, новозаветный тайнохранитель Иоанн Богослов. Он совершенно ясно говорит об обращении богоборного народа к Церкви Христовой, когда она немногочисленная и бессильная внешне, но могучая внутренней силой, верностью своему Господу (Апок. 3, 8) привлечет к себе "остаток" богоборного племени. "Вот Я сделаю, — обращается Господь к Ангелу церкви Филадельфийской, — что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, — вот Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что Я возлюбил тебя" (Апок. 3, 9).

Взирая оком веры на то, что творил Господь перед нашими глазами, прилагая ухо сердца и разума к событиям наших дней, сопоставляя видимое и слышимое с вещаниями Слова Божия, я не могу не чувствовать и не сознавать пододвигающейся к нам великой, чудесной и радостной тайны Божия домостроительства: иудействующие ненавистники и гонители Церкви Божией, стремящиеся к посрамлению и уничтожению ее, по премудрому изволению Промысла, ведут ее к очищению и укреплению,

чтобы "представить ее Христу славною Церковию, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна" (Ефес. 5, 27).

И в свое время, ведомое лишь Единому Владыке времени, это, по строгому выражению сына Громова, "сатанинское общество" склонится пред чистою Невестю Христовою, побеждаемое ее святостью и непорочностью и, может быть, устрашаемое выявившимся образом Антихриста. И если отвержение единоплеменников Апостола Павла было, по его словам, "примирением мира (с Богом), то что будет принятие их, как не жизнь из мертвых?" (Рим. 11, 15).

О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! — хочется воскликнуть вместе с боговдохновенным Апостолом.

Простите, друзья мои, если я дерзко присвоил себе не дарованное и отважился заглянуть в таинственное будущее: опору для этого дерзновения я нахожу в живом и пребывающем во век Слове Божиим (1 Петра 1, 23), я понуждаюсь к этому "заглядыванию" и внешними событиями, и требованиями верующей совести. "Кто уразумел, что внешние злоключения случаются по правде Божией, тот, ища Господа, нашел ведение с правдою, — сказал преп. Марк Подвижник. И он же изрек: "Если будешь разуметь согласно Писанию, что по всей земле судьбы Господни, то всякий случай будет для тебя учителем 'Богопознания'".

Кольми паче, — добавляю я, грешный, — должны быть блестящими учителями для нас скорбные и вместе радостные события наших дней!.. "Воистину,

— писал мне три-четыре года тому назад один из моих данных друзей в ответ на мое письмо к нему, — воистину давно уже небо не склонялось так низко к земле, как теперь, никогда действие в мире сем сил невидимых из мира онго не проявлялось так обязательно, как ныне”.

Если в минуты благоденствия истинно-христианской душе свойственно памятование о Промысле Божиим, то тем более это памятование естественно и необходимо в дни скорбных испытаний, с коими преимущественно связано откровение явно ощутимого Промысла Господня, верить в который — обязанность христианина, опытно удостовериться в котором — великий дар благодати. Недаром величайший христианский философ* и такой же подвижник, преп. Исаак Сирин так часто в своих богомудрых писаниях поучает о Промысле Божиим. ”Часто и не зная сытости, читай в книгах Учителей о Промысле Божиим”, — увещевает великий наставник, потому что они руководствуют ум к усмотрению порядка в тварях и делах Божиих, укрепляют его собою, своею тонкостью приуготовляют его к приобретению светозарных мыслей и делают, что в чистоте идет он к уразумению тварей Божиих. Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию целой вселенной, чтобы приобрести тебе напутие от силы Промысла Его о всяком роде, и чтобы ум твой погрузился в чудеса Божии” (слово 56-е).

Если внимательное и благоговейное чтение о Промысле Божиим просвещает и располагает ум к уразумению действий Промысла, то опытное, осязательное познание Промысла дается на пути

* Выражение И. В. Киреевского.

скорбей. "Умудриться человеку в духовных бра-
нях, — читаем у того же преп. Исаака, — познать
своего Промыслителя, ощутить Бога своего и со-
кровенно утвердиться в вере в Него — невозможно
иначе, как только по силе выдержанного им испы-
тания" (Слово 49-е).

Если многие из нас имели возможность в эти
годы испытаний неоднократно убеждаться в ясно
ощутимых действиях Промысла Божия в их личной
жизни, то эти же испытания призывали и призывают
нас увериться в особом Промышлении Божиим о
святой Божией Церкви. Хотя внимательные к прош-
лым судьбам Церкви Христовой имеют всегда в
этом прошлом достаточно оснований для веры в
неодолимость ее вратами ада, тем не менее и для
них не бесполезно воочию удостовериться в истине
обетования Господня о сей неодолимости. Разумеет-
ся, чтобы зреть свершение этого обетования в наши
тяжкие и лукавые дни, нужно трезвением и молит-
вою изощрять око веры, которое одно способно
созерцать тайны чудного домостроительства Божия.
Этому изощрению ока веры способствует свет
очистительного огня скорбей. Вера, "побеждающая
мир" (1 Иоан. 5, 4), необходима и для созерцания
победы, которая не сразу становится явною для
внешнего ока, ибо действующее в христианстве
таинство креста производит благодать Божиею
то, что видимое чувственным глазом поражение
есть для духовного зрения победа (Иоан. 12, 32—
33). (См. также 2 Кор. 1, 5; Рим. 8, 17; Кол. 1,
24; 2 Тим. 2, 12.) Сию победу веры, дорогие дру-
зья мои, и да поможет нам зреть и этим зрением
укрепляться к новым победам благодать нашего
победоносного вождя Господа Иисуса Христа!

Не будем удивляться всеобщему оскудению веры и любви: "Сын человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?" — вопрошал Господь 2000 лет тому назад, и Он же тогда предсказал, что, "по причине умножения беззаконий, во многих охладает любовь" (Мф. 24, 12).

Не будем удивляться, видя забвение и пренебрежение "образом здравого учения", ибо в первые дни христианства Дух Святой изрек устами великого Апостола языков, что "будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, — и от истины отвратят слух" (2 Тим. 4, 3—4).

Не будем тревожиться тем, что Церковь Христова из "господствующей" стала гонимой: по Апостолу, огнем испытывается золото, огненными искушениями — наследие Христово (1 Петра 1, 6—7); или "Делатель и Зиждитель"... чистительную лопату прием, всемирное гумно всемудре разлучает, неплодие паля, благоплодным вечный живот дарует" (10 января канон на утрене, п. 5, тропарь 2); испытываниями очищается и сохраняется "остаток", предуставленный к вечной жизни (Деян. 13, 48). И потому не будем искать поддержки со стороны мирской власти, ибо не покровительством государства тверда была Церковь: это покровительство часто обессиливало ее, лишало внутренней мощи, в ней живущей, и искажало подлинный лик ее. Не будем падать духом от умаления числа чад Истинной Церкви, ибо не во множестве их, "имевших вид благочестия, силы же его отрекшихся" (2 Тим. 3, 5), обретала Церковь силу свою, — обилие таковых не умножало крепости ее: сила и краса

Невесты Христовой — в возлюбленном Женихе ее и — избранных Им "друзьях Его".

Вложим в сердца наши слова Господа: "Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство" (Лука 12, 32), и другое слово Его, обращенное к Церкви Филадельфийской: "Ты немного имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего... и как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от години искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле" (Апок. 3, 8, 10).

Не будем смущаться и неверностью множества пастырей и архипастырей, как явлением неожиданным: это не новость для Церкви Божией, нравственные потрясения которой, исходившие всегда от иерарха, а не от верующего народа, бывали так часты и сильны, что дали повод к поучительной остроте: "если епископы не одолели Церкви, то врата адовы не одолеют ее".

Не будем недоумевать и пред тем, что часто простецы иноки и рядовые миряне больше архипастырей обнаруживают не только ревности о деле Божием, но и разума духовного: и раньше "уши народа оказывались, — по словам св. Илария Пиктавийского, — святее сердец иерархов". Не одними иерархами утверждалась и утверждается крепость Церкви Божией, не ими и не учеными богословами хранится святое достояние ее — Дух Истины, почивший на славных первенцах ее: перенося из века в век свое небесное сокровище, Церковь Христова блюдет его при посредстве тех, имена коих написаны в книге жизни, а не в ставленнических грамотах и ученых дипломах, ибо подлинное самосознание

церковное движется не по пути иерархичности и учености, а по руслу святости.

Итак, не будем дивиться всему вышесказанному и многому другому, совершающемуся на наших глазах, ибо все сие предуказано, и не раз, Духом Святым; и не будем унывать, взирая на потопляющую будто "Дом Божий" тайну беззакония, ибо "деется" она "пред взорами Бога", пекущегося о Церкви Своей и людях Своих несравненно больше, чем печется мать об единственном чаде своем.

Вот в это попечение, милые друзья мои, мы должны верить всем сердцем и всем разумением нашим. А вера в Промышление Божие о Церкви связана неразрывно с правой верой в самое Церковь, Господом Иисусом Христом возглавляемую и руководимую, Духом Истины исполняемую и животворимую, Богом Отцом очищаемую и возвращаемую и всей Святой Троицей к последней цели бытия направляемую.

Об этой правой вере в Церковь мы побеседуем, если Господь благословит, в следующий раз, а теперь прошу не сетовать на меня за крайнее многословие, обнаруженное в настоящем письме: простите, — короче не сумел сказать.

В молитвах не забываюте любящего вас брата о Господе.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

1 октября 1924 г.

Покров Пресвятыя Богородицы

Прошло уже почти три месяца со времени нашей последней беседы с вами, дорогие друзья мои. И

немощи, и не предвиденные хлопоты, и переезды с одного места на другое, и, наконец, леность — все это соединилось, чтобы отвлечь меня от всегда утешительного для меня общения с вами.

Берясь за письмо в этот раз, я особенно желал бы иметь дар художественного изображения людей и жизни, чтобы живописать перед вами исключительный по духовной красоте образ одного из величайших отцов Церкви, славного исповедника богомудрого защитника ее. Я говорю о преподобном Максиме, жизнь и деяния которого способны умилить и восхитить и каменное сердце. Сколько раз перечитывал я житие этого стойкого страдальца за истинную Христову веру, и каждый раз с неослабным интересом и душевным волнением, доходящим иногда до восторга.

Этот великий муж, требующий, чтобы изобразить его во всем его действительном величии, — пера великого и даже боговдохновенного художника, представляет в своей личности и жизни блестящее подтверждение той истины, уяснению которой посвящены три предыдущие письма мои, а именно, что в недрах Церкви ни количество лиц, ни высота их иерархического положения не имеют значения в деле раскрытия и утверждения религиозных учений. Количеству и высокому внешнему положению людей Дух Святой нередко противопоставляет нравственный авторитет одиноких не сановных личностей, которые и являются верными выразителями и истолкователями Божественных истин в противоположность (как это вы видели в предшествующих письмах) заблуждающимся и упорствующим в заблуждениях многочисленным сановникам, духовным и светским. Ярким приме-

ром такой богоизбранной личности и является св. Максим исповедник.

Будучи не в силах художественно изобразить духовный облик этого поистине удивительного человека, я предложу вам довольно сухую схему его жития, заимствованную мною из изданной в 1916 г. Московской Духовной Академией книги, озаглавленной "Творения святого отца нашего Максима Исповедника", часть первая. Там помещено обширное житие его в греческом подлиннике и русском переводе, а предшествуют этому житию "предварительные краткие сведения" о св. Максиме. Их я и предлагаю вашему вниманию, чтобы те из вас, кто не знаком с жизнью преподобного, получили хотя бы некоторые общие сведения о нем. Но я очень прошу вас познакомиться с личностью и деяниями этого великого человека, если не по упомянутой выше книге (ее теперь найти трудно), то по Четьям Минеям св. Димитрия Ростовского. Вы не пожалее-те, исполнив мою просьбу, так как уверен, получите высокое духовное наслаждение при чтении этого жития, из которого я в настоящем письме буду пользоваться лишь краткими выдержками, идущими непосредственно к основной теме письма.

"Родился св. Максим около 580 г., в знатной Константинопольской семье. Получил широкое образование: его многочисленные сочинения проявляют в нем не только сильный природный ум и незаурядный талант, но и высокоразвитое формально-логическое мышление и обширное знакомство как с церковными — священными и отеческими, так и с языческими, особенно философскими, творениями Платона, Аристотеля и др.

Из мирской жизни св. Максима имеется из-

вестие, что при императоре Ираклии (610—641 гг.) он был "первым секретарем царским". Стало быть, первая молодость, а может быть и половина жизни св. Максима прошла на придворной службе. Из приказа Константина, внука Ираклия, видно, что Максим стоял к Ираклию в очень близких отношениях, быть может даже родственных, — пользовался у него большим почетом.

Но, судя по созерцательно-мистическому характеру творений св. Максима и проявленному в них обширному знакомству с греко-философской и церковной литературой, надо думать, что ему были не по душе постоянные интриги, политиканство с церковью и вообще нравственная муть тогдашнего византийского двора. Желание "по мере силы преуспевать в добродетели и божественной философии, пренебрежение ко всему земному и стремление к высшей жизни духовной, — предпочтение низшего места у Бога (св. Максим не имел иерархической степени) пред первыми должностями у царя земного" побудили византийского царедворца почетную службу при Ираклии переменить на созерцательно-подвижническую скромного монаха в уединенной обители Христополя, на другом берегу Босфора (теперешней Скутари).

Славившаяся подвижничеством и любовью к богословию братия монастыря скоро сделала св. Максима настоятелем или аввою, каковым он оставался всю жизнь.

Но подвижническое уединение св. Максима прервано было монофелитским движением: в постоянной и напряженной борьбе с этой ересью протекла дальнейшая жизнь святого.

Вместе с иерусалимским патриархом Софронием,

учеником своим Анастасием и папою римским Мартином Максим является оплотом православия и главным борцом против монофелитства*. Своими многочисленными писаниями, рассылавшимися по всем странам, а также личным влиянием на Софрония, африканских епископов и особенно на Мартина, св. Максим мужественно отстоял православно-церковное учение о лице Спасителя. В этом главное значение св. Максима в церковной истории. Его заслуга увеличивается тем, что сторону монофелитов держал византийский двор, в лице императоров Ираклия и Константина, константинопольский патриарх, в лице Сергия, Пирра и Петра, и александрийский в лице Кира.

В июле 654 года мы находим св. Максима в проконсульской (северной) Африке, где он, вероятно, в Карфагене, в присутствии наместника Григория (или Георгия) ведет победоносный спор с константинопольским экс-патриархом Пирром, письменно, но, как оказалось потом, притворно, отказавшимся от монофелитства. По непосредственному влиянию св. Максима, африканские епископы составляют потом соборное осуждение ереси.

В 649 году св. Максим принимает деятельное, хотя и не официальное (как простой монах) участие в Латеранском соборе в Риме: по его внушению папа Мартин собрал этот собор в Риме и анафемст-

* Ересь монофелитская возникла в начале VII в. и была продолжением монофизитской ереси. Монофелиты признавали во Христе одну волю и одно действие Божеское, и, таким образом, искажали догмат вочеловечения Бога Слова. По учению же православному, воля есть принадлежность естества, а не лица, а потому и Господь Иисус Христос, как естеством Бог и естеством человек, имел и Божескую и человеческую волю. Без этой последней Он не был бы со-

вовал на нем как императорские эдикты — эксесис Ираклия (638) и типос Константа (645), изданные с целью ввести монофелитское лжеучение, так и вообще все монофелитство и его приверженцев.

Арестованный в Риме вместе с двумя своими учениками Анастасием монахом и Анастасием пресвитером и апокрисиарием, св. Максим и его ученики подверглись в Константинополе продолжительному суду, кончившемуся (19 мая 655 г.) ссылкой старца (Максиму тогда было 75 лет) в Бизию, крепость во Фракии (?), а его ученика Анастасия в Перберис, отдаленнейшую местность империи (св. Мартин был сослан ранее, в 654 г., в Херсон).

24 августа 656 г. к св. Максиму являлось, не имевшее успеха, посольство от императора и патриарха с целью склонить его к монофелитству. Вскоре потом, по приказу императора Максим был переведен в монастырь св. Феодора, близ Региума. Вторичное посольство сюда от императора и патриарха также не повлияло на непреклонного старца, и 14 сентября 656 г. его осуждают на ссылку в Перберис, где находился его ученик Анастасий.

Но влияние св. Максима было так велико, и православие в народе так сильно, что по прошествии некоторого времени (около 662 г.?) учитель и ученик опять вызываются в Константинополь на новые

вершенным по естеству человеком. Защитниками и распространителями ереси монофелитов были вначале: Кир — патский (610—638) и даже сам Ираклий, увлеченный ими в эту ересь. Созвав поместные соборы, Кир — в Александрии, а Сергей в Константинополе, они утвердили эту ересь, повсюду разослали свое постановление и совратили весь Восток. Один только св. Софроний, патриарх иерусалимский, противился ереси, не принимал лжеучения.

увещания и на последний суд. Кончилось тем, что Максиму и Анастасию, после бичевания, отрезали языки и правые руки. В таком искалеченном виде их проводят по всему Константинополю и отправляют на пожизненную ссылку в Лазик, на восточном берегу Черного моря. Здесь осужденных разделили: Анастасий был сослан в страну авасгов, а Максим в Схимарис, отдаленную крепость Алапии.

Пред смертью св. Максиму было откровение о дне ее: она последовала 13 августа 662 или 663 г. на 82 году жизни. Один из учеников — Анастасий монах умер в том же году несколько ранее, 24 июня, на дороге в ссылку, а другой Анастасий апокрисарий — позднее, 11 октября 666 г. Над могилой св. Максима в монастыре св. Арсения, ночью являлись три чудесные светильника и были многочисленные чудеса исцелений.

Гонитель св. Максима император Константин, преследуемый народной ненавистью за монофелитство и за св. Максима, погиб вдали от Константинополя насильственной смертью. А его сын Константин, боясь участи отца, не пошел его дорогой. Напротив, он был предан православию и в 680 г. созвал шестой вселенский собор, осудивший монофелитство и окончательно утвердивший двуволие и двуприродность во Христе.

Несмотря на то, что жизнь св. Максима мало благоприятствовала литературной деятельности, ему принадлежат многочисленные и разнообразные сочинения: догматико-полемические, богословско-экзегетические, нравственно-аскетические, мистико-литургические, частные письма и гимны...

Воззрения св. Максима представляют своеобраз-

ное соединение философии, богословия и мистики. Широта философского синтеза, высота богословского созерцания, глубина мистических переживаний и тонкость диалектики открывали св. Максиму возможность стремиться к объединению греческой философии (Платона и Аристотеля) с христианским богословием прежних великих отцов (Афанасия, Григория Богослова и Григория Нисского) и мистиков Дионисия Ареопагита и египетских аскетов”.

Таково, в схематическом виде, житие преп. Максима. Наполнить эту схему полнократным содержанием поможет вам святитель Димитрий Ростовский, к январской книге Минеи которого я вас и отсылаю. Нечто из этой книги я возьму и для настоящего письма, а пока остановлю ваше внимание на некоторых пунктах вышеприведенной житийной схемы, которые имеют отношение к главной теме письма.

Прежде всего обратите внимание на то, что ”св. Максим не имел иерархической степени”, — значит, был простым монахом. Несмотря на это, он ”своими многочисленными писаниями, рассылавшимися по всем странам, а также *личным влиянием на Софрония**, африканских епископов и особенно на Мартина** — мужественно отстаивал православно-церковное учение о лице Спасителя”. ”*По непосредственному влиянию св. Максима африканские епископы составляют соборные осуждения ереси*”. ”По его внушению папа Мартин собрал (Латеранский) собор (в Риме) и анафемствовал на нем как импе-

* Патриарх Иерусалимский.

** Папа Римский.

раторские эдикты... изданные с целью ввести монофелитское лжеучение, так и вообще все монофелитство и его приверженцев”.

И этих немногих цитат было бы, пожалуй, достаточно, чтобы преп. Максим занял видное место наряду с теми свидетелями истины, о которых шла речь в предыдущих письмах, и которые своей жизнью и деятельностью утверждали господственное значение нравственного авторитета в Церкви. В самом деле, простой монах является центром напряженнейшей борьбы православия с монофелитской ересью. Не имея иерархического сана, он укрепляет на эту борьбу: на востоке — иерусалимского патриарха Софрония, на западе — папу Мартина, на юге, между восточными и западными патриархатами, африканских епископов.

Но мне хочется более яркими чертами обрисовать то положение, которое занимал в эту страдную эпоху жизни Церкви св. Максим, и ту полную потрясающего драматизма роль, которая выпала на его долю по воле руководившего им Провидения. Настаивая на том, чтобы вы, мои дорогие, с благоговейным вниманием прочитали у св. Димитрия Ростовского подробное повествование о преподобном Максиме (января 21), я приведу сейчас ряд фактов из минейного жития его, относящихся к последним годам жизни преподобного, когда он был многократно вызываем на суд высокопоставленных особ, духовных и светских, и подвергался настойчивым допросам.

К преп. Максиму, посаженному в темницу, пришли некоторые люди, заявившие, что они посланы патриархом, и стали спрашивать его:

— Какой ты церкви — Византийской или Рим-

ской, Антиохийской, Александрийской или Иерусалимской. Ибо все эти церкви с подчиненными им областями находятся в единении. Посему, если и ты принадлежишь к католической церкви, то немедленно вступи в общение с нами, — если только не желаешь подвергнуться тяжкому изгнанию и испытать то, чего не ожидаешь.

На это праведный муж ответил им:

— Христос Господь назвал католической Церковью ту, которая содержит истинное и спасительное исповедание веры. За это исповедание Он и Петра назвал блаженным и на нем обещал основать вселенскую церковь (Мф. 16, 17—18). Однако я хочу узнать содержание вашего исповедания, на основании которого все церкви, как вы говорите, вступили в общение. Если оно не противно истине, то и я не отступлю от него.

Услышав неправое их учение о волях в Господе Иисусе Христе, он указал на их заблуждение и заключил свой ответ словами:

— Этого я признавать не могу, и не научился от святых отцов так веровать. Вы же, как имеющие власть, делайте со мною, что вам угодно.

В другой раз допрашивающий св. Максима епископ Феодосий сказал:

— Император и патриарх прежде всего желают узнать от тебя: почему ты удаляешься от общения с Константинопольским престолом?

Святой Максим ответил:

— Вы знаете нововведения, принятые шестого индикта*истекшего круга (9 лет назад, т. е. в 648 г.).

* Индикт — по римскому календарю означает промежуток или круг времени в 15 лет. Первый год в этом круге — "первый индикт".

Они начались в Александрии чрез обнаружение Ки-ром, бывшим там патриархом, девяти глав, одобренных и утвержденных Константинопольским престолом. Были и иные изменения и дополнения (ксасис и типос), искажающие соборные определения. Эти нововведения были сделаны первыми представителями византийской церкви — Сергием, Пирром и Павлом и известны всем церквам. Вот причина, по которой я, раб ваш, не вступаю в общение с Константинопольскою церковью. Пусть будут уничтожены в Церкви эти соблазны, введенные упомянутыми выше мужами, пусть будут устранены введшие их, и очистится путь спасения от преград, и вы пойдете гладким путем Евангелия, очищенным от всякой ереси. Когда же я увижу Константинопольскую Церковь такую, какою она была прежде, тогда и я обращусь к ней, как был и раньше ее сыном, и ветушлю в общение с нею без всякого увещания человеческого. *Пока же в ней будут еретические соблазны и еретики архиереи, никакое слово или дело не убедит меня, чтобы я когда-либо вступил в общение с ними.*

Когда в той же беседе вспомнили о поместном соборе, который, по инициативе преп. Максима, созван был в Риме блаж. папою Мартином для осуждения монофелитов, епископ Феодосий сказал:

— Не имеет значения этот собор, потому что он был созван не по царскому повелению.

Преподобный ответил:

— *Если утверждаются только постановления соборов, созываемых по царскому повелению, то не может быть православной веры. Вспомните о соборах, созываемых по царскому повелению против единосущия, на которых установлено бого-*

хульное учение, что Сын Божий не единосущен Богу Отцу. Таковы соборы: первый в Тире, второй в Антиохии, третий — в Селевский, четвертый в Константинополе при Евдоксии арианине, пятый в Никее, шестой в Сирии, а спустя много времени — седьмой в Ефесе под председательством Диоскора. *Все эти соборы созывались по царским повелениям, однако, все они отвергнуты и преданы анафеме, так как на них были составлены вероопределения безбожные и богопротивные.* Притом, почему вы не отвергаете того собора, который осудил Павла Самосатского и предал его анафеме? Ведь во главе этого собора стояли: Дионисий, папа римский, Дионисий Александрийский и Григорий Чудотворец, который и председательствовал на этом соборе? Этот собор происходил без царского повеления, однако он тверд и неопровержим.

Православная церковь признает истинными святыми только те соборы, на которых установлены истинные и непреложные догматы. И подлинно, как знает это твоя святость, и других поучает тому же, каноны повелевают в каждой христианской стране созывать поместные соборы дважды в год, как для защищения спасительной веры нашей, так и для исправления того, что требует исправления; однако, *церковные правила не говорят о царских повелениях.*

Когда от преп. Максима требовали однажды именем царя, чтобы он заранее обещал исполнить волю государя, которую имели ему объявить, он сказал:

— Так как вы не хотите сказать мне, рабу вашему, что угодно господину нашему царю, то объявляю вам пред лицом Самого Бога и Его святых ангелов следующее: *если царь повелит мне что-либо такое, что имеет временное и преходящее значение,*

притом не противное Богу и безвредное для вечно-го спасения души, то я охотно исполню.

Воля государя была объявлена преп. Максиму патрицием Епифанием в следующем виде:

— Вот что царь приказывает объявить тебе: так как весь Восток и те на Западе, которые увлечены в соблазн, *взирая на тебя*, производят смуты и волнения, являясь отступниками от веры и строя козни, причем не хотят в деле веры иметь с нами общение, то да смягчит Господь кротостью твое сердце, чтобы ты вступил в общение с нами, приняв изданный нами типос. Мы же, приняв тебя с любовью, с великой честью и славою, введем тебя в церковь и поставим рядом с нами, где обычно стоят цари, и приобщившимися вместе с тобою Пречистых и Животворящих Таин Тела и Крови Христовых, потом провозгласим тебя нашим отцом, и будет радость не только во всем христианском граде нашем, но и во всем христианском мире. Ибо мы твердо уверены, что когда ты вступишь в общение со святою Константинопольскою церковью, то присоединятся к нам и все, которые ради тебя и под твоим руководством отпали от общения с нами.

Святой авва Максим, обратившись к епископу Феодосию, со слезами сказал:

— Все мы, владыко, ожидаем великого дня судного. Ты помнишь, что было недавно говорено и обещано* пред святым Евангелием, животворящим Крестом и святыми иконами Спасителя нашего Иисуса Христа и Пренепорочной Его Матери, Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии.

* В прежде бывшее свидание еп. Феодосия с преп. Максимом.

Епископ, с опущенным вниз взором, кротко сказал:

— Что же я могу сделать, когда благочестивый царь хочет иного?

Авва Максим отвечал ему:

— Зачем же ты и бывшие с тобою касались святого Евангелия, когда у вас не было твердого намерения исполнить обещанное? Поистине, *все силы небесные не убедят меня сделать то, что вы предлагаете*. Ибо какой ответ дам я, не говорю Богу, по моей совести, если из-за пустой славы и мнения людского, ничего не стоящего, отвергну *правую руку, которая спасает любящих ее?*

Когда Елифаный во время этой беседы заметил, что "типос написан ради улажения не совсем понятных истин, чтобы не впал в заблуждение народ вследствие особенной тонкости их выражения", авва Максим сказал:

— Это противно вере, а между тем *всякий человек освящается правильным исповеданием веры*.

Тогда Патриций Троил возразил:

— Типос не отрицает двух волей во Христе, а только заставляет молчать о них ради мира Церкви.

Авва Максим сказал на это:

— *Замалчивать слово, значит отрицать его*, как об этом говорит Дух Святый чрез пророка: "не суть речи, ниже словеса, их же не слышатся гласи их" (Пс. 18, 4). Поэтому если какое-либо слово не высказывается, то это не есть слово.

Тогда Троил сказал:

— Имей в сердце своем какую угодно веру: никто тебе не запрещает.

Святой Максим возразил:

— Но полное спасение зависит не от одной сердечной веры, а *от исповедания ее*, ибо Господь говорит: "иже отвержется Мене пред человеками, отвергуся его и Аз пред Отцем Моим, иже на небесах" (Матф. 10, 33). Равно и Божественный апостол учит: "сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение" (Рим. 10, 10).

Если же Бог и божественные пророки и апостолы повелевают исповедывать словом и языком таинство веры, которое приносит всему миру спасение, то нельзя принуждать к молчанию относительно исповедания, чтобы не умалилось спасение людей.

В другой раз царский казнохранитель, с раздражением в голосе, обратился к преп. Максиму:

— Христианин ли ты?

Старец отвечал:

— По благодати Христа, Бога всяческих, — христианин.

Казнохранитель исполнился гнева и сказал:

— Ты говоришь неправду.

Святой отвечал:

— Ты говоришь, что я не христианин, а Бог говорит, что я неизменно пребываю христианином.

На другой день преподобному был предложен вопрос:

— Скажи нам, авва, какую беседу вел ты в Африке и в Риме с Пирром и какими доводами убедил ты его отказаться от его собственного догмата и принять твой догмат?

Ответив на него, преп. Максим в заключение прибавил:

— Я никакого собственного догмата не имею, а только *общий всей католической Церкви*; я не внес

в свое исповедание ни одного нового слова, по которому оно могло бы называться моим собственным.

Затем посланные спросили его:

— Что же, ты не вступишь в общение с константинопольским престолом?

— Нет, — ответил святой.

— Почему же? — спросили его.

— Потому, — ответил святой, что предстоятели сей церкви отвергли постановление четырех святых соборов, приняв за правило "девять глав", изданных в Александрии, а затем приняли эксесис, составленный Сергием, константинопольским патриархом и, наконец, типос, в недавнее время обнародованный. С другой стороны, все утвержденное в эксесисе, они отвергли в типосе и *много раз сами себя отлучили от Церкви* и изобличили в неправославии. Мало того, сами себя отлучив от Церкви, они *нижложены* и лишены священства на поместном соборе, бывшем недавно в Риме. *Какое же тайнодействие они могут совершать?* Или какой Дух снизойдет на тех, которые ими руководствуются?

— Значит, ты один спасешься, — возразили ему, — а все прочие погибнут?

Святой ответил на это:

— Когда все люди поклонились в Вавилоне золотому истукану, три святые отрока никого не осуждали на гибель. Они не о том заботились, что делали другие, а только о самих себе, чтобы не отпасть от истинного благочестия (Дан. гл. 3.). Точно также и Даниил, брошенный в ров, не осуждал никого из тех, которые, исполняя закон Дария, не хотели молиться Богу, а имел в виду свой долг и желал лучше умереть, чем согрешить и казниться пред своею совестью за преступление закона Божия

(Дан. 14, 3 и след.). И мне не дай Бог осуждать кого-либо или говорить, что я один спасусь. Однако же, *я соглашусь скорее умереть, чем отступить в чем-либо от правой веры.*

— Но что ты будешь делать, — сказали ему посланные, — когда римляне соединятся с византийцами? Вчера ведь пришли из Рима два апокрисиария, и завтра, в день воскресный, будут причащаться с патриархом Пречистых Таин.

Преподобный ответил:

— Если и вся вселенная начнет причащаться с патриархом, я не причащусь с ним. Ибо я знаю из писания св. Апостола Павла, что Дух Святой предаст анафеме даже ангелов, если бы они стали благовествовать иначе, внося что-либо новое (Гал. 1, 8).

Тогда посланные спросили:

— Неужели совершенно необходимо исповедывать во Христе две воли и двоякого рода деятельность?

— Совершенно необходимо, — отвечал святой, — если вы хотите благочестно мыслить, ибо никакое существо не лишено природной деятельности. Святые отцы ясно говорят, что ни одно существо не может ни существовать, ни быть познаваемым без сродного ему действия. Если этого нет и если естество не обнаруживается в действовании, то каким образом можно признавать Христа истинным Богом по естеству и истинным человеком?

На это ему сказали:

— Мы видим, что это истинная правда, однако, не огорчай царя, который ради мира Церкви составил типос не для того, чтобы отрицать что-либо из признаваемых во Христе свойств, но ради спокойст-

вия Церкви, повелевая молчать о тех вещах, которые порождают разногласие.

Тогда человек Божий, простершись на землю, отвечал со слезами:

— Не следовало бы огорчаться доброму и боголюбивому царю по поводу моего недостойнства, ибо я не хочу прогневать Бога, умалчивая о том, что Он повелел признавать и исповедывать. Ибо, если по слову Божественного апостола, Сам Он положил в Церкви первое апостолов, второе пророков, третье учителей, то ясно, что Сам Он и говорил через них. Из всего же Священного Писания, из творений святых учителей и их постановлений соборных мы научаемся, что воплотившийся Иисус Христос, Господь и Бог наш, имеет силу хотеть и действовать по Божеству и по человечеству. Ибо у него вовсе нет недостатка в тех свойствах, по которым Он познается, как Бог или как человек, кроме греха. Если же Он совершен по обоим естествам и не лишен ничего, свойственного им, то поистине, тот совершенно извращает тайну Его воочеловечения, кто не признает в Нем самого существа обоих естеств с соответствующими им свойствами, — естеств, через которые и в которых Он пребывает.

Когда святой изложил это и многое другое, пришедшие похвалили его мудрость и не нашли, что возразить ему.

Сергий, начальник царской трапезы, сказал:

— Один ты огорчаешь всех, — именно тем, что из-за тебя многие не хотят иметь общения с здешнею Церковью.

Преподобный Максим возразил:

— Но кто может утверждать, что я кому-нибудь

повелевал не иметь общения с византийскою церковью?

На это Сергей отвечал:

— То самое, что ты не сообщаешься с этой церковью, сильнее всего отвращает многих от общения с нею.

Человек Божий сказал на это:

— Нет ничего тягостнее и печальнее того состояния, когда совесть в чем-либо обличает нас, и нет ничего дороже спокойствия и одобрения совести.

Чрез неделю патриций Троил спрашивает преподобного:

— Но разве ты не анафемствовал типоса?

Старец отвечал:

— Несколько раз уже я говорил, что анафемствовал.

— Но если ты, — сказал Троил, — анафемствовал типос, то, следовательно, и царя?

— Царя я не анафемствовал, — ответил преподобный, — а только хартию, ниспровергающую православную и церковную веру.

— Где же ты анафемствовал? — спросил Троил.

— На поместном соборе в Риме, — отвечал св. Максим, — в церкви Спасителя и Пресвятой Богородицы.

Тогда обратился к нему председатель:

— Вступишь ли ты в общение с нашею церковью или нет?

— Нет, не вступлю, — отвечал святой.

Этими немногими выдержками из жития преп. Максима я и ограничусь. Предоставляя вам самим, мои дорогие, продумать все мысли св. Максима,

высказанные им в вышеприведенных диалогах его с судьями и гонителями, я отмечу лишь некоторые из этих мыслей, существенно связанные с основной задачей, моих последних (начиная с 11-го) писем.

Прежде всего вы видите, что преп. Максим, будучи простым монахом, совершенно не считается в религиозных спорах с авторитетом иерархии, как таковой, равно и с авторитетом государственной власти, власти христианского царя. Из жития видно, что римский папа Мартин не являлся в его глазах решающим делом авторитетом. Напротив, папа как бы опирался на св. Максима, побудившего его созвать собор и анафемствовать ересь.

И это положение, занятое в Церкви св. исповедником, было отнюдь не плодом самочиния, "восхищением не дарованного", а лишь выявлением его подлинно свыше данной нравственной силы, возвышавшей его над всем тогдашним церковным миром.

Помимо своей воли, св. Максим становится центром, вокруг которого разгорается ожесточенная борьба ереси с православием. Он является как бы фокусом этой борьбы. Ни еретичествующие патриархи и епископы, ни византийский двор с императором во главе, поддерживавший ересь, не считаются ни с иерусалимским патриархом Софронием, ни даже с римским папой Мартином*, которого они, ничтоже сумняся, отправляют в ссылку, нимало не тревожась его несогласием с ними.

Один инок Максим сосредоточивает на себе их внимание и ненависть. Они не только про себя знают, но и во всеуслышание исповедуют (см. вышеприведенные мною их признания), что все

* Оба они признаны Церковью святыми.

дело за ним, Максимом: воссоединись он с ними, и дело будет сделано: умирится "вся вселенная". Ибо она пристально, напряженно следит по какому пути идет угодник Божий Максим: ему она верит, в нем видит неподкупного служителя Божия и верного носителя и исповедника истины.

И, действительно, св. Максим не поддался ни увещаниям, ни соблазнам, ни угрозам. Почти 80-летний старец, мученный допросами, побоями, ссылками, он не обнаруживает ни малейшего колебания в борьбе с многочисленными, жестокими и сильными мирскою силою врагами. Мутные волны богоборной ереси вдребезги разбиваются о несокрушимую твердыню духа богоносного старца, с величайшим дерзновением и с таковым же смирением (заметьте это чудное соединение) отметающего всякие компромиссы, могущие замутить чистоту Христовой веры. Какая несокрушимая уверенность в правоте своего дела, какая изумительная твердость, какая вера в собственную причастность Телу Христову, какое ясное ведение истины среди окружающего мрака заблуждений сказались в потрясающих душу словах св. исповедника, которыми он ответил на коварно-ложивое сообщение об осуждении Рима с еретической Византией:

"Если и вся вселенная начнет причащаться с патриархом, я не причащусь с ним. Ибо я знаю из писаний св. апостола Павла, что Дух Святой предаст анафеме даже ангелов, если бы они стали благовествовать иначе, внося что-либо новое" (Гал. 1, 8).

Этим приводящим душу в священный трепет ответом я и закончу свое письмо, хотя желал и предполагал сказать гораздо больше в объяснение слов и деяний блаженного Максима. Но, с другой сторо-

ны, я надеюсь, что вы сами задумаетесь над ними и сделаете нужные из них выводы (в частности, для настоящего времени), с другой — я предполагаю вернуться к ним в следующем письме.

Молитесь обо мне. Мир вам.

Любящий вас ваш брат о Господе.

Р. С. Пришло мне на память одно сказание из "Древнего патерика", которое привести здесь не будет неуместным, так как, несмотря на свою краткость, оно проливает довольно яркий свет на значение иерархического и нравственного авторитетов в Церкви. Причем оба эти авторитета выявляются в этом сказании по отношению к вопросу не столько догматического, сколько морального характера. Вот это сказание:

Некие два мирянина были благочестивы и, согласившись между собой, вышли и сделались монахами. Возбуждаемые ревностью по Евангельскому слову, не зная же*, оскотили самих себя, т. е. ради Царствия Небесного (Мф. 19, 12). Архиепископ**, услышав об этом, отлучил их. Они же, думая, что хорошо сделали, вознегодовали на него, говоря: мы сделались скопцами ради Царствия Небесного, а он отлучает нас. Пойдем и принесем на него жалобу архиепископу Иерусалимскому. И, пошедши, рассказали ему обо всем. Архиепископ говорит им: и я отлучаю вас. Затем, снова опечаленные, пошли к епископу в Антиохию и рассказали ему все о самих себе. Этот также отлучил их.

* его настоящего смысла.

** Из последующего видно, что речь идет об архиепископе Александрийском.

И они говорят между собою: пойдём в Рим к патриарху: он защитит нас от всех их. Пришедши к великому архиепископу Римскому, рассказали ему, что сделали с ними архиепископы. Мы, — говорят, — пришли к тебе, потому что ты глава* всех. И этот сказал им: и я отлучаю вас, и вы находитесь в отлучении.

После этого, недоумевая, сказал один другому: они угождают один другому, потому что сходятся вместе на соборах; пойдём к святому Божию Епифанию, епископу Кипрскому, ибо он — пророк, и не зрит на лицо человека. Когда же они приблизились ко граду его, то ему было открыто о них. И он, пославши навстречу им, сказал: не входите в град сей.

Тогда они, пришедши в самих себя, сказали: поистине мы согрешили. Итак, зачем же мы оправдываем самих себя, будто они несправедливо отлучили нас, когда отлучает также и сей пророк? Ибо Бог открыл ему о нас. И много обвиняли себя за дело, которое сделали.

Тогда сердцеведец Бог, зная, что они поистине обвинили себя, открыл об этом авве Епифанию. Пославши за ними, привел их к себе и, утешивши, принял в общение (церковное) и написал архиепископу Александрийскому так: 'приими чад твоих, ибо они искренно раскаялись' ” (“Древний патерик”, изд. 3-е, Москва, 1900, сс. 300—301).

* Глава, конечно, не в том смысле, какой придают этому слову современные католики: это явствует как из действий иноков, обратившихся после сношения с римским папой к епископу Кипрскому Епифанию, так и из деяний самого “пророка Божия” Епифания.

Сколько поучительного для нас содержит в себе это бесхитрое повествование христианской древности. Им подтверждается великая и для нашего времени, может быть, особенно важная истина, — как опасно самочинное, отрешенное от святоотеческого (иначе — церковного) разума толкование Св. Писания. Оно знакомит нас с трогательной простотой отношений между рядовыми христианами и высшими представителями иерархии того времени. Оно показывает нам живую связь, которая существовала тогда между различными православными церквами. В нем же мы находим простодушное свидетельство иноков о первенствующем положении среди тогдашних предстоятелей церкви — римского епископа, что, конечно, нимало не говорит как о его господстве над ними, так, тем более, о его непогрешимости.

Но для нашей теперешней беседы особенно ценно в этом рассказе выявление, как я сказал раньше, двойного рода авторитетов, нравственного и иерархического, причем оба эти авторитета оказались здесь, в противоположность церковно-историческим примерам, не в оппозиции один другому, а в единомыслии друг с другом. Они не сталкиваются ко взаимной борьбе, а согласно разрешают жизненную задачу. Однако, и тут явно превосходство и господствующее значение нравственной силы.

В самом деле: два инока, ложно поняв одно место Св. Писания и практически применив к себе это ложное понимание, совершают недобрый поступок. Предстоятель Александрийской Церкви, к которой принадлежали иноки, лишает их церковного общения. Огорченные этим, но не вразумленные, они приносят жалобу на своего архипастыря пред-

стоятелю Церкви Иерусалимской. Тот подтверждает решение архиепископа Александрийского. То же повторяется при попытках обращения иноков к предстоятелям церквей Антиохийской и Римской. И эти согласно подтверждают решения своих предшественников по этому делу, но не убеждают в истинности своих приговоров виновных иноков.

Итак, дело прошло по всем инстанциям, восходило к первоепископу римскому, и одно и то же решение изошло из уст всех иерархов. По-видимому, виновным некуда было податься, и оставалось только подчиниться согласному приговору высших епископов и вместе с тем носить неисцельную рану в своей совести, которая не могла примириться с этими приговорами, не соответствовавшими, как казалось инокам, искренности их убеждения, приведшего их к осуждаемому и караемому иерархами поступку.

Но милость Божия не оставила их в этом тяжком и, казалось, безвыходном положении: их посетила благодатная мысль обратиться к "святому Божию", к "пророку" Елифанию, епископу Кипрскому. Осужденные иерархами, предстоятелями великих церквей, но не примирившиеся внутренне с их приговорами, иноки простирают руки к явному носителю духовно-нравственного начала, к живому сосуду благодати Божией.

Но увы, и здесь они встречают решительное осуждение своему поступку. Однако, это осуждение, произнесенное явно по *откровению свыше*, убеждает страдальцев-иноков в их неправде, приводит к раскаянию и душевному исцелению. Носитель высшего, духовно-нравственного авторитета, исцелив души преступников закона, властно приемлет их

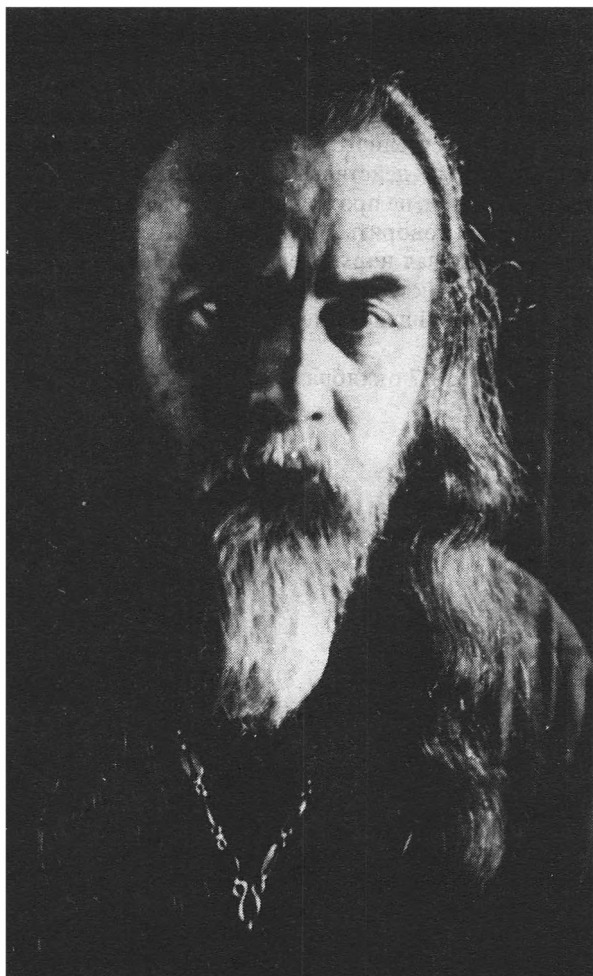
в церковное общение с собой и предлагает сделать то же первому судье, инициатору отлучения архиепископу Александрийскому.

Здесь мы еще раз наблюдаем верховное значение духовно-нравственного начала в Церкви, которое в данном случае действовало в согласии с началом иерархическим, не противореча, а восполняя его.

Излишне говорить, что такого рода согласие и есть желательная норма церковной жизни, но норма эта является, к сожалению, чаще желаемым идеалом, чем живой действительностью. /.../

24 сентября/7 октября 1925 г.

г. Петроград



Отец Валентин Свенцицкий

Н. Свенцицкая

ОТЕЦ ВАЛЕНТИН

Младший брат отца, Валентин Павлович Свенцицкий — дядя Валя, отец Валентин. Года три назад в одном доме я встретила молодого священника, отца Владимира. Узнав, что я племянница отца Валентина и Свенцицкая, он сказал следующее: — ”У Вас такая фамилия, что за одну эту фамилию Вам можно поклониться в ноги”.

Отцу Владимиру не больше 36—37 лет. Он знаком с дядиными произведениями, знает кое-что о нем, но не мог знать его лично. А я знала его, и это уже счастье. Когда я его увидела впервые, мне было десять лет, потом наступил перерыв в два-три года из-за первой ссылки отца Валентина. Дальше до восемнадцати лет я была в постоянном общении с ним, а с восемнадцати до двадцати одного года у нас велась переписка, которая не прекращалась до самой его смерти. Я любила его больше родного отца. Он был для меня и отец, и дядя, и духовный пастырь-наставник. И он меня любил, и я всю жизнь горжусь этим. Я горжусь, что человек такого мас-

Найдено в Самиздате. По всей вероятности рукопись написана в 1973 г.

штаба не раз говорил мне, что любит меня, как свою дочь, а перед смертью из ссылки писал: "Наше общение не прекращается. Если Бог приведет мне еще пожить, мы будем с тобой большими, большими друзьями".

На всю мою последующую жизнь наложило отпечаток общение с ним, его взгляды, его заветы. Я всегда хотела хотя бы немного поступать согласно им и постоянно думала, как бы он отнесся к тому или иному поступку. Все большое, хорошее в моей жизни — от него. Часто приходя на его могилу, я мысленно рассказывала ему о своих горестях и радостях. Привела на его могилу своего мужа, еще задолго до нашего брака, и внушала ему глубокое уважение к дяде, которого он не знал.

Особенно большое счастье, что мое общение с отцом Валентином началось именно в том возрасте, когда формируется личность и в человеке закладывается все главное. Никогда ни с кем впоследствии я не могла так говорить, как с ним, раскрываться всей до конца. В молодости я была очень скрытная, застенчивая и самолюбивая, поэтому один неверный шаг — и я бы не могла так приходить больше к нему. В этом возрасте особенно отпугивает, когда так называемые мудрые взрослые в чем-то посмеются над тобой, в чем-то недооценят, как это важно для тебя, насколько серьезно, отмахнутся, отнесутся как к пустяку. И все — юная душа замкнется. А отец Валентин разговаривал со мной как с равной. Не было для него пустяков, глупостей; для него — такого умного, такого большого; но в этом-то и проявлялся его ум, его умение подойти к душе, особенно к душе подростка и юной девушки. Может быть, иной раз это и были пустяки, но

он-то принимал их так, в таком значении, в каком они были для меня, и давал советы и говорил: "Давай обсудим и решим, как лучше". И мне казалось — так легко жить, когда есть он; что бы ни случилось — пойду к нему, он мне поможет, ну хотя бы облегчит, разъяснит. Когда он умер, я была уверена, что в моей жизни уже не будет ничего хорошего. Может быть в известном смысле это и действительно так. Большое, духовное, хорошее, как при нем, вряд ли было после. Я очень тосковала тогда, много плакала, никуда не ходила, только вся ушла в работу. Но он всегда оставался живым для меня, существующим. Душа его истинно в горнем царстве. Да будет благословенна память о тебе!

Теперь я хочу перейти к биографии этого поистине могучего духом человека, знавшего высочайший духовный подъем и глубокие темные бездны, прожившего такую разнообразную, яркую и бурную жизнь и умершего почти святым.

Он на три года моложе моего отца, следовательно, 1881—1882 года рождения. Он родился семимесячным и первое время выращивался в ватке, но скоро выровнялся и стал вполне здоровым ребенком. Последыш, но, очевидно, остатки всех талантов семьи сконцентрировались в нем. В детстве, в семье ему дали прозвище "Ярышка". Отец, даря свой портрет, как и папе, написал на обороте для младшего сына:

Младшему сынишке
По прозвищу "Ярышке"
Отец дарит сей портрет
Для сравнения с собой на старости

лет.

Это прозвище возникло потому, что в то время он был чуть-чуть рыжеватый, худенький, невысокий, а главное, начал писать с раннего детства. Папа рассказывал, что у Валентина был даже сундучок, где хранились его произведения, и о некоторых из них знали в семье. В этих произведениях затрагивались не какие-нибудь пустяки, а разрабатывались, например, такие темы как история и разбор раскола христианской религии у нас на Руси и т. п.

Однако, по форме эти произведения, очевидно, не были еще достаточно совершенными, так как отец на какой-то книге (или портрете), посвященной сыну, написал: "Будущему графу Толстому, но пока весьма плохому".

Филипп Иванович Вотчал, дед недавно умершего знаменитого врача, дал дяде другое прозвище "Чижик". Филипп Иванович часто посещал бабушку, и между ними была большая дружба. Его хутор "Гремячки" на берегу Волги находился по соседству с хутором "Надежда" нашего деда.

Семья дяди была не религиозная, — вернее, нецерковная, к тому же православно-католическая. Отец — католик, мать и дети — православные. Папа рассказывал, что по обычаю в праздники дома принимали и православного священника, и ксендза.

Маленький Валентин никогда не был равнодушен к вопросам религии, к вопросу о Боге, о вере. Он начал искать очень рано и верил. Когда он был в третьем или четвертом классе Казанской гимназии, у них сменился законоучитель. Прежний священник Молчанов (у него же ряд лет учился и мой отец), был, по рассказам, выдающимся человеком, обладающим прекрасными ораторскими способностями, большой эрудицией и незаурядным образованием.

Впоследствии он стал экзархом Грузии. Его занятия в классах проходили нетрафаретно, интересно, живо и не уводили учеников от веры, как случалось у других законоучителей довольно часто. На его место пришел очень заурядный, может быть, и не плохой батюшка, но контраст был слишком разителен, и у Валентина сейчас же вышел с ним конфликт, да еще какой конфликт! По его мнению, однажды, батюшка поступил весьма неправильно и несправедливо. На уроке дядя вступил в спор с законоучителем, запальчиво приводил ему тексты из Священного Писания и кончил тем, что бросил ему обвинение в том, что он поступает совсем не по-христиански. В результате директор вызвал мать и патетически поднимая глаза и руки к потолку, заявил дрожащим голосом: "Это же скандал, нашего батюшку (он делал акцент на слове "нашего"), вдруг оскорбил мальчишка. Нет, этого так оставить нельзя!" В результате Валентина исключили из казенной гимназии, а это дело было очень серьезное — перелом всей жизни.

Исключение совпало с переездом семьи в Москву. Мальчик этот был необычный. В Москве он поступает в частную гимназию и, перескакивая через классы, кончает ее. Он пишет в это время такие сочинения, так выступает, показывая необыкновенную эрудицию и красноречие по истории и литературе, что ему прощают некоторые пробелы по кое-каким другим предметам. Почерк и орфография, по рассказам самого дяди, у него всегда хромали. У меня тоже исключительно плохой почерк, и он, бывало, смеялся, говоря: "У многих гениальных людей был плохой почерк, а орфография — не главное в жизни".

В это время, он практически уходит из семьи и начинает жить самостоятельно, независимо. Уроки, статьи, а затем литературные произведения дают ему средства к существованию. Он поступает в Университет, входит в различные философские кружки, — главным образом, имеющие религиозный уклон. В то время его увлекает христианский социализм. Он и его товарищ Эрн организуют "христианское братство борьбы". Они отрицают собственность и даже выпускают прокламации. Очень рано он начинает выступать с публичными докладами и лекциями, — в Университете и Политехническом Музее — на темы такого порядка: "Террор и бессмертие", "Христианство и насилие", "Атеизм и любовь" и т. п. В интеллигентской Москве его уже знают, о нем говорят. Выступления его собирают большое количество слушателей, он становится настоящим писателем, его рассказы, повести, драмы печатаются в различных журналах того времени и выходят отдельными книгами.

Драму "Пастор Реллинг" ставил и играл в ней главную роль очень известный артист, гастролер Орленев. Валентин выступает и в Петербурге, а также участвует в издании журнала "Новая земля".

Он учился на юридическом, естественно-историческом, как тогда называли, и филологическом факультетах. Не знаю, кончил ли он официально все три факультета, а если кончил один из них, то какой не помню.

В Туле, у его брата, дяди Вячеслава, я видела десятки детских фотографий Валентина, — веселый, смеющийся мальчик (к сожалению, все фотографии пропали). У нас есть маленькое фото, где они с папой, уже взрослые гимназисты, выглядывают из

окна. Папа перед этим болел тяжелым брюшным тифом — на фото написано: "Искушение яблоком!" Дядя Валя в форменной фуражке, скорчил гримасу и уплетает яблоко перед папиным носом. Очевидно, папе после болезни яблоки были запрещены, и он отворачивается. У меня есть две фотографии молодого взрослого Валентина. На первой он студент лет 22—23-х, на другой уже писатель лет за тридцать. Студент сидит нахмуренный, в форменной куртке, у него небольшая бородка клинышком и усы. Писатель — в блузе, лицо интересное, красивый лоб, красивая пышная шевелюра, бородка.

Валентин был среднего роста и имел сходство с братом Вячеславом, такое же очертание лица, такая же бородка, русский несколько мясистый нос, одинаковый рост. На родителей они оба не походили. Да и сходство с Вячеславом было больше так, на первый взгляд, а взглядишься и видишь, что все разное.

Дядя Валентин совсем не был красив, но у него были красивые каштановые волосы, мохнатые брови, большой, прекрасно очерченный лоб, а главное, удивительные серо-темнозеленые глаза, какие-то глубокие-глубокие и пронизательные. Я увидела его уже с проседью и потемневшим. Он, как и папа, немного грассировал, а когда выступал, то его обычно в общезитии тихий голос, становился могучим и наполнял, гремя под сводами, громадные храмы. В это время глаза его зажигались необыкновенным светом...

Он необыкновенно влиял на толпу, вел ее за собой, убеждал, покорял. Он был трибун, настоящий большой оратор. Необыкновенно влиял он и на от-

дельных людей в частной беседе. В молодости, очевидно, было тоже самое.

Одно время вместе с Эрном он играл большую роль в религиозно-философском обществе "Памяти Владимира Соловьева". Знал всех наших философов того времени — Трубецкого, Булгакова, Бердяева и др., кое с кем из них полемизировал. Сам он проповедовал аскетизм, ездил и ходил по пустыньникам Кавказских гор и написал о них прекрасную книгу "Граждане неба".

Он сам рассказывал, что в детстве верил в Бога, а потом был период, когда лет в 16—17 дошел до полного отрицания и отчаянья. Но и в этот период вопрос о вере не оставлял его. Его мучили страшные представления, создавая невыносимое душевное состояние. Переживания его были ужасны. Об этом периоде он упоминал впоследствии в своих произведениях и проповедях. Он стал видеть в то время всех людей и, особенно, дорогих ему людей, как трупы, скелеты, как разлагающуюся материю, как могилы, полные червей. Он почти сходил с ума.

И вот он отправляется в Оптину пустынь, монастырь в Калужской губернии, который славился своими необыкновенными старцами святой жизни, такими, как старец Амвросий и многие другие.

Он направляется к некоему старцу Анатолию, о котором впоследствии тоже говорил, что это был исключительно замечательный человек. Старец оказал глубочайшее влияние на юношу, на его смущенную душу, заставил его вернуться к вере, более глубокой и серьезной, чем она была раньше.

Молодой Валентин воюет против официальной церкви и особенно против ее верхушки, которая, по его мнению, далеко отошла от всякого хрис-

тианства. После декабрьского восстания 1905 года он пишет в журнале "Полярная звезда" открытое обращение верующего православной церкви, где требует от церковных иерархов объявления всенародного поста в знак покаяния за расстрел московских рабочих.

Дальше он пишет книгу "Второе распятие Христа". В этой книге рисуется, как Христос приходит в современный город под Пасху и попадает в церковь во время Заутрени. Он видит, что в церкви никто о Нем не думает, все заняты своими мирскими заботами и мыслями, а по городу там кого-то ведут в эту ночь на казнь. В конце концов, собрание высших духовных представителей арестовывает Христа, — они Его не узнали и не признали. Его судят и изгоняют.

Я читала эту книгу. Она была напечатана, но с пропусками и множеством многоточий, а потом ее и совсем изъяли, а автор был приговорен к нескольким годам заточения в крепости.

В это же время выходит и другая его книга "Антихрист" или "Записки странного человека". В этой книге в образе двух женщин изображены две силы в человеке, — ложь и чувственность и правда и чистота, — и борьба между ними в душе. В этой книге он выворачивал и свою душу, ее темные стороны; ту ложь, которая таится во многих людях, но о которой молчат, он исповедует перед всеми. Я этой книги не читала, я узнала дядю в другое время, когда он очень далеко отошел от настроений и убеждений своей молодости, и мне даже не хотелось делать экскурс в тот период тяжелых надломов его души, которые ничего не могли дать в настоящем,

а были только историческим и биографическим прошлым.

В связи с этой книгой его исключают из религиозно-философского общества. В результате всех этих событий, он уезжает во Францию, ему помогают бежать за границу под чужим паспортом. По-видимому или перед самой революцией, или сразу после нее Валентин возвращается в Россию. Он попадает на Кавказ и там встречается с семьей своей будущей жены, Евгении Сергеевны Красновой. Отец ее был священником и служил как будто в Туапсе. Дядя попал к ним случайно, — бродя по лесам и горам, вышел к дому, его увидела младшая сестренка будущей жены, тогда совсем еще девочка. Он зашел отдохнуть и таким образом познакомился.

За это время в нем произошли громадные перемены в мировоззрении во всем. Он решил стать священником в послереволюционной, открытой для нравственного обновления Церкви.

Семья его будущей жены была революционная. Брат дружил с Молотовым и вместе с ним отбывал царскую каторгу*. До Туапсе они жили, кажется, в Царицыне (теперь Волгограде). Мать их, хотя и попадья, но ездила на каторгу навещать сына и другим возила какие-то передачи. Потом он был расстрелян белыми. Впоследствии она, еще при Сталине, получила пенсию, и ее перед этим приглашали в Кремль.

Дядя женится и едет в Ленинград, где принимает сан (посвящение происходило в Ивановом монастыре, где был погребен приснопамятный отец Иоанн Кронштадтский). После этого он возвращается

* На самом деле ссылку в Вологодской губернии.
— Р е д.

ся на Кавказ, но через некоторое время все они, то есть он, жена и ее сестра, появляются в Москве. Тут и произошла моя первая встреча с ним.

С детства я слышала иногда, что у меня, кроме известных мне дядей, есть еще где-то какой-то дядя Валентин. Однажды он был у нас в Ряжске и видел моего старшего брата Валю. Я, очевидно, еще не родилась. Мама отзывалась о нем не совсем одобрительно ("какой-то непутевый этот братец у отца"). Однажды, осенью 1920 года я бегала с девочками во дворе. В то время мы жили на бывшей Владимировке, потом переименованной в шоссе Энтузиастов, за Лефортовским полем, где когда-то была Аненгофская роща, на квартире при больших медицинских складах, где работал папа. Склады занимали обширную территорию, там размещались и жилые дома, и зеленые площадки с клумбами, и аллеи из тополей. Тут мы играли в "чижика", в крокет, городки, в индейцев или в бумажные куклы из модных журналов и, наконец, строили из фанеры, рогожи и материи театр под открытым небом. Мы сами писали декорации, и я даже инсценировала сказку "Гензель и Гретель" и тургеневский "Бежин луг".

И вот, я подхожу к выходным воротам. Мне десять лет. У ворот стоит, оглядываясь, что-то ищет какой-то гражданин или, как тогда называли, господин. Гражданин — в куртке, у него небольшая бородка, он спрашивает меня: "Не знаете ли, где здесь живет Борис Павлович Свенцицкий?" Мы стоим друг против друга. Хотя в то время я уже давно, в основном, воспитывалась двором, но все же не совсем растеряла кое-какие привычки воспитанной девочки. Отвечаю: "Конечно, знаю, давайте я вас

провожу". И побежала вперед. Он зашагал за мной. Так мы пересекли дорожку, обогнули дом и поднялись по лестнице на третий этаж. Тогда все мы больше ходили по черной лестнице через кухню. Когда мы шли по лестнице, мой спутник пристально на меня смотрел и вдруг спросил: "А не дочь ли Вы Бориса Павловича?" Я отвечаю: "Да, дочь". И бегу через кухню и коридор в комнаты, навстречу мне выходит мама (был ли папа при этом, не помню, — кажется, не был.) Гражданин остался стоять в кухне. Пока мы шли, я тоже его разглядывала, и мне показалось, что он очень похож на нашего дядю Виню. Я и говорю маме: "Там я привела гражданина, он папу спрашивает и он очень похож на дядю Виню". Мама махнула на меня рукой: "Какой там дядя Виня! Придумает еще! Где ты там его одного оставила? Привела, наверное, какого-нибудь жулика". С этими словами она вошла в кухню. Потом я услышала, как она воскликнула: "Боже мой! Валентин!" И тут все разъяснилось. Больше я никогда уже не видела его в гражданском платье. Потом всегда или в рясе, или в полукафтани, с крестом, с волосами ниже плеч. Дома или на даче он часто заплетал волосы в несколько косичек. На улице — на голове скуфейка или шапка, на ногах сапоги.

До первой ссылки в Пенджикент в Средней Азии он не имел прихода, — да, в сущности, даже определенной церкви, а выступал как проповедник по разным храмам Москвы, часто сослужа в торжественных богослужениях с различными архиереями и Святейшим Патриархом Тихоном. Мы с родителями начали все чаще посещать эти богослужения. Необходимо отметить, что мое соприкосновение с

церковью до этого времени было весьма минимальным. От родителей я ничего не слышала о Боге, о церкви, но в раннем детстве моя воспитательница, так называемая русская бонна Мария Дмитриевна, моя любимая Маруся выучила меня молитвам "Отче наш" и "Богородица". У нас в детской в Ряжке висел образ Спасителя, по вечерам перед ним она часто зажигала лампаду. Крестильные кресты висели у нас на кровати. Маруся научила меня читать эти молитвы на ночь, и кроме того, молиться о здоровье мамы, папы и всех моих родных и о моем здоровье. Но в церкви в Ряжке я не была. Маруся ходила с Валею на Страстные службы, на Вербное Воскресенье, на Пасху, но меня не брали. Мне говорили, что я мала, а там много народу. Валья очень любил ходить на эти службы, мне также очень хотелось посмотреть, но меня не брали. Что делать?

Один раз меня маленькую причащали у бабушки, маминой матери, а в восемь лет эта же бабушка свела меня исповедоваться. Я уговорила пойти с нами сынишку бабушкиных жильцов Кольку, с которым очень дружила или это был один из моих первых поклонников (он катал меня на санках, во всем слушался и хотя был порядочным хулиганом, ко мне очень привязался). Бабушка нам ничего как следует не объяснила, даже пугала священником, но заявила, что в нашем возрасте необходимо пойти исповедоваться. Дальше в Москве я была у Заутрени, стояли мы где-то на паперти совсем немного в церкви Большое Вознесение на Большой Никитской (теперь ул. Герцена), а потом на следующий год в церкви Иоанна Богослова. Мы даже вошли внутрь этого старинного храма, залитого праздни-

ными огнями, расположенного в Богословском переулке на Тверском бульваре. Когда мы жили на складах, там была походная церковь для рабочих. Она напоминала длинный барак из фанерных щитов и стояла в нашей тополиной аллее. Церковь функционировала, и я с подружкой Катей иногда с любопытством заглядывала туда. На Пасху внутрь церкви меня не пустили родители. С крестным ходом шло много народа, пускали ракеты, жгли бенгальские огни, тополиная аллея была украшена разноцветными фонариками. Валя, кажется, в этом участвовал, а я смотрела только издали.

Отец Валентин начал совершать в своих родных семьях и в нашей семье требы. Отпевал и хоронил своего брата Анатолия в апреле или мае 1921 года и крестил моего брата, тоже Анатолия, и в начале августа отпевал моего брата Валю — своего тезку. В 1927 году он отпевал свою мать. Мне он говорил, что меня будет венчать.

Мой брат Валя утонул под Москвой, тело его нашли только через два дня и хоронили в заколоченном гробу. Мы его не видели, клал в гроб и все делал отец Валентин. Гроб утопал в цветах и березках, отпевание происходило в деревянной церкви на станции Ильинка Казанской железной дороги, потом эта церковь сгорела. Помню, как аккорд, несколько раз повторяющуюся фразу из проповеди, с вдохновением произнесенной отцом Валентином: "Это Господь стучится в Ваше сердце". Фраза была направлена особенно к моим родителям.

Отец Валентин видел нашего Валю всего два три раза, более длительно у себя на дому, когда они приходили с папой. После о. Валентин говорил мне, что весь внешний облик этого подростка,

Почти юноша, был необыкновенно привлекателен, да и внутренне он произвел на него большое впечатление. Мальчик ищущий, горячий, правдивый, тянется к добру, к познанию, к красоте, но, как видно, до настоящего времени никто не мог и не сумел им заняться по-настоящему, найти правду, веру и цель жизни, помочь разобраться во всем этом и утвердить в душе. Время было смутное, но этот юноша во что поверил бы, тому отдался бы всей душой, до конца. И дядя хотел заняться им, решил это, но не успел.

А Валя, действительно, так нуждался в подобном человеке, и он говорил тогда, что дядя ему очень понравился.

Отец Валентин рассказывал, что перед тем, как погиб мой брат, он должен был ехать по делу в Ленинград и уже по дороге на вокзал вдруг почувствовал, как кто-то взял его за плечо и повернул назад, остановил. Он понял, что ехать ему не нужно, и быстро вернулся домой. Домашние были удивлены его возвращением, и тут пришло сообщение о гибели Вали.

Папа чуть не сошел с ума после гибели сына. Брат не отпускал его от себя день и ночь, пока искали тело, а после похорон забрал его к себе на неделю. После этого отец Валентин вел нескончаемые беседы с моими родителями.

Под его влиянием они часто стали посещать церковь, слушать его проповеди и все больше приближались к церкви, к религии, к вере. Папу это просто спасло. Но вскоре о. Валентин был отправлен в первую ссылку. В церковной жизни, как известно, началось так называемое обновленчество, а прежде еще Антониновщина. Отец Валентин, ратуя за чисто-

ту православия, выступил с проповедью против Антонина, а также слегка задел и прочих обновленцев (Красницкого и других). Почти на другой же день он был арестован, позднее отправлен в ссылку. Он был отправлен на вольное поселение, но везли туда по этапу. Это были милостивые ссылки. Папе и маме удалось его проводить, каким-то образом отыскали вагон на путях и подбежали к вагону. Меня, конечно, на эти проводы не брали.

Здесь мне хочется привести слова одного человека, которого я не знаю. Я читала случайно его записки, сделанные в наши дни о событиях 1922 года, когда ему был 21 год. В это время он сидел в Бутырках в одной камере с о. Валентином, перед его первой ссылкой. Эти заметки интересны тем, что раскрывают впечатление, произведенное о. Валентином на человека, прежде его никогда не встречавшего...

”В камере о. Валентин больше молчал. Хотя он и не монах, но всегда был с четками. В нем чувствовалась мощь духовного борца, находящегося в смертельной схватке, невидимой брани и еще не достигшего покоя. Мира душевного, как трофея победы, в нем еще не чувствовалось, но сама борьба его была настолько реальна, что как бы уже видима и была сама по себе поучительна и заразительна для других”.

Вернулся о. Валентин из ссылки незадолго до кончины Патриарха Тихона. Отец Валентин очень любил и уважал Святейшего Патриарха Тихона. Он говорил, что беседы с ним оставляют глубокое впечатление. Он нередко посещал Святейшего и считал, что тот необыкновенно верно и правильно ведет церковный корабль в сложнейших и трудней-

ших условиях окружающей жизни того времени. Пока он существует, за церковь, до известной степени, можно быть спокойным. "Может быть, были и есть иерархи эрудированней и внешне как бы талантливей Святейшего Патриарха, но он какой-то благодатный, тихий и очень мудрый", — говорил о. Валентин.

Дядя был на похоронах Святейшего Патриарха в числе бесконечного духовенства, участвовавшего в отпевании. Я тоже с родителями была среди толпы народа на похоронах. Я висела на внутреннем дощатом заборчике сада и все очень хорошо видела. По возвращении из ссылки о. Валентин служил уже штатным священником в церкви святого мученика Панкратия в переулке на Сретенке. Наряду с этим он часто выступал с проповедями, сослужа в различных храмах Москвы и Подмосковья. В церкви святого Панкратия он не только говорил проповеди в субботу, воскресенье и праздники, но проводил целые циклы различных бесед, например, по средам были беседы о преподобном Серафиме. Помню его замечательное выступление в день митрополита Филиппа на торжественном богослужении в церкви Большой Спас, близ колхозной площади, на Спасской улице.

Были архиереи, может быть, даже митрополит и много духовенства. Он замечательно говорил об этом святителе, смело идущем против Иоанна Грозного, открыто обличающем его жестокость и темные дела и принявшем мученическую смерть за свою правду.

У каждого человека, выступающего перед народом, бывают особенно подъемные, вдохновенные выступления. Так случилось и у о. Валентина. В эти

моменты его проповеди особенно захватывали слушателей. Одну из таких проповедей в храме св. мученика Панкратия я очень хорошо запомнила. Может быть, она принадлежала к циклу бесед или возникла просто по какому-нибудь отдельному случаю, но тема была очень острая — о конце мира. Так ярко он рисовал его приближение, а дальше последние часы перед Страшным Судом, так образно и потрясающе. Дрожь охватывала, я думаю, не только меня, девчонку, а и людей более старшего возраста, взрослых людей. Было и страшно, и как-то величественно. Эта мировая катастрофа раскрывалась во всей жуткой и прекрасной полноте, возникла тут вот, совсем перед нами.

Я подрастала, часто ходила слушать проповеди дяди. Много бывали мы у них дома или провожали его пешком из церкви. Летом 1925 года наши семьи поселились в одной и той же даче. Дача была двухэтажная, они жили наверху. Это было в поселке Никольское по Горьковской железной дороге. Нередко забегала я к нему наверх и сидела на маленьком балкончике. В этих беседах на балкончике он, во-первых, все настаивал, чтобы я показала ему свои произведения, а во-вторых, чтобы шла к нему исповедоваться, но я так и не показала ему свои произведения, а исповедоваться начала только во время поездки в Саровскую пустынь.

Я очень рано начала писать романы и повести, и в юности писала очень много. Я жила среди своих героев, они заменяли мне многое в жизни. Я очень хорошо писала школьные сочинения и собиралась поступать на литературный факультет. Мои сочинения всегда получали блестящую оценку и выставлялись на школьных выставках. Даже на конкурсном

экзамене в Университет экзаменатор сказал мне, что ему очень понравилось мое сочинение на тему "Чеховские герои драматических произведений". Но это форма, а содержание? Типы? Конечно, как я думаю теперь, у меня не было тогда ничего своего, так как не было опыта, жизненных наблюдений, личных переживаний, все это было подражание то одному, то другому писателю, много любви, но, наверное, мало правды жизни. Я стеснялась показать эти произведения дяде. Может быть, здесь играло роль и то, что я боялась потерять вкус к писанию, разочароваться после его разбора, а в то время я очень любила это творчество, оно наполняло мою жизнь и без него мне было бы пусто и горько. Отец Валентин говорил следующее: "В юности многие пишут, а вот если не бросают позже, то из таких людей могут получиться настоящие писатели". Идти к нему исповедоваться мне также мешала застенчивость, а главное, в то время я еще не могла принять его полностью, как пастыря, потому что много видела в домашней обстановке как дядю, и это тогда еще не слилось воедино и мешало.

На даче он часто гулял в лесу один, готовился к проповедям, был наедине с Богом. Лето выдалось дождливое, под осень появились миллионы опят, и он ходил за грибами. Так ясно вижу его выходящим из леса с большой корзиной, в подоткнутом полукафтани. Он говорил: "Как хорошо ходить за грибами, а то прежде я любил охоту, теперь это не для меня, рыбную ловлю я не люблю, а грибы немного как бы охота".

Он любил музыку, в юности, как и все братья, учился и, говорят, хорошо играл на скрипке. У него

были музыкальные, длинные пальцы, нервные и подвижные. И от музыки он отказался. Он очень любил варенье и мог есть его банками, а в посты сильно ограничивал себя и в этом. Перед Пасхой он вообще почти ничего не ел и говорил, бывало: "Не есть мяса — это для меня безразлично, а вот варенья — это мой самый большой пост".

На даче иногда он брал меня с собой на прогулки в лес, или я провожала его на станцию в Москву и, конечно, всегда мы много беседовали. Наконец, наступило лето 1926 года. Мне было пятнадцать лет, скоро должно было исполниться шестнадцать. Отец Валентин со своими прихожанами — духовными детьми — собрался совершить паломничество в Саровский монастырь. Меня не пускали родители, но дядя решил, что я должна поехать, получить это впечатление на всю жизнь, и он сам уговорил папу отпустить меня. Поедет мальчик Женя Абарцумов восьми лет, сын его друга и почитателя (ныне умерший в Ленинграде в сане протоиерея), девочка Зина моих лет и две его свояченицы. С нами будут идти подводы на лошадях с вещами и для устающих, и когда пойдут из Арзамаса шестьдесят километров пешком, если я устану, то всегда могу присесть на подводу.

Незабвенный это был поход, но о нем надо писать отдельно. Я же здесь коснусь его лишь немного. Помню о. Валентина, служащего акафисты в пути, и общее пение в вагоне поезда, так называемого "Максима", — со сплошными нарамами вместо полков. В нем мы ехали от Москвы до Арзамаса. Дальше акафисты служили при входе в различные деревни, на пригорках среди полей. Кругом нашего паломничества собирались крестьяне, выносили хлеб, соль,

встречали после акафиста, приглашали к себе, угощали молоком с деревенским черным хлебом.

Мы двигались обозом в шесть подвод и шестьдесят человек, стар и млад, простые люди и интеллигентные. Шла, например, так называемая Лиза-кроткая, простая старушка, про которую о. Валентин говорил, что она мудрая. Солнце палило, все обгорели, некоторые до пузырей, отец Валентин мерно шагал впереди. Наконец, вошли в Предсаровский вековой сосновый лес. Залитые багрянцем летнего заката сосны — и опять акафист. А там уже видна колокольня и белые стены Саровской обители.

В то время еще существовала монастырская гостиница, все разместились там. Уже заранее о. Валентин сказал мне: "Ну, наконец-то в Сарове все будут исповедоваться, и ты должна решиться и прийти ко мне на исповедь".

Как ясно помню я эту первую исповедь в номере гостиницы. А потом, когда он спросил меня в Москве: "Ну, теперь приходи здесь. Придешь конечно?" я уже без колебания, с огромным желанием этой задушевной, чудесной беседы, ответила: "Обязательно приду и, не откладывая, когда только будет можно". Исповедовалась я потом у него часто, да и так иногда приходила, несмотря на то, что он был очень, очень занят. После поездки в Саров он получил настоятельство в церкви Никола Большой Крест на Ильинке. Ее давно уже нет, на ее месте небольшой скверик. Я особенно любила левый придел этого старинного храма и обычно стояла там. В нем чаще всего происходила и исповедь. Левый придел — низенький, такой уютный, мерцают лампы, на душе становится хорошо, она горит и стремится к Богу.

Непосредственно с уличного тротуара поднималась высокая лестница с полукруглыми ступенями, ведущая в храм. Колокольня возвышалась над папертью. Главный придел был небольшой, но очень высокий. Царские врата из нашей церкви теперь, кажется, в Коломенском музее.

В церкви действительно находился большой, широкий крест, с мощами различных святых. На левой стене от главного алтаря располагался мой любимый образ преподобного Серафима во весь рост, в высоком киоте. Распятие с центрального иконостаса теперь в алтаре правого придела церкви Скорбящей Божией Матери на б. Ордынке.

Отец Валентин вводил свои порядки во вверенном ему храме. Он искоренил звон и счет денег во время богослужения. С тарелочкой не ходили, была только кружка для пожертвований, за всеобщей бесплатно разносили свечи, и часть службы все стояли со свечами. Сам он получал зарплату, а за требу ничего не платили непосредственно священнику. Он призывал своих духовных детей к внутреннему обновлению; он считал, что церковь должна очищаться от всего лишнего и дурного, что пристало к ней за века, она должна ставить перед собой как идеал первые века христианства. Хоры и многое другое в церкви были из прихожан, из любителей и тоже безвозмездно.

После обедни части просфор, после вынутых из них частиц для Причастия, называемые Антидором, раздавались тем, кто не причащался в данный день. Так и звучит у меня его голос: "Кто не причащался, возьмите Антидор".

В своих литературных поучениях и проповедях он открывал своим духовным детям путь нравст-

венного духовного совершенствования в условиях современной жизни. Он исходил, во-первых, из того, что в настоящих условиях существование монастырей, как они были до революции, невозможно; во-вторых, сами эти монастыри в том виде, как они существовали, в многочисленных случаях извратились и потеряли свое значение хранителей подвижнической жизни и путеводителей спасения. Нередко они являлись даже источником соблазна и различных греховных дел. Поэтому как путь духовного совершенствования он выдвинул особый путь, который назвал "монастырь в миру". Это не значило, что люди, вставшие на такой путь, делаются тайными монахами, принимают негласно какие-то обеты. Это значило лишь, что они внутренне воздвигают как бы монастырскую стену между своей душой и миром, во зле лежащем, не допускают его суете, его злу захлестнуть свою душу, засосать ее. Для этого они, конечно, отказываются от многого, чем может прельщать современная жизнь, — развращающая, проникнутая безбожием. Это — трудный путь; он, может быть, много труднее, чем тот, когда люди удалялись за видимые монастырские стены, уходили от близких и жили там, где все было направлено на соответствующее построение жизни: в какой-то узкой среде, в которой так жили все, где было пропитано молитвой, постом, послушанием, и, следовательно, до известной степени отгорожено от соблазнов. А тут — внешне жить как все; кипеть в котле работы, среди безбожия семьи, забот; и только собственное внутреннее решение — жить по-другому, не допускать в свою душу тлетворного духа мира, да помощь духовника; к тому же, все это никому не известно, только в душе. Вот тот труд-

ный путь, который разработал о. Валентин и к которому он призывал своих духовных детей.

В церкви Никола Большой Крест о. Валентин проводил особые, старинные богослужения с проповедью, которые продолжались всю ночь.

Говорят, это было неповторимо, но меня на них, к сожалению, не пускали. Помимо этого, я довольно много посещала богослужения о. Валентина, кроме субботы, воскресенья и праздников. Я бывала на различных беседах, посещала циклы бесед по средам, вторникам и т. д. Здесь я хочу отметить, что по мере моего сближения с дядей, мои родители стали против этого возражать. Я думаю, что здесь была просто ревность. Они находили, что я чрезмерно отдаюсь церкви, религии, что я от этого очень устаю, что это мешает мне нормально жить. Часто меня не пускали в храм под разными предлогами (то, что я занята, а это далеко, утомительно и т. д.). Бывало, даже денег не давали на транспорт — так что приходилось занимать гривенники у друзей или делать огромные концы пешком. Сами они его любили и уважали, а тут ревность эта родительская отняла у меня не один драгоценный час общения с о. Валентином и лишила многих его поучений в храме. Как это ни нелепо, но, к сожалению, в жизни это нередко встречается, а в моей было постоянно. "А ты, не смотри ни на что, приезжай, если надо и нельзя никак иначе, даже придумай, что идешь куда-нибудь еще". Меня это смутило; как же, ложь? И я его спросила. Он ответил: "Бывает ложь во спасение. Ведь недолго, ох, недолго буду я с вами. А эти глупости мешают. Тебе надо ловить, выпитывать все и, пока я здесь, с вами, бывать у меня как можно чаще. Повторяю, несмотря ни на что".

Это было очень незадолго до его ареста в 1928 году.

У о. Валентина была большая, хорошая духовная библиотека и он давал мне кое-что читать. Из светских писателей он очень любил Достоевского, любила всегда Достоевского и я. Помню маленькую комнату о. Валентина в Докучаевом переулке на бывшей Домниковке (теперь ул. Маши Порываевой), комнатку, как келью, большой образ Божией Матери в углу с лампадой, где тоже не раз происходили наши беседы с ним. Иногда, ввиду его крайней занятости, я, как и прежде, провожала его из церкви или из нашего дома, и мы беседовали на улице.

После воззвания митрополита Сергия, где он заявил на весь мир, что наша власть не преследует церковь, религию, верующих и духовенство, и постановления обязательного поминовения власти в специальной ектенье, о. Валентин отделился от церкви, возглавляемой митрополитом Сергием, ставшим впоследствии патриархом, и ушел в так называемый раскол. Это течение возглавлял Ленинградский митрополит Иосиф. В храме Никола Большой Крест не поминали ни власть, ни митрополита Сергия; таких церквей в Москве было только две: наша и на Воздвиженке (теперь проспект Калинина). Этот храм очень старинный, низенький и небольшой. До первой ссылки о. Валентин часто служил там еще с известным московским протопресвитером Любимовым и протодьяконом Розовым. Голос этого протодьякона сотрясал стены, но был очень красив. Сам он громадный, красивый человек и для храма на Воздвиженке как-то велик. В то же время псаломщиком там служил один любитель, по имени Володя, у него был замечательный голос, и его чтение звуча-

чало как концерт. Храм располагался против Воен-торга. От этого храма теперь осталась только часть передней ограды. После отделения там был молодой священник о. Александр, очень похожий на Гаршина. Конечно, свои дни он закончил в ссылке.

Отец Валентин считал в период отделения, что их церковь истинная, и даже запрещал своим духовным детям посещать другие храмы, которые подчинялись митрополиту Сергию. Очень скоро (это было в 1928 году) отца Валентина сослали в Сибирь, в небольшую деревушку в 80 километрах от станции Тайшет.

Но все же это была ссылка на поселение, а не в лагерь. Везли их очень долго, по этапу. Недавно я узнала, что моей подруге Зине, с которой мы дружили с поездки в Саров, с ее сестрой и няней удалось видеть о. Валентина при отправке эшелона, через решетчатое окно вагона; это была последняя встреча. Зина рассказывала, что он увидел их, поднял глаза к небу и благословил. Они долго искали вагон на путях, конвойные грубо гнали их, но все же им удалось проститься, увидеть его. Через некоторое время я стала получать от него письма, через вторые руки. Наша переписка наладилась, я и сама начала ему писать.

Получила оттуда по частям и его замечательное последнее произведение "Диалоги". Мы с Зиной переписали его от руки для себя. Оно написано в виде диалога духовника и неверующего, но который честно хочет разъяснить себе ряд вопросов о Боге, о таинствах, об основных понятиях православной веры с философской точки зрения. "Диалоги" не устарели, и в настоящее время читаются, оставляя огромное впечатление. Те, переписанные от руки

”Диалоги” у меня почти все пропали. Я дала их почитать одной знакомой, она в свою очередь передала их одному архиерею, а того арестовали. Через много лет мне удалось достать их и отдать перепечатать.

Во время дядиной ссылки я мечтала, что вот, будут у меня деньги, окончу институт или что-нибудь и смогу съездить повидать его в Сибирь. Увы, вышло совсем не так. Он заболел. Это было какое-то почечное нагноение, которое постепенно распространялось по всему телу, причиняя ужасные страдания, страшные боли. Гнойники прорывались наружу, образуя фистулы, — и все это в оторванном от мира невероятном захолустье, где больница и то очень далеко, и чтобы везти в нее, надо каждый раз просить разрешения у местных властей. Лечили его гомеопатией, ездил туда даже известный гомеопат Жадовский, почитатель отца Валентина. Лечили и аллопатическими средствами. Говорили, что если бы вначале сделали операцию, то все хорошо бы кончилось. Разрешение на проезд в Москву и на операцию почти что удалось получить. Время было еще не самое худшее — тридцатый год, да и многие из высших властей, как говорил папа, в молодости знали Валентина Свенцицкого и даже надеялись уговорить его одуматься и перейти к ним. Загубила все его свояченица Леля. Она была на приеме у Смидовича и держала на руках разрешение. Когда брала его, то возьми вдруг и скажи: ”может быть, так он и совсем здесь останется”. Тот тут же взял бумагу обратно со словами: ”Ах так, вот о чем вы думаете!” и разорвал ее. Этим был решен вопрос жизни и смерти. Он болел больше года, много лежал; то лучше, то хуже, температура скакала — септическое

заболевание, а сердце было хорошее. Но болезнь взяла свое.

Под конец болезни страдания были невыносимыми, они пересиливали даже его громадную волю; он крепился, но иногда стонал и даже кричал, но перед самым концом стал тих и ясен, — ни ропота, ни обиды, полное смирение. Умирал он в сознании, в этот день сказал жене и ее сестре, которые были там: "Я умираю", — и обо всем распорядился, говорил спокойно, ничего не забыл. Ему было сорок девять лет.

У меня есть фотография его во время болезни. Он лежит в постели, — исхудавший, глаза впали. Незадолго до кончины он написал покаянное письмо митрополиту Сергию: писал, что хочет умереть в лоне православной церкви, понял свою ошибку, — всякое отделение есть отделение от истинной церкви, раскол; понял свою ответственность перед духовными детьми, которых увлек за собой. Духовным детям он писал тоже. От митрополита Сергия успел получить прощение.

Хочу здесь привести письма о. Валентина к митрополиту Сергию и своим духовным детям, а также еще одно к более близким ему родным и вместе с тем духовным детям.

"Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему местоблюстителю Сергию, Митрополиту Нижегородскому.

Ваше Высокопреосвященство, Всемиловитый архипастырь и отец, я умираю.

Уже давно меня тревожит совесть, что я тяжело согрешил перед святой церковью, и перед лицом смерти мне стало это несомненно.

Я умоляю Вас простить мой грех и воссоединить меня со святой Православной церковью.

Я приношу покаяние, что возымел гордыню вопреки святым канонам не признать Вас законным первым епископом, поставя свой личный разум и личное чувство выше соборного разума церкви. Я дерзнул не подчиниться святым канонам.

Моя вина особенно страшна тем, что я вовлек в это заблуждение многие человеческие души.

Мне ничего не нужно, ни свободы, ни изменений внешних условий, ибо сейчас я жду своей кончины, но ради Христа примите мое покаяние и дайте умереть в единении со святой Православной церковью.

11. IX. 31 г.

Валентин Свенцицкий”.

”Духовным детям моим.

Ваш духовный отец сделал страшную духовную ошибку и тяжко согрешил. Три года тому назад я отделился от Митрополита Сергия и увел свою паству из лоно Православной церкви. Горе тому, через кого в мир приходит соблазн, а я соблазнил многих. Ошибка моя заключалась в том, что свое личное разумение и свое личное чувство я поставил выше соборного разума церкви, выразившегося в святых канонах. Я умираю и перед лицом смерти сознаю этот свой страшный грех перед святой церковью и перед Вами. Простите меня ради Христа и вернитесь вместе со мной в лоно Православной церкви, принося покаяние в отделении, в отпадении от Православия, в которое вовлек я вас.

Кто из вас не потеряет в меня веру как в духовного руководителя, несмотря на это страшное мое

заблуждение, тот пусть останется со мной в единении.

11. 1X. 31 г.

Валентин Свенцицкий”.

”Милые деточки, сейчас получил от Вас письмо. Так много надо сказать и так мало сил это сделать. Спрашиваете, в чем я прошу прощения у вас. В страдании, как бы ни была на моей стороне истина, но своей ошибкой я вызываю эти страдания и не только у вас, у всех. Со всею скорбью, на какое способно мое сердце, прошу это прощенье. Но дальше Вы уже неправы, когда говорите, что Вам неясно происшедшее со мной. Оно может быть неясно в смысле переживаний, которые привели к этому, но то, к чему они привели — это ясно совершенно. Свой разум и свои чувства я поставил выше Соборного разума церкви. Мудрость человеческая заслонила вечное и премудрое.

Соборы провидели всю историю, знали какие ужасы будут творить сидящие на Патриарших престолах, сколько будет борьбы, жестокости, неправды, недопустимых компромиссов, граничащих с преступлением, и знали какой это будет соблазн для человеческих душ, подобный тому в который вовлек я вас, и все будет разорвано в клочья; они премудро оградили человеческие души от этих соблазнов строжайшими канонами, что не признавать можно только тогда, когда извращается догмат веры. Вы скажете, а раньше ты этого не знал? Знал, но в этом-то и ужас всех этих наваждений и опасности их. Разве вы не знаете, как иногда вдруг все станет иным, и то, что было справа, становится слева, и что было слева, становится справа?

Около года по временам меня гложет этот червяк, но я гнал его как искушение, и он исчезал. Как случилось, что у меня открылась вполне истина — рассказать почти невозможно, но знайте, что это имеет прямое отношение к моему концу, и, может быть, Господь меня сохранил перед смертью и дал возможность принести покаяние. Не думайте, ради Христа, что я не понимаю всех страшных последствий моего покаяния для окружающих. Все понимаю, все пережил, до последней черты, но в этом вопросе нельзя ничем иным руководствоваться, кроме совести.

Это страшно — это непосильно человеку — совесть. Такая страшная вещь. Она возлагает такие ужасающие бремена, но без нее нельзя жить.

Поймите все это, не теряйтесь от внешних обстоятельств и поймите меня до конца, как всегда понимали раньше.

Писать не в силах больше.
Господь с Вами”.

Все это само по себе было необычайно и для всех нас неожиданно, и важно. Ведь уход тогда, я, например, сразу приняла и очень одобрила, но не все так... Да и у меня лично сколько было споров в семье с друзьями — и вдруг...! Давалось все это не просто, не легко. Но тут все заслонила его смерть, потеря его. Тогда меня спасла работа, я работала по десять-двенадцать часов.

Я узнала о кончине дяди в лаборатории, от сестры его жены, у которой тогда работала. А 21 октября 1931 года из Сибири пришла телеграмма о смерти отца Валентина, непосредственно в нашу семью. Вечером вся наша семья была в сборе. Известие

не было внезапным, ошеломляющим. Он долго и тяжело болел, и мы понимали, что наступившая смерть — прежде всего, избавление от страданий. Да и семья наша, верующая, уповала на Господа и верила, что земные страдания его несомненно получат небесное вознаграждение. Но потеря его, конечно, была безумно тяжела, прежде всего для меня.

Было как-то очень тихо в квартире. Почти в этот вечер не разговаривали. Задумчиво сидел и младший десятилетний брат, и все же отец вдруг тихо заплакал. Мать со свойственной ей прямолинейностью также и в вопросах веры, сказала, что плакать не надо и даже грешно, так как дядя священник. В тот вечер никто, конечно, не предполагал, что тело дяди разрешат привезти в Москву и будет его торжественное погребение. На девятый день после панихиды (в храме Святой Троицы на Листах, на Сретенке) стало известно, что тело отца Валентина разрешено привезти в Москву. Это известие всех ошеломило. На панихиде было очень много народу. Возглавлял панихиду один из архимандритов бывшего Донского монастыря. Сослужили ему настоятель храма Большого Спаса протоиерей Александр Пятикрестовский и местное духовенство. Почему панихида и впоследствии отпевание происходили в церкви Троица на Листах?

Отец Валентин служил в церкви Большого Спаса, а впоследствии в храме св. мученика Панкратия и много проповедовал в окрестных храмах, а главное в храме Троица на Листах, куда после закрытия храма св. Панкратия в 1929 году, был переведен причт и приход церкви Святого Панкратия. В то время действовал еще храм Николы Большой

Крест, где отца Валентина продолжали считать настоятелем.

Служащий там священник Николай Дулов (не из посвященных прихожан о. Валентина) отрицательно отнесся к его покаянию, заявив, что письмо митрополиту Сергию о. Валентин написал в состоянии душевного упадка и в умственном забвении. Отец Николай не только не покаялся, а, наоборот, решил совершать заупокойные службы в храме Никола Большой Крест самочинно и совершил чин заочного отпевания.

Таким образом, отец Валентин в Москве был отпет дважды. К отцу Николаю Дулову присоединились некоторые прихожане и церковная двадцатка храма. Но они, конечно, были в меньшинстве. Поступок о. Николая мог повлиять на разрешение торжественного отпевания отца Валентина, так как, возможно, было некоторое желание противопоставить иосифлянам действия Сергиевской церкви, в те годы уже признанной официально.

Как же разрешили там, в Сибири, привезти его тело в Москву?

1931 год, ссыльный священник и вдруг такое разрешение? А дело было так. Его жена пошла к местному начальнику НКВД. Как она решилась на это, на что надеялась — даже трудно представить. Однако, начальник ответил кратко: "Ну что же, берите эту пададь, не все ли равно теперь, везите". Тогда срочно был сколочен дощатый гроб и еще просмоленный ящик, куда поставили гроб, — в товарный вагон. Этот вагон шел до Москвы почти три недели, его перецепляли к различным поездам, переводили с одного пути на другой. Говорили, что после отправки вагона НКВД спохватился и послал

вдогонку распоряжение не допускать, задержать вагон, но его не нашли в бесконечных передвижках.

Умер отец Валентин 20 октября, а гроб с его телом прибыл в Москву 6 ноября, в день празднования иконы Богоматери Всех Скорбящих Радосте. 7 ноября к вечеру он был установлен в церкви Троица на Листах. Нести в церковь гроб помогали многие прихожане. Седьмого же служить панихиду приехал Владыка Варфоломей со своим иподьяконом Андреем. В церкви был полумрак, гроб находился в большом просмоленном ящике и возвышался на очень высоком постаменте. Восьмого в шесть часов вечера начался заупокойный парастас.

Станным казалось, неужели здесь, так близко лежит отец Валентин. Первое каждение производил протоиерей Александр Зверев — священник замечательной внешности. Тогда ему было лет около шестидесяти. Высокий, статный, с большой седой бородой, очень светлым, даже несколько румяным лицом, ясными добрыми серыми глазами, облаченный, как и положено, в серебристую фелонь, в высокой крупной митре, он, обладатель также красивого драматического тенора, производил очень сильное впечатление. Впоследствии я, по завету о. Валентина, ходила к нему на исповедь до самого его ареста. Он оказался чутким, внимательным и вообще прекрасным духовным руководителем. На парастасе в храме был полумрак, но сотни свечей у гроба, а также у образов иконостаса, создателем которого является гениальный архитектор Баженов. В настоящее время иконостас из церкви Троица на Листах находится в музее архитектуры в бывшем Донском монастыре.

Дьяконов возглавлял протодиакон Николай Орфенов, близкий друг дяди. Служба происходила при огромном стечении народа. Нескончаемо шли и прикладывались к огромному темному ящику, для чего надо было подняться на несколько ступеней. После парастаса духовенство, возглавляемое епископом Дмитровским Питиримом, управляющим делами местоблюстителя Сергия, открыли гроб покойного. Они хотели посмотреть, можно ли будет открыть его при отпевании.

Как и все мы, они боялись, что через такой срок после кончины и длительной перевозки это будет невозможно.

Все были потрясены. Отец Валентин лежал как живой, даже ногти на руках розовые.

Рано утром к восьми часам девятого мы всей семьей пришли в храм к заупокойной обедне и отпеванию. И как были все поражены известием о том, что гроб будет открыт и в каком состоянии тело покойного о. Валентина. Когда приоткрыли воздух, я тоже увидела спокойное, чистое, как бы просветленное лицо о. Валентина, совсем не похожее на лицо обычного покойника.

Я стояла все время у самого гроба, не могла оторваться от него и горько, горько плакала.

Возглавлял службу епископ Дмитровский Питирим, хотя ожидали самого митрополита Сергия. Сослужил ему епископ Варфоломей, в начале отпевания он сказал слово: "Мы прощаемся сегодня с замечательным и истинно христианским пастырем, который, пройдя трудный путь, прибыл сегодня к нам без признаков тления, дабы явить нам силу духа единения с православием во веки веков".

В середине службы владыке Варфоломею сдела-

лось дурно, иподьяконы под руки увели его в алтарь, и он должен был покинуть храм. Настолько сильно подействовал на владыку Варфоломея вид усопшего о. Валентина. За литургией, после чтения Евангелия, владыка Питирим произнес разрешительную проповедь:

”По поручению митрополита Сергия, — начал он, — прощаю и разрешаю всех духовных чад усопшего батюшки отца Валентина, все они отныне снова становятся членами единой русской православной церкви”.

В своем слове дальше епископ Питирим говорил о большой ценности литературного наследия отца Валентина.

Отпевание, как и положено, было очень длительным. В отпевании участвовали: протоиерей Александр Зверев, Александр Пятикрестовский, Сергей Успенский, Владимир Абарцумов, местный причт, — всего четырнадцать священников и пять дьяконов, среди них протодиакон Георгий Хохлов и возглавляющий Николай Орфенов.

Протодьякон Николай Орфенов, так любивший отца Валентина, возгласил вечную память, рыдания заглушили его замечательный голос.

Нескончаемым потоком шел народ ко гробу и по благословению владыки Питирима свояченица о. Валентина для каждого поднимала воздух с лица, дабы прощающиеся могли лично убедиться, в каком состоянии тело.

Лицо о. Валентина забыть невозможно. Сейчас, когда прошло сорок два года, его помнишь. Оно было живым. Его фотографировали. У меня есть эта фотография. Он будто спит. Закрыты его глаза, необыкновенные глаза.

Я стояла у гроба и смотрела на его милые руки, так часто благословлявшие меня, которые я, приняв благословение, целовала.

Они и сейчас казались теплыми, эти близкие, знакомые до мельчайших подробностей руки. Вид о. Валентина в гробу — это явное свидетельство его спасения и пребывания в обителях Горних.

По окончании отпевания гроб трижды был обнесен с правой стороны храма, так как вокруг обнести из-за забора было невозможно. Возглавлял ход Александр Зверев.

”Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!” — пел народ; многие из случайно проходивших, видя простой дощатый гроб, удивленно спрашивали: ”Кого хоронят?” ”Подвижника”, — сказал один старик. Одинокая лошадь медленно везла катафалк на Пятницкое кладбище.

У дверей кладбища в полном облачении процессию встретил настоятель кладбищенской церкви, тогда еще не обновленческой. Он же совершил на могиле литию. Отец Валентин был похоронен совсем близко от храма. Но и на Пятницком кладбище он не нашел вечного упокоения. В 1940 году его останки были перенесены на кладбище Введенские горы, так как Пятницкое кладбище должны были сносить. Переносили в том самом просмоленном ящике, где стоял гроб и в котором он вместе с гробом был похоронен. Но Пятницкое кладбище не было снесено, так как началась война.

Кто-то из прихожан дяди задумчиво сказал тогда: ”Уходит отец Валентин в нейтральные воды (на кладбище Введенские горы нет храма), не захотел лежать на земле обновленцев, против которых был

так настроен при жизни”. В сороковом году храм Пятницкого кладбища стал обновленческим.

Отец Валентин мог ошибаться, мог делать ошибки и в церковной жизни, — как он писал митрополиту Сергию, — свою личную волю поставил выше воли церковной. Но его смерть показала, что все это покрывлось тем высоким, тем истинным и огромным, что стяжал этот человек для своей души и что он дал многим людям при жизни и продолжает давать до настоящего времени своими произведениями.

Мысли и чаяния его всегда будут живы и будут обновлять души верующих своей духовностью, глубочайшей философской одухотворенностью, останутся как пример делания спасения, как пример закладки духа в пустыне мира, как путеводный огонь. Я, как, наверное, и многие другие, когда умер отец Валентин думала, как рано он умер, почему? Он ведь так нужен был людям и мог служить им еще долгие, долгие годы, нести им неопределимые дары своего духа, своих знаний, своего влияния. Но Господь знает лучше нас, что для кого нужно. Не будь болезни, страданий и смерти, вряд ли бы о. Валентин в то время вернулся в лоно православной церкви, а куда бы он пошел в направлении раскола в дальнейшем — неизвестно. Кроме того, для собственной его души эти испытания, очевидно, дали огромные духовные плоды просветления, позволили ему умереть как умирает только истинный христианин, достигший очень большой духовной высоты. Это было подчеркнуто, раскрыто перед всеми, в том, что его удалось привезти в Москву и так хоронить.



МОНАСТЫРСКИХ СТЕН СИЛУЭТ

Я дарю тебе этот Край,
Край студеной, смиренной доли,
Ширь, открытую всем ветрам,
Зов разрушенных колоколен.

Я дарю тебе тихий свет
Этих нищих озер белесых,
Синь лугов, узор перелесков,
Монастырских стен силуэт.

Эту сень одинокой кущи,
Над которой звоны гудели,
Тайну дней, куда-то бегущих,
Тишину заброшенных келий.

Я дарю тебе эту боль
Неисполненного завета,
Эту призрачность, эту голь.
Здесь мой путь начинался где-то...

Наш путь начинался в Кириллове. Был конец сентября, туристы давно разъехались. Беспokoйно

Из самиздатской рукописи О. В. "Земли оставленной бедность", 1981. Публикуется с небольшими сокращениями. — С о с т.

плескалось синее озеро. В белой вышине, над монастырской башней одиноко трубил Ангел, встав на цыпочки. В часовне под вывеской "Сувениры" одиноко мерзла пожилая продавщица.

Неподалеку стоял старый маленький автобус. В нем сидели рабочие в телогрейках, смеялись, курили и ругались матом.

— Садитесь, сейчас поедем, — ответил на наш вопрос и просьбу шофер. И больше уже не обращал на нас внимания во всю дорогу.

Мы устроились сзади, на рыжем рваном сидении. Наши попутчики не заметили нас, отгородились стеной табачного фимиама, своими, им одним понятными разговорами, и спинами ватников. Так мы проехали восемь километров.

Тихая, неброская земля эта согревалась последними солнечными лучами. Было настолько тепло, что купавки и одуванчики вновь желтыми шарами возникли в траве, перепутав осень с весной. А трава на севере всегда зеленая. Едва слышно погромыхивали под ветром рыжие коробочки не убранного льна. Кое-где в полях копали картошку школьники.

Дальше Пенькова автобус не шел. Деревня раскинулась по берегу еще одного озера. Грустные ели перемешались с желтеющими березами над заброшенной церковью, над чьими-то могилами.

— Нил-Сорская пустынь? — переспросила встречная женщина. — А, да вам в дом хроника нужно, — догадалась она. — Я там девять лет работала, да бросила. Ходить страшно. Отсюда еще восемь километров будет. Медведи иногда встречаются. Да это еще ничего. А раз вот наткнулась на медведицу с медвежаточками. Думала не спасусь. Весной дело было. С тех пор боязно стало одной-то.

И она указала, как нам нужно идти.

Странные деревни лежали на нашем пути: они были пусты. Люди не жили в них больше, хотя, как было принято на севере встарь, аккуратно загораживали подход к ним длинные серые слегги.

— Купите дом, а? Хороший и недорого? Всего за сто рублей, — неожиданно предложила нам, выходя навстречу, пожилая женщина. — Во всей деревне двое стариков моих осталось, обоим за восемьдесят. Все в город уехали, а они не хотят ни за что. Так вот я и мучаюсь, езжу им помогать. Хоть бы дачники избы раскупили, не так жутко было бы.

Потом синие озера, холмы, пустые деревни, грустные ели и желтеющие березы остались позади. Впереди открылась прямая насыпная дорога. По обеим сторонам ее, в болотах рос низкий невзрачный кустарник. За кустарником — стеною стоял лес. А по дороге навстречу нам быстро приближался высокий тонкий человек. На бегу он то и дело наклонялся, что-то поднимал и отбрасывал в сторону. Вот он уже рядом, блуждают его глаза. Бритая голова. Не замечая нас, он побежал, подпрыгивая, в пустые деревни.

Дороге, казалось, не будет конца. Она пролегла длинной серой нитью через скучные топи, где ничто не радовало глаз. Только солнце, касаясь лучом еловых вершин, посылало надежду.

На ходу стало жарко. Стало душно. Пряно пахло багульником и кружилась голова.

И вдруг путь наш окончился. Неожиданно возник крутой поворот, лес отступил и открылась глазам

поляна, а за нею — небольшой поселок, видимо, то самое место, к которому мы стремились.

Место это сразу, при самом первом взгляде издали, поражало своей заброшенностью, бедностью, какой-то безысходной немотой. Вместо высоких монастырских стен и башен, которые невольно рисовало воображение, — низкие, почти лишенные силуэта белокаменные останки. Ни колокольни, ни церковных глав, ни движения человеческого. И жилья настоящего не видно рядом. Несколько разбросанных домишек, да покосившихся сараев. От одного из них доносился унылый звук электрической пилы. Когда стали подходить ближе, увидели, что у серого дома, похожего на правление колхоза, празднично стоял человек. Он как будто уже знал о нашем приближении и ждал нас. За спиной его, возле двери вывеска: "Пустынский психоневрологический инвалидный дом".

— Здравствуйте. Это Нил-Сорская пустынь?

— Да, это здесь. А вы кто будете? Откуда?

Мы сказались любителями старины из столицы. Мужчина был явно заинтересован. Роста он был не маленького и сложения крепкого.

— Давно ли живете тут, — спросили мы. — Быть может, знаете что-нибудь о прошлом этих мест?

Он знал. Своими руками лет пять назад он разобрал по бревнышку бывшую монастырскую мельницу. Когда-то "водяная мельница, устроенная Угодником Божиим на речке, служила для пропитания братии", — написано было в книге профессора С. Шевырева, который посетил эти места за сто двадцать пять лет до нас. Стояла мельница с пятнадцатого века.

— Теперь там амбар.

А в бывших каменных монастырских башнях, что в углах ограды, хранится теперь силос для скота.

”Рядом с келиями колодезь с превкусною водою, которую употребляют и для целения: это также труд Угодника Божия”, — рассказывал С. Шевырев. — ”Сначала поставил он часовню и келию и ископал при ней колодезь”.

— Слышал, слышал о колодце! — оживился наш собеседник. — Бабка одна рассказывала, показать обещалась, да померла она. Сам пробовал искать, да не находится.

Человек, с которым мы разговорились, оказался управляющим и вообще самым главным здесь начальником. Жил он в этих местах уже около двадцати лет. Приехал сразу после войны, хотел осмотреться и подкормиться, да и остался, осел здесь едва ли не навсегда. Охотно стал рассказывать он о людях, заменивших теперь монастырскую братию. Он называл их ”обеспечаемыми”. Так на здешнем языке именовались психические больные. А вместо длинного названия на вывеске говорилось просто: Пустынь.

— Что ж, пойдемте посмотрим, как у нас там, внутри, раз вы интересуетесь.

Хозяйским жестом он указал на вход. Нам прежде не случалось бывать в сумасшедшем доме. Стало не по себе. ”Преподобне отче Ниле, моли Бога о нас”.

Проходя под аркой, он обратил наше внимание на едва заметные темно-синие пятна. Они почти не выделялись на грязноватой штукатурке.

— Смотрите, у нас тоже были росписи, — заметил он с гордостью.

С этими словами вступили мы за ограду бывшей Нил-Сорской пустыни. И в прежние времена небольшой это был монастырь и беднейший. Во времена профессора Шевырева в нем жило всего 20 монахов. А в XV веке преподобный Нил Сорский пришел сюда с учеником своим Иннокентием. И поставили они келии "на вержение камня". От первой келии бросали камень, куда он долетал, там ставили другую келию. И радовался великий старец Нил, "понеже благодатию Божиею обретох место угодно моему разуму, понежь мирской чади мало входно". А пришел он сюда, прожив несколько лет на берегу голубого Средиземного моря, наставляясь там у афонских старцев. Потом к нему на берег здешней речки Сорки, которая не течет, а стоит почти как болото, собралось еще десять учеников.

В пустынных и диких этих дебрях жили монахи строго. Работали рукоделие для пропитания. Не имели ничего своего. Сидели по келиям. И только в субботу и воскресенье сходились в церковь славить Бога.

Преподобный Нил изучал здесь святых отцов и написал "Устав о монашеском житии". Зимой простирались вокруг бесконечные непроходимые снега и черная северная ночь по полгода окутывала первый на Руси монашеский скит...

Теперь число насельников пустыни увеличилось до ста человек. Сто сумасшедших хроников. Группами и в одиночку, старые и молодые, красивые и безобразные, молчащие и непрерывно что-то бормочущие мужчины бродили и сидели на крошечном пространстве. Все — даже они — хотели погреться под осенними последними солнечными лучами.

Мы пошли вперед по единственной дорожке, которая лежала от стены до стены. Дорожка упиралась в деревянную решетку вторых ворот. Сквозь клетки виднелись поля, и казалось, что там — простор, другая, нездешняя жизнь.

Обеспечаемые, едва только заметили посторонних, собрались в кучу и пошли за нами молча, как наступает на невидаль стадо овец. Чувствовать их за своей спиной было неприятно. Было и стыдно и больно. Наш провожатый не обращал на них никакого внимания.

— Папаша, Вы к обеспечиваемому приехали? — зашептал вдруг с надеждой кто-то сбоку от нас.

— Нет.

Нет, мы приехали не к ним. Мы и не подозревали об их существовании, пока не попали сюда. Да и кто ведает, кто еще помнит о них на земле?

Вдруг послышался крик. Мы обернулись. Откуда-то из-под угловой башни тащили под руки бритоголовое худое существо. Оно было в нижнем белье и босо, на плечи накинута простыня. И это был человек, он страдал и почему-то кричал.

— Ничего, ничего, не стоит беспокоиться, он слепой и почти глухой, — успокоил нас хозяин. — Его ведут, так надо.

— А ну пошли, пошли отсюда! — цыкнул он на тех, что прилепились было к нам.

И они бросились сразу в сторону. Все вместе. Совсем так же, как разбегается овечье стадо, встретив испугавшее их препятствие...

/.../ Захотелось уйти. Невольно и вопреки здравому смыслу тревожило внутреннее опасение: а пропустят ли обратно через ворота? Откладывать это, во всяком случае, не стоило. Но нужен был

предлог. Он и нашелся тотчас без всякой выдумки.

— Есть ли у вас в поселке столовая?

— Нет, этого ничего нету, да и для кого? Да и не к чему вам. Пойдемте, у нас недавно отремонтировали столовую для обеспечиваемых. Попробуете, как мы их кормим, — настойчиво пригласил нас хозяин. Делать было нечего.

Столовая располагалась в каменном церковном здании. Ее достраивали как раз в те времена, когда обитель посетил С. Шевырев, книга которого и теперь была у нас в руках.

”На месте ныне строящейся каменной церкви была прежде общая соборная церковь братии. Прежде было все деревянное, и самый храм, где находилась гробница Угодника Божия, но теперь строят каменный, и строят уже несколько лет, а все не могут привести к окончанию”.

Так было в 1847 году. А теперь дело было закончено. Мы вступили в большой обеденный зал. Наш провожатый отошел шушукаться с подавальщицей, а мы остановились у порога. Ничто больше не напоминало здесь церковь. Гладкие пустые стены. Современное освещение, небольшие, на четыре места столы, стулья, какие можно встретить в любом городском заведении. Над всей этой обыденностью вверху, во всю огромную стену — быть может, западную, на которой прежде изображали в церквях Страшный Суд, — была нарисована картина. Черная пропасть, над нею клубится шарами черный дым. А по этой черноте летит тройка красных коней с красными растрепанными гривами.

— Череповецкий художник нарисовал. Правда, хорошо? — перехватил наш взгляд хозяин.

Да, это было символично. Похоже и на преисподнюю, и на бред сумасшедшего, и на страшные череповецкие черно-красные дымы.

Под этой картиной мы и обедали. Обед нам подали по здешним местам роскошный: щи с куском свинины, плов со свининой и по кружке горячего молока.

— Вот как у нас обеспечиваемых кормят, вот сколько всего дают, — радостно суетился вокруг нас Хозяин. — И так — всегда. У нас обеспечиваемым хорошо живется!

По-видимому, он принимал нас за тайных ревизоров и опасался попасть впросак.

Где-то здесь, на этой убогой земле, населенной теперь помешанными людьми, почивали под спудом мощи преподобного Нила Сорского.

— Вы не знаете, где же погребен святой Нил?

— Знаем, что здесь, но точно не скажу. Он зарыт в серебряном гробу.

Всю жизнь носил Преподобный худые ризы из такой грубой ткани, что волосья ее кололись, как иглы. У братии не было ни золотых, ни серебряных сосудов даже для совершения богослужений. Нестяжательность — суровый скитский принцип. Но память потомков уложила Преподобного в серебряный гроб.

— Скажите, как навещают здесь больных родные? Ведь от станции не дойдешь?

— Кто хочет, заранее пишет. Мы встречаем. Все равно машина в город за продуктами ходит.

— А писать можно сюда?

— Конечно, можно. Вы разве не встретили по

дороге нашего почтальона? Он из обеспечаемых.

— Как же нам-то обратно выбираться?

— Машины нет сейчас, а вот на тракторе, пожалуй, можно. Свезем, если хотите. Сейчас я скажу Коле.

И вот снова, уже в обратном направлении проходим ворота обители с темным пятном росписи. Конвойный с ружьем сторонится и выпускает нас на волю. Толпа обеспечаемых остается внутри.

В конторе две женщины что-то писали, щелкали на счетах. Отвечали они застенчиво: любят свой край, здесь приволье, много ягод и грибов, у них огороды.

— Тихо у вас, безлюдно. Часто ли сюда туристы заходят?

— Как же, конечно, часто. Вот два года назад были тоже двое из Москвы, профессоры. Тоже Пустыню, да Нилом интересовались.

— Сейчас-то здесь хорошо, не страшно. А прежде колония преступников была, тогда вот натерпелись.

Появился Коля, молоденький тракторист. Завел свой колесный трактор. Мы поблагодарили Хозяина и забрались в тележку. Трактор прытко затарахтел по серой дороге, мимо осевших стен обители, мимо сарая с электропилой, мимо топей и худосочных кустарников на широкий пустынный тракт, уходивший в лес. Осенний день клонился к вечеру.

Уходил в прошлое этот день. Было понятно, что едва ли приведет еще нас Господь ступить когда-нибудь на забытую всеми, брошенную, затерявшуюся землю Нил-Сорской пустыни. Она оставалась позади со своею скорбной судьбою, мы стреми-

лись вперед навстречу своей судьбе. И все же день этот был, состоялся, и безмолвное наше паломничество к мощам преподобного Нила завершилось и вписывалось в книгу Бытия. Для чего оно было? Что исполнило? Где плод его? Где плод всей нашей человеческой жизни? наших надежд, наших трудов, падений и поисков, подвигов и молитв?

Возле каждой пустой деревни тракторист, весело насвистывая, соскакивал на землю, открывал "шлагбаум", отгаскивая в сторону серую слегу. Проезжал эту деревенскую заставу, останавливался и соскакивал опять, чтобы закрыть ее за собой.

— Для чего эти загородки?

— А чтобы скот из деревни не вышел бы, а то заблудится.

— Но ведь в деревне нет ни людей, ни скота?

Коля в ответ промолчал. Он довез нас до Пенькова, как велел ему шеф.

Когда на попутной легковушке мы добрались, наконец, до Кириллова, было уже темно. Пустая площадь освещалась скудным светом двух-трех фонарей. Голос веков, голос протекших событий, казалось, витал вокруг, сгущался и силился прорваться в звуке. Луч фонаря уходил в небо. В черном небе над монастырской башней по-прежнему одиноко трубил Ангел, встав на цыпочки.

"Преподобный Нил преставился в 1508 году мая седьмого дня, 75-ти лет от роду. Братии своей завещал он бросить тело свое на съедение зверям и птицам: понеже согрешило есть Богу много и недостойно есть погребения.

Если же не сделают этого, то ископавши ров в месте, где живет, пусть погребут со всяким бесчестьем”.

Потомки в XX веке выполнили просьбу смиренного святого.

Бог да простит всех нас.

МАТЬ МАРИЯ

Поэзия, служение, крест

В последнее десятилетие в нашей неофициальной литературе, публицистике, в Самиздате большое место занимают темы, так или иначе связанные с проблемами эмиграции, отъезда из России. За это время тысячи (несколько сот тысяч) людей уехали на запад, среди них русские писатели, русские художники, люди искусства. У них оказались громкие голоса, энергия, они много пишут, Запад проявляет к их судьбе и работе значительный интерес, их творчество находит тот или иной отклик в нашей жизни. Но *тот* или *иной* здесь существенно. Уехать из России проще, чем в Россию *вернуться*. И эта "простота", как и эта "сложность" связаны не только (а вернее, не столько) с погранично-паспортными трудностями, когда речь идет о возвращении ситуация становится принципиально иной, здесь мало *желания* вернуться (для отъезда такого "желания" может быть вполне достаточно), коль речь, скажем, о книге — она должна получить *право* на возвращение. Что это такое, какие здесь могут быть критерии — есть ли они, чем измерить такое *право* — спросом, злободневностью, талантом, быть может, способностью вспомнить о коренных, роковых проблемах

жизни?.. Я попытаюсь ответить на эти вопросы, они представляются мне существенными. Но скажу сразу: в отличие от сегодняшнего отъезда, сегодняшней эмиграции — такое *возвращение* происходит безо всякого шума, книг этих единицы, но каждая *такая* судьба, каждая *такая* книга производят тихое, но необычайно глубокое и, смею думать, необычайно важное влияние на нашу жизнь.

Книги имеют свою судьбу, время для них лучшая проверка и *настоящая* книга появляется перед читателем именно тогда, когда она ему нужна. А может быть, и необходима. Вдруг оказывается, что судьба человека, погибшего, скажем, сорок лет назад, необычайно близка нам, его боль и надежда — наша боль и наша надежда, сказанное и написанное им полвека назад дорого нам, как глоток воды в жажду, хотя в его время он не был услышан, его *служение*, воспринимавшееся когда-то с недоверием, для нас давно жданный пример, а завершение судьбы, дающее возможность одним взглядом окинуть всю жизнь и понять ее, никак не свидетельство конца пути — она продолжается в нашей жизни, в иное время и иных условиях, в наших душах, а потому следует говорить не о смерти, но о *воскресении*. Такая *встреча* случается именно тогда, именно в тот момент, когда она необходима. А критерий здесь единственный, Евангельский: "если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода" (Ио.12, 24).

Одна из таких необычайно важных нам по жизни *встреч* — книга прот. Сергия Гаккеля "Мать Мария"*.

* Прот. Сергей Гаккель. "Мать Мария". Париж: — ИМКА — ПРЕСС, 1980.

Нижеследующие заметки никак не рецензия на книгу о. Сергия: далеко не каждый читатель "Надежды" знает книгу о матери Марии, достать ее в наших условиях нелегко, к тому же сам характер работы о. Сергия предполагает иное отношение к его труду: нам подарили *встречу*, нам дано прикоснуться к *судьбе*, теперь от нас зависит — *чем* она может для нас стать.

+

Мать Мария (Лиза Пиленко, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, Елизавета Юрьевна Скобцова) родилась в 1891 году в доме городского головы Анапы, директора Никитского сада. Детство ее было счастливым. Оно кончилось со смертью отца и переездом в Петербург. Это были годы первой русской революции, которой пылкая девушка не могла не увлечься. Она вошла в мир революционного Петербурга, в мир художественного Петербурга, ее связывала дружба с Вяч. Ивановым и Блоком, она знала Розанова и Бердяева, Белого и Мережковско-го, Ахматову и Гумилева; ее первый брак (1910) с большевиком Д. В. Кузьминым-Караваевым ("друг поэтов" большевиком был всего несколько лет) открыл в ней натуру незаурядную, увлеченность жизнью только способствовала глубокой внутренней работе; ее первая книга стихов (1916) подарила нам поэта истинного; она осталась верной религиозно-христианскому миру своей поэзии до конца жизни.

Гражданская война застаёт Елизавету Юрьевну на посту городского головы Анапы: чудом уцелев при большевиках, она едва не была расстреляна

когда власть перешла в руки Белой армии. Ее второй брак с Д. Е. Скобцовым (в то время членом правительства Кубанского края) был недолговечен, как и первый, и закончился разводом. Она эмигрировала через Турцию и Югославию, в конце концов оказалась в Париже, где в 1926 году умерла ее младшая дочь Настя. В 1936 году она потеряла старшую дочь Гаяну (за год до того вернувшуюся в Москву). В 1932 году Елизавета Юрьевна приняла постриг.

Монашество матери Марии в миру вызывало недоумение одних, недоверие других, неприятие третьих. Тем не менее, сотни русских людей, брошенных войной и революцией на Запад, прошли через устроенные ею *дома*, получили там кусок хлеба, кров и духовное утешение. После оккупации Франции столкновение м. Марии с Гестапо стало неизбежным, акции против еврейского населения это столкновение ускорило. 10 февраля 1943 года она была арестована, переведена в Компьень, а потом в Равенсбрюк, где пробыла два последних года своей жизни. 31 марта 1945 года, в канун Пасхи мать Марию отправили в газовую камеру.

+

Книга о. Сергия Гаккеля не поддается четкому жанровому определению — это не биография, не житие, не анализ жизни, служения и творчества. "Мать Мария" — своеобразный свод документов (факты биографии, воспоминания друзей, отрывки из статей, стихотворения, рассказы очевидцев, сведения из неопубликованных архивов). О. Сергий много лет работал над этой книгой, она выдержала несколько изданий (на английском и немецком языках, дополненная и переработанная — по-русски).

Уже само расположение материала книги (речь идет о последнем, русском издании) выдает четкий замысел, некоторое, скажем так, — художественное прочтение судьбы; своеобразная драматургия книги обеспечивает ей читательский интерес и одновременно несколько упрощает, как саму судьбу героини, так и уникальность ее служения. Читатель перестает порой слышать мать Марию, она не вмещается в предложенные ей рамки, ее душа богаче, сложнее, а противоречивость опыта для его постижения требует не драматургии, но анализа. Не для того, чтоб принять его или его отвергнуть, не для того, чтобы его комментировать (у меня нет на это ни права, ни духовного чина), но чтоб им проникнуться, соотнести с нашей жизнью, ответить на собственные вопросы, а они для нас сегодня никак не история.

Другими словами, книга о. Сергия Гаккеля для нас не просто волнующее чтение, а подлинная *встреча*, которой мы должны оказаться быть достойны. Эта *встреча* шире и глубже замысла автора, а выводы, которые русский читатель способен из нее извлечь, могут быть не согласными с мыслью автора. Едва ли этого следует бояться. Нам вообще ничего не следует бояться — никого, кроме Господа.

Я остановлюсь на трех темах, проблемах, открытых прикосновением к судьбе матери Марии. Они, разумеется, не исчерпывают уникальность этой судьбы. Но представляются мне сегодня очень важными. Кроме того, они меж собой связаны. И вытекают одна из другой.

ПОЭЗИЯ

Жизнь русской культуры в двадцатом веке необычайно поучительна. А сегодня, когда нам дано увидеть ее с некой временной высоты, она предлагает огромный материал для понимания. Ее возможностей и ее предела. Открывшейся в ней бездны. И надежды на воскрешение. Первые два десятилетия века; годы двадцатые; годы тридцатые и сороковые; пятидесятые; шестидесятые; семидесятые. Я не даю периодизацию, она открыта каждому непредвзятому взгляду. Это трагический путь обольщения, самого низкого падения, ставящей в тупик несостоятельности и внятного только любви неуклонного воскрешения. От "серебряного века" через провал "соцреализма" к "Доктору Живаго", дальше — к "Архипелагу ГУЛАГ" и еще дальше — обращение ко Христу.

Этот разговор никак не академический, я не описываю некий исторический феномен жизни искусства — перед нами уникальный опыт, дорога, политая живой кровью, несмываемым позором, отмеченная чудом возвращения к своему истоку. Возвращения ко Христу. Этот разговор тем более насущен, что на наших глазах, в последнее время, на разных уровнях происходит удивительная попытка соединить то, что принципиально несоединимо — Христа и искусство, настойчивые и навязчивые поиски Православия там, где его не может быть, стремление приспособить и оболгать Христа для оправдания искусства (собственная интуиция сакрализуется, максимализм подменяется вкусовщиной, дерзновение — своеволием, правом вторгаться в тайну, аскетизм мысли — эмоциональностью, а уж умале-

ния себя и отвержения себя нет и в помине). Апология оболъщения. Забвение страшного опыта, подмена, отсутствие мужества и трезвости в понимании смысла попущенной трагедии. "... невозможно не придти соблазнам; но горе тому, через кого они приходят" (Лук. 17, 1).

Можно понять первый импульс такого стремления, он вполне искренен: мелькнувший во мраке свет Истины так привлекателен, так единственна открывшаяся вдруг надежда, что за ней нельзя не пойти. Но слишком долгой была жизнь во мраке, он объял все вокруг, проник внутрь, повредил природу, а потому даже не просто заманчиво, но так естественно, кинувшись к свету, взять с собой самое дорогое, что всегда составляло отраду, казалось светило в черноте, поддерживало, замороченно думалось, только оно и не дало пропасть — что ж, бросить, оставить мраку?! Нет, взять с собой. Туда, в новую жизнь. *Невозможность расстаться со своим.*

Повторяю: непонимание обмана и оболъщения может быть здесь вполне искренне, забвение того, что прежде чем пойти за Истиной, нужно *отдать свое* — всего лишь следствие погруженности во мрак. И такое незнание, забвение, искренность заблуждения — объяснимы. Но они не могут стать оправданием. "Ибо будет время, — сказано Апостолом, — когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвергнут слух и обратятся к басням" (2 Тим. 4, 3—4).

Неспособность отдать *свое* присуще искусству вообще, это основа прельщения и художник не может не знать об этом. Тем более, художник, существующий в христианской культуре. Знает, но

свое не отдает. Чтобы пойти за Христом надо отдать все и погубить свою душу. Христа ради. Художник готов отдать все, *кроме* своего искусства. Готов погубить душу, но ради искусства же. Это принципиальное различие столь несомненно, что его едва ли следует объяснять. Но именно потому, что оно несомненно, о нем труднее, страшнее помнить, легче забыть. И о нем забывают. Художник в душе своей, а его почитатели и апологеты — в восхищении перед его творчеством.

Забывают, что, скажем, Возрождение, как исторический феномен жизни искусства, есть всего лишь возрождение в новом времени античности, эллинизма. Язычества, в конечном счете. Освобождение от Христа. Попытка увидеть красоту и гармонию в *этом* мире, воссоздать красоту и гармонию средствами искусства в совершенных эллинских (или новых "античных" формах). И это действительно красиво, не может не радовать и не веселить истрадавшуюся душу. Но это ложь об *этом* мире, ложь о Христе. В *этом* мире, где попущено властвовать *князю*, нет и не может быть гармонии и совершенства. Прельщение и обольщение. Свободный выбор. Демоны и бесы — никак не свидетельство жизни во Христе, если художник не борется с ними, а им отдается, отдается поэзии, искусству, и кажется, может уже все. Но только в том, что дает искусство — пусть даже на самых высоких своих вершинах. В *этом* мире.

Истинный художник всегда пишет о себе. В нем нет и не может быть гармонии, он знает, что всяк человек ложь. Он свидетельствует об этом, если не хочет, не может солгать. Если не прельщен дявольской красотой — своим искусством. Он не спо-

собен создать совершенный мир, ему не на что в этом смысле в себе опереться. Только в Церкви, только в душе святого — только во Христе есть совершенство, а художник грешен уже своим искусством. Но он, как всякий человек, жаждет *другого*, душа его томится и вопиет и если он честен перед собой и не прельщен, то пишет об этом, кричит и рвется — вот откуда надрыв, прорывы и мука высокого искусства. Невозможность жить в разрывах и невозможность прорваться к гармонии. И третья невозможность — нет сил отдать *свое*. Свое искусство, свой талант, поэзию. Один Гоголь решился и вот уже полтора ста лет является предметом поношения. От Белинского до Синявского.

Христос — не метафора, не фиксация православного быта, не богословствование, не средство, но цель — живая жизнь. Исповедничество и крестная смерть.

Искусство ищет гармонии не там, не на тех путях, а потому обречено на поражение. Хрестоматийный пример — "Отцы пустынноики": прекрасные стихи ничтожны рядом с оригиналом (покаянной молитвой преп. Ефрема Сирина). В первом случае, поэзия, во втором — любовь к Богу. Нет более разных путей: там — самоутверждение, убежденность в собственном предназначении, невозможность отказаться от себя; здесь — покаяние, смирение, исповедничество. На первом пути — признание, верность себе до смерти. На втором — поношение и смерть Христа ради*.

* В тридцатые годы м. Мария писала, говоря об оправдании человеческого творчества, "как начала, могущего приблизить тварь к обожению", о "подлинном расцвете религиозного смысла культуры", о том, что "Боговоплощение

Мать Мария поняла это очень рано. Уже в своей первой книге стихов ("Руфь"). Мы не знаем *как* это происходит — почему одному Христос открывается, а другой оказывается неспособным ответить Ему. Но нам сказано, что Он приходит к каждому: "Се, стою у двери и стучу" (Откр. 3, 20). Приходит к каждому, но не каждый оказывается способным открыть Ему дверь.

Я силу много раз еще утрачу;
Я вновь умру, и я воскресну вновь;
Переживу потерю, неудачу,
Рождение, смерть, любовь.

И каждый раз, в свершенья круг вступая,
Я буду помнить о тебе, земля;
Всех спутников случайных, степь без края,
Движение стебля.

в корне уничтожает неправильно понимаемую апокалиптичность": "Какие бы ни были последние сроки и каким бы ужасом ни веяло от них, какую бы гибелью они ни угрожали человеческому греховному творчеству — даже перед лицом их человечество к творчеству обязывается. Но они вводят непременно и единственно правильный корректив к пониманию этого творчества. Подлинная религиозная культура только и может быть таковой, если она вся упирается в апокалиптичность истории. Это есть основной признак, как приметы ее подлинности. Заданием православной культуры отнюдь не может быть положение цели своей в чем-нибудь временном и относительном — оно сгорит. Последняя ее цель — во вневременном, в метаисторическом смысле исторических событий, в построении того, что не сгорит в вечности".

Не только помнить; путь мой снова в гору;
Теперь мне вестник ближе протрубил;
И виден явственно земному взору
Размах широких крыл.

И знаю, — будет долгая разлука;
Неузнанной вернусь еще я к вам.
Так; верю: не услышите вы стука,
И не поверите словам.

Но будет час; когда? — еще не знаю;
И я приду, чтоб дать живым ответ,
Чтоб вновь вам указать дорогу к раю,
Сказать, что боли нет.

Не чудо, нет; мой путь не чудотворен,
А только дух пред тайной светлой наг,
Всегда судьбе неведомой покорен,
Любовью вечной благ.

И вы придете все: калека, нищий,
И воин, и мудрец, дитя, старик,
Чтобы вкусить добытой мною пищи,
Увидеть светлый Лик.

/”Руфь”/

Первая книга стихотворений юного поэта была удивительной: дверь Христу открылась. И Он вошел в нее. Воспоминания матери Марии дают возможность представить себе, как оказалось возможным это чудо. ”Это был Рим времен упадка... — писала она о своем времени и о себе в нем. — Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская

снежная пустыня, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающая нас своими восторгами и муками”. ”Мне жалко Христа, — писала она. — Он тоже умирал, у него был кровавый пот... И если понятна Его смерть за разбойников, блудниц и мытарей, то непонятна — за нас, походя касающихся Его язв и не опаляющихся Его кровью”.

Огненный меч разделяет тех, кто открыл дверь Христу, и тех, кто походя касается Его язв и не опалется Его кровью. ”... упоминание Софии — Премудрости Божьей, ссылки на Соловьева, вера в Богочеловечество, — писала м. Мария, — это все одно, а церковность гораздо более понятна и доступна любой старой солопнице, бьющей по воскресеньям поклоны в церкви. Утеряно было главное для этого пути: ”Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное”. Детскости не было, не могло быть, была старческая, все постигшая, охладевшая ко всему мудрость. И церковность стала одной из культурных ценностей, тщательно изученной, положенной в общую сокровищницу культурных ценностей...”

Мать Мария оставила жесткий и точный анализ внутреннего механизма такого *разделения*: ”Постепенно происходит деление. Христос, еще не признанный, становится своим. Черта деления всегда углубляется. Петербург, башня Вячеслава, культура, даже туман, город, реакция — одно. А другое — огромный, мудрый, молчаливый и целомудренный народ, умирающая революция... И еще — еще Христос. Христос — это наше... Чье наше? Разве я там, где Он? Разве я не среди безответственных слов, которые начинают восприниматься как кощунство, как оскорбление, как смертельный яд? Надо бежать,

освободиться”. Вслед за пониманием того, что “для народа нужен только Христос” (“я это знаю”, — писала она в 1914 году) приходит понимание своего дела на Его ниве.

Смотреть в туманы — мой удел:
Вверяться тайнам бездорожья,
И под напором вражьих стрел
Твердить простое слово Божье...

И в предисловьи к книге “Руфь”:

Теперь свершилось: сочетаю
В один и тот же Божий час
Дорогу, что приводит к раю,
И жизнь, что длится только раз.

Она открыла дверь, она *знала*, что Он вошел, ее слова уже дышат этим *знанием*: “Неизбежность заставила меня подняться на высоты. Обреченный не знает: зачем, но ему дано иное знание: так надо.

”Оставив холмы и долину внизу, я видела сроки, и вера моя сливалась со знанием, потому что я могла пересчитать, сколько холмов меня отделяет от них, и могла сверху проследить все изгибы дороги, ведущей к ним...

”Еще по-детски звучит моя земная речь, вновь познаваемая мною, еще случайными спутниками кажутся мне те, кто тоже идет на Восток и кому надлежит пересечь холмы. И мне, забывшей сроков и неслившейся с дорогой, кажется, что сумраком окутана земля, и что ноша моя — необходимый искус, а не любимое дело.

”Если дано мне читать страницы еще несовершенного, если сквозь память о том, что было и что есть,

я не забыла счета холмам и извивам дороги, — то все же смиренно говорю: сейчас трудная цель моя взойти на первый пригорок; оттуда я увижу, как солнце подымается меж холмами; и, может быть, не мне будет дано видеть его восход из-за грани земли, из бездны темной и непознаваемой. Вероятно, что и я, как многие другие, умру, не дождавшись срока, который я видела с высоты. Но близок, близок он.

”Немногие спутники мои, те, кто вместе со мною смотрел, или только верил в мои виденья, на новом языке вспоминаю вас; и вы узнаете меня в новых одеждах: разлука не суждена нам.

”И Ты, обрекший меня и утаивший явное, чтобы тайным осветить разум мой, не оставляй меня, когда длится земной закат, и не ослепляй зора моего, который прозрел по Твоей воле” (“Руфь”).

И еще уточнение (из письма Блоку в 1916 году): ”Особенно трудно сознание, что каждый только в возможности вестник Божий, а для того, чтобы воплотить эту возможность, надо пройти через самый скудный и упорный труд. И кажется мне, что цель — этого достигнуть, ибо наступает сочетание, дающее полную уверенность в вере и полную жизнь. Тогда закон, данный Богом, сливается с законом человеческой жизни”.

Так свершилось это чудо осознания себя в Боге и своего пути в Нем. Верность ему (этому пути) свидетельство истинности чуда, а пророческая точность зафиксированного *предощущения* говорит о благодатности открытого поэту дара.

Когда мой взор рассвет заметил,
Я отреклась в последний раз;

И прокричал заутро петел,
И слезы полились из глаз.

Теперь я вновь бичую тело;
Обречена душа; прости.
Напрасно стать земной хотела, —
Мне надо подвиг свой нести.

Мечтать не мне о мудром муже,
И о пути земных невест;
Вот с каждым шагом путь мой уже,
И давит плечи черный крест.

Под ним паду. В дорожной пыли
Пойму, что нет пути назад;
Сердца бездумные застыли
Под бременем земных утрат.

/”Руфь”, 1916/

Быть может, в этих стихах — перифраз, полемика с Блоком... Судьба поэтов — свидетельство рокового различия их пути. В то время как одни *немели* (“Есть немота — то гул набата/Заставил заградить уста./В сердцах, восторженных когда-то,/Есть роковая пустота...”, Блок, 1914), а другие на долгие годы погружались в сон, в глубокий обморок, ничего не зная о том, удастся ли им от него очнуться, *ожить* (“И через много-много лет/Твой голос вновь меня встревожил./Всю ночь читал я Твой Завет/И как от обморока ожил...”. Пастернак, 1946—53). В *это же самое время* третьи шли путем исповедничества, служения и крестной смерти. Так всегда было. Так и будет. Нельзя только забывать, что *ожившие* от обморока, очнулись по молитве тех,

кто не замолчал и не онемел, кто сумел не уснуть и не провалиться в тот страшный обморок, чья живая кровь, пролитая Христа ради, и дала нам возможность очнуться, ожить. Что сама возможность нашего воскрешения оплачена дорогой ценой.

СЛУЖЕНИЕ

Когда началось *служение* матери Марии — книгой "Руфь", успешными, а порой тщетными попытками спасти людей в разрываемой гражданской войной Анапе, в ночлежках, притонах и сумасшедших домах Франции, на вилле де Сакс и Лурмель, на зимнем велодроме на бульваре де Гренель, в Равенсбрюке?.. Может быть, в последний день марта 1945 года — накануне Пасхи?..

И каждую косточку ломит,
И каждая мышца болит.
О Боже, в земном Твоем доме
Даже и камень горит.

Пронзила великая жалость
Мою истомленную плоть.
Все мы — ничтожность и малость
Пред славой Твоею, Господь".

Мне голос ответил: "Трущобы,
— Людского безумья печать,
Великой любовью попробуй
До славы небесной поднять".

Этот *диалог* записан матерью Марией в 1937 году. Книга "Руфь" была предощущением предстоящего,

открывшейся способностью внимать *голосу*: Анапа взорвалась перед ней обезумевшим миром; Франция обрушилась бездной человеческого несчастья. Положение русских эмигрантов во Франции в ту пору было очень трудным; задача м. Марии (как представителя РСХД) сводилась формально к чтению лекций перед русскими эмигрантами во французской провинции. Она столкнулась с людьми, доведенными до последней степени обнищания, озлобления и апатии; ее "русская география Франции" расширялась с каждым годом. Из одного притона наркоманов в Марселе она вытащила двух несчастных; в пиренейских шахтах ее приезд спас одного шахтера от самоубийства; после потрясших ее многочасовых бесед с врачами и больными в провинциальном сумасшедшем доме ей удалось вызволить оттуда трех человек; в трущобах на парижских окраинах она разыскивала, утешала и поддерживала вконец пропадающих — советом, услугами, пищей; она исчезала на несколько суток из дома, проводила ночи в кафе с бездомными и спившимися людьми... "Опустились? — спрашивала она в одной из статей. — Опустились. Гниют? — Заживо сгнивают. Пьянствуют, развратничают, обманывают, воруют? — Да, да, да. Люди? — До конца и непререкаемо несчастные, беспризорные люди, которых человеческим словом одолеть можно, так что от лжи и разврата ничего не останется".

Но одно дело, помочь сегодня, остановить и спасти, другое — дать возможность укрепиться и выжить. Так возникли *дома*: вилла де Сакс, Лурмель, Нуази ле Гран. Денег не было, найти пожертвователя невероятно трудно, помощников мало. Это могло показаться (и казалось) авантюрой и

безумием, но она дерзала. Она сама обживала помещения, вывозила грязь; в каждом из домов открывались храмы, она сама расписывала стены (церковь в доме на Лурмель, устроенная в брошенном гараже, просуществовала тридцать лет), вышивала иконы (некоторые иконы писала м. Иоанна Ретлингер), шила облачения; ходила на рынок с мешком и покупала за гроши (после оптовой распродажи) остатки, стояла у плиты; сама она жила в чулане, под лестницей (дыра в полу заткнута сапогом — "там живет крыса").

В *домах* жили десятки людей, еще больше могло кормиться (дешево, почти бесплатно). Работали кружки, лекции и доклады читали Бердяев, о. Сергей Булгаков, Федотов... Она бесконечно ходила по французским учреждениям, министерствам, выступала и писала статьи, чтобы привлечь французское общественное мнение к состоянию русской эмиграции — и был принят правительственный декрет об уравнивании (в области здравоохранения) русских эмигрантов с основным населением, о больницах для больных туберкулезом и душевнобольных. (Она сама открыла санаторий для туберкулезных: приобрела усадьбу с большим участком земли, в старом курятнике устроила храм в честь Матери Божией всех скорбящих Радости — наверно, она и сама не смогла бы объяснить где удалось достать на это средства). Ее энергия была невероятна, как невероятна, надо думать, и усталость. "Она не признает законов природы, — писал Мочульский, — не понимает, что такое холод, по суткам может не есть, не спать, отрицает болезнь и усталость, любит опасность, не знает страха и ненавидит всяческий комфорт — материальный и духовный". Когда она,

тем не менее, уставала, "падала духом", как пишет о. Сергей Гаккель, она бралась за физическую работу: мыла, чистила, красила стены, клеила обои...

Постучалась. Есть за дверью кто-то.
С шумом отпирается замок...
Что вам? Тут забота и работа,
Незачем ступать за мой порог.

Дальше. Дальше. Тут вот деньги копят.
Думают о семьях и себе.
Платья штопают и печи топят,
И к привычной клонятся судьбе.

Бескорыстного ль искать меж нами?
Где-то он один свой крест влачит.
Господи, весь мир, как мертвый камень.
Боже, мир, как кладбище, молчит.

"Мы приставлены к малому, — писала она при основании "Православного дела", — и хотим в малом быть верными". Свою деятельность она определила: "мой подвиг убогий".

+

Мать Мария приняла постриг в 1932 году с благословения о. Сергия Булгакова и митрополита Евлогия. Не сразу были преодолены канонические препятствия (два живых мужа, хотя с одним в разводе, а с другим в отчуждении: Номоканон в 14 титулах, 117 новелла имп. Юстиниана допускает развод в случае, если один из супругов желает вступить в монашество). Митрополит Евлогий совершил этот постриг. Едва ли хоть кто-то из присутствующих

мог предположить реальность пророчества о судьбе новопостриженной монахини в словах, произнесенных при пострижении: "Алкати имаше и жаждати, досаду же подаяти и укоризну, поношение же и гонение и иными многими отяготитесь скорбьми, ими же сущий по Бозе живот начертывается. Егда же сия вся постраждеши, радуйся, рече Господь, яко мзда твоя многа на небесех".

В первые же три дня одинокого бдения в церкви мать Мария отказалась от *тайного* пострига, поняла, что не сможет расстаться с монашеским одеянием. Отношение близких ей людей к ее новой жизни было сложным: митрополит Евлогий надеялся, что мать Мария станет основоположницей женского монашества в эмиграции; Бердяев пытался отговорить ее от пострига: "Я думал, — вспоминал он годы спустя, — что это не ее призвание, и что она встретит настолько большие трудности у церковной иерархии, что может быть, ввиду своего непокорного характера, принуждена будет покинуть монашество — что очень тяжело". Но уже скоро митрополит Евлогий понял и с прискорбием констатировал, что обманулся в своих надеждах, а Бердяев с облегчением обнаружил, что постриг не изменил ее "свободолюбивую бунтарскую природу".

Мать Мария уезжает в сохранившиеся на бывшей территории России монастыри Эстонии и Латвии (Пюхтицкий и Свято-Троицкий), ее впечатления достаточно определены: "Никто не чувствует, что мир горит, нет тревоги за судьбы мира. Жизнь размеренна, сопровождается трогательным личным благочестием". Со свойственной ей решительностью она формулирует: "Когда время... само по себе становится вестником апокалиптических свершений,

когда человечество действительно возводится на Голгофу, когда нет путей и нету устроений в мире — можно ли в такую эпоху, в нашу эпоху, принять обычное, традиционное духовное монашество прошлого, как некоторое обязательство для монашеского будущего? Нет, нельзя. И как ни трудно поднять руку на благолепную, прекрасную идею монашеской, отторженной от мира, семьи, на светлый монастырь — все же рука подымается. Внутренний голос требует нестяжания и в этой области... Примите обет нестяжания во всей его опустошающей суровости, сожгите всякий уют, даже монастырский, сожгите ваше сердце так, чтобы оно отказалось от уюта, тогда скажите: "Готово мое сердце, готово"... И кто хочет в наши страшные дни идти единственным путем, уводящим от гибели, — "да отвергнется себе и возьмет крест свой и идет" "

Конфликт с общепринятым церковным отношением к монашеству был неизбежным. Митрополит Евлогий свидетельствует: "... монашества в строгом смысле этого слова, его аскезы и внутреннего делания, она не только не понимала, но даже отрицала, считая его устаревшим, ненужным. Внутренний смысл монашества, его особенный, чисто церковный характер, так мне и не удалось ей разъяснить". (Хотя тот же м. Евлогий сказал однажды м. Марии — они стояли у окна в поезде: "Вот ваш монастырь, мать Мария!"). На такого рода непонимание своего пути мать Мария отвечала: "Путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет... На Страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов, а спросят: накормила ли я голодного, одела ли голого, посети-

ла ли больного и заключенного в тюрьме. И только это спросят. О каждом нищем, голодном, заключенном Спаситель говорит "Я", "Я алкал и жаждал, Я был болен и томился в темнице". Подумайте только: между каждым несчастным и Собой Он ставит знак равенства. Я всегда это знала, но вот теперь это меня как-то пронзило. Это страшно". (Такое "свободолюбивое бунтарство", понимаемое вполне прямолинейно, очевидно, и вызывало сочувствие Бердяева.)

Конфликт этот был, разумеется, не теоретически-богословский и обнаружился в первые же годы ее служения. В сложных и трудных отношениях со своими помощниками и, казалось бы, единомышленниками: с тайной монахиней Евдокией (Мещеряковой), приехавшей в Париж из России в 1932 году (м. Мария работала вместе с ней, долго не зная о ее монашестве); с иеромонахом Львом (Жилле) — священником на вилле де Сакс и Лурмель; в еще более тяжелых отношениях с архимандритом Киприаном (Керном), назначенным на Лурмель постоянным священником в 1936 году. М. Евдокия неизменно посещала все церковные службы, а м. Мария вставала до рассвета и отправлялась на рынок, а потом, *забежав* в храм, уходила варить обед. "Я боялась мать Марию, — вспоминала м. Евдокия, — а я ее раздражала". Одна говорила о "церковной богеме", другая: "Благочестие, благочестие, а где же любовь, двигающая горами? Чем дальше, тем более принимаю, что только она мера вещей. Все остальное более или менее необходимая внешняя дисциплина". Уставное благочестие, христианский максимализм о. Киприана бывали возмущены свободной ситуацией на Лурмель (в постные

дни монашествующим подавали скромное, до позднего вечера оживленные сборища у м. Марии — Бердяев, Мочульский, Федотов, Фондаминский, табачный дым проникал в комнату о. Киприана — он жил над м. Марией, и проч.).

Конфликт действовал на мать Марию удручающе, порой она думала даже бросить все и отправиться скитаться по Франции: "Теперь мне ясно: или христианство — огонь, или его нет. Мне хочется просто бродить по свету и взывать: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное". И принять всякое поношение и зол глагол".

Благочестие одних эмигрантов было возмущено соблазнительным поведением м. Марии, ее деятельность казалась другим — социалистической, даже коммунистической ("для церковных кругов мы кажемся слишком левыми, а для левых — слишком церковными", — писала м. Мария).

"Неужто же мой путь напрасен?" — спрашивала она в минуты отчаяния. Однажды в парижском метро, когда поезд выскочил из черноты туннеля в *ослепительный день*, митрополит Евлогий сказал ей: "Вот видите: ответ на ваш вопрос".

Самым серьезным кажется замечание арх. Льва Жилле (священника, который *не мог не* знать м. Марию): "Монашество ничего существенного не прибавило к ее жизни". Эти слова можно понять только однозначно: постриг был для нее формальностью, ее служение было бы точно таким, останься она в миру (да и уходила ли она из мира?). Неужто, тем не менее, так *ничего* и не прибавило?.. Отец Сергей (Гаккель) цитирует "возражение" м. Марии (оговорившись, что оно "житейское и второстепенное"): "Благодаря тому, что я в монашеском одея-

нии, многое мне доступно и просто... в правительственных учреждениях всюду монахине легче справиться с трудностями, добраться до начальства, обойти волокиту"...

Можно было бы считать, что суровые слова о. Льва и последний комментарий к ним о. Сергия исчерпывают проблему, если бы сама книга о матери Марии, сообщаемые автором факты ее биографии и отрывки из написанного ею, не давали достаточного материала для того, чтобы иначе объяснить существо глубокого и серьезного конфликта, не прибегая за помощью к "житейскому и второстепенному".

+

Все забытые мои тетради,
Все статьи, стихи, бросайте в печь.
Не затейте только, Бога ради,
Старый облик мой в сердцах беречь.

Не хочу я быть воспоминаньем, —
Буду вам в грядущее призыв.
Этим вот спокойным завещаньем
Совершу с прошедшим мой разрыв.

Стихи эти написаны в 1932 году, быть может, они родились в дни первого монашеского бдения в Сергиевском храме — это начало нового пути и черта под прошедшим. Но *новое* вызревало в душе матери Марии всю ее жизнь, начало ему зафиксировано еще в книге "Руфь", процесс шел неостановимо: Господь посылал скорби и мать Мария откликнулась Ему. В 1926 году, у постели умирающей Насти она записала: "Сколько лет, — всегда я не

знала, что такое раскаянье, а сейчас *ужасаюсь ничтожеству* своему. Еще вчера говорила о *покорности*, все считала властной *обнять* и покрыть собой, а сейчас знаю, что просто молиться-умолять я не смею, потому что просто *ничтожна...* (выд. везде м. Марией. — Ф. С.). Рядом с Настей я чувствую, как всю жизнь душа по переулочкам бродила, и сейчас хочу настоящего и очищенного пути не во имя веры в жизнь, а чтобы оправдать, понять и принять смерть. И чтобы оправдывая и принимая, надо вечно помнить о своем ничтожестве. О чем и как не думай, — большего не создать, чем три слова: "любите друг друга". только до конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освящена, а иначе мерзость и тяжесть". И после похорон Насти: "... Это называется "посетил Господь". Чем? Горем? Больше, чем горем, — вдруг открыл истинную сущность вещей, — и увидали мы, с одной стороны, мертвый скелет живого, мертвый костяк, облеченный плотью... мертвенность всего творения, а с другой стороны, одновременно с этим увидали мы животворящий, огненный, все пронизывающий и все попадающий и утешительный Дух. Потом время, — говорят, — целитель, — а не вернее ли "умертвитель"? — медленно сглаживает все. Душа опять слепнет. Опять ворота вечности закрыты... /Но/ человек может каким-то приятием этих иных законов удерживать себя в вечности. Совершенно не неизбежно вновь ниспадать в будни и в мирное устройство будничных дел, пусть они идут своим чередом, сквозь них может просвечивать вечность, если человек не испугается, не убежит сам от себя, не откажется от своей страшной, не только человеческой, но и Бого-человеческой судьбы. То есть от своей личной Гол-

гофы, от своего личного крестошения, вольной волею принятого”.

Новое проникало ее все глубже с каждой встречей с человеческим несчастьем: ”То, что я даю им, так ничтожно, — отмечает она. — Поговорила, уехала и забыла. Но я поняла, почему не получается полных результатов. Каждый из них требует всей вашей жизни, ни больше, ни меньше. Отдать всю свою жизнь какому-нибудь пьянице или калеке, как это трудно”.

Присутствие Бога в душе страждущего и пропадающего открывается ей все несомненной: ”Обращаясь своим духовным миром к духовному миру другого, (человек) встречается со страшной, вдохновляющей тайной подлинного Боговедения, потому что он встречается не с плотью и кровью, не с чувствами и настроениями, а с подлинным образом Божиим в человеке, с самой воплощенной иконой Бога в мире, с отблеском тайны Боговоплощения и Богочеловечества. И человек должен безусловно и безоговорочно принять это страшное Богооткровение, преклониться перед образом Божиим в своем брате. И только когда он это почувствует, увидит и поймет, ему откроется и еще другая тайна, которая требует его самой напряженной борьбы, самого большого его аскетического вдохновения. Он увидит, как этот образ Божий затуманен, искажен, исковеркан злой силой. Он увидит сердце человеческое, где диавол ведет непрестанную борьбу с Богом, и он захочет во имя образа Божия, затемняемого диаволом, во имя пронзившей его сердце любви к этому образу Божьему, начать борьбу с диаволом, стать оружием Божиим в этом страшном и попяляющем деле. Он это сможет, если все его упова-

ние будет на Бога, а не на себя, он это сможет, если у него не будет ни одного самого утонченного корыстного желания, если он, подобно Давиду, сложит с себя доспехи, и только с именем Божиим кинется в бой с Голиафом”.

Она формулирует кратко и четко: ”К плоти брата своего у человека должно быть более внимательное отношение, чем к своей плоти. Христианская любовь учит нас давать брату не только дары духовные, но и дары материальные. Мы должны дать ему и нашу последнюю рубашку и наш последний кусок хлеба...”

Это *понимание* становится, наконец, поэтической формулой:

Что я могу, Вершитель и Каратель?
Я только зов, я только меч в руке,
Я лишь волна в пылающей реке,
Мытарь, напоминающий о плате.

Принятие монашества было для матери Марии итогом всей предшествующей жизни, продуманным, прожитым, единственным выбором.

Все пересмотрено. Готов мой инвентарь.
О, колокол, в последний раз ударь.
Последний раз звучи последнему уходу.
Все пересмотрено, ничто не держит тут.

А из туманов голоса зовут.
О, голоса зовут в надежду и свободу.
Все пересмотрено. Былому мой поклон...
О, колокол, какой тревожный звон.

тования блаженства, — писала она, — сейчас, сию минуту, среди унылого и отчаявшегося мира, мы уже вкушаем это блаженство тогда, когда с Божьей помощью и по Божьему повелению отвергаемся себя, когда имеем силу отдавать свою душу за ближних своих, когда в любви не ищем своего”. И еще уточняла: ”мир думает, — если я отдал свою любовь, то на такое количество любви стал беднее, а уж если я отдал свою душу, то я окончательно разорился, и нечего больше мне спасать. Но законы духовной жизни в этой области прямо противоположны законам материальным. По ним все отданное духовное богатство не только, как неразменный рубль, возвращается дающему, но нарастает и крепнет. Кто дает, тот приобретает, кто нищает, тот богатеет”... Но недостаточно *давать*, писала она, ”надо иметь сердце, которое дает”. И уточняла: ”Для того, чтобы давать, мы должны иметь достаточно глубокое сострадание, чтобы нам прощали наше подаяние. Так как если мы даем по долгу, если милосердны только наши действия, то принимающий наше подаяние одновременно получает также унижение, оскорбление, боль”. И она выписывает из Исаака Сирина: ”Если милостив не бывает выше своей правды, то он не милостив, — то есть, настоящий милостивый не только дает милостыню из своего собственного, но и с радостью терпит от других неправду, и милует их. Кто душу свою полагает за брата, тот милостив, а не тот, кто подаянием только оказывает милость брату своему”...

Мог ли *не* возникнуть конфликт между *таким* отношением к человеку (”человек есть образ и подобие Божие, храм Духа Святаго, нетленная икона Божества”, — формулирует м. Мария — любой чело-

век!), между *таким* отношением к состраданию и милостыни — и отношением благопристойно-благочестивым (а по сути — комфортно-равнодушным)? Он был неизбежен, как неизбежен был и конфликт еще более *взрывчатый* — отношение к церковной свободе. Как мы видели, он возник в первые же годы монашеского служения м. Марии. Очевидно, не мог не возникнуть, ибо его жгучая злободневность несомненна и сегодня. Истоки дерзновенной духовной свободы матери Марии следует искать в ощущении (*знании*) ею неиссякаемой (потому что *не своей*) силы, во *вкушении блаженства* отвержения себя ради ближнего.

Мать Евдокия, которую революция лишила монастырской жизни (монастырь под Гурзуфом, где она спасалась, закрыли в 1929 году), трагически относилась к *невозможности* продолжать монашескую жизнь в Париже (видя ее *только* в уставном традиционном монастырском общежитии). Как уже говорилось, м. Евдокия долгое время пыталась сохранить тайну своего пострига (м. Мария, пригласившая ее работать и жить у себя на вилле де Сакс, неоднократно уговаривала ее принять монашество), опасаясь, что обнародование ее монашества помещает необходимой для монахини сосредоточенности внутренней жизни. А мать Мария говорила о *том же самом* времени: "Наша Церковь никогда так не была свободна. Такая свобода, что голова кружится. Наша миссия показать, что свободная Церковь может творить чудеса. И если мы принесем в Россию наш новый дух — свободный, творческий, дерзновенный — наша миссия будет исполнена. Иначе мы погибнем бесславно".

В оставленном матерью Марией духовном на-

следстве (статьи, стихи, записи в записных книжках) одно из самого драгоценного — редкая способность духовного *перетолковывания*, а такая способность не может быть не благодатной. Способность осмыслить (перетолковать в духовном смысле) случившееся с тобой или ближним, понять неслучайность произошедшего (*посланного тебе*), открыть смысл и предназначение каждой встречи явления или события, убежденность в духовной пользе всего, что с тобой происходит (попущено тебе) ...

Митрополит Евлогий констатировал: "Монашество аскетического духа, созерцания, богомыслия, то есть монашество в чистом виде, в эмиграции не удалось. Говорю это с прискорбием, потому что аскетическое монашество — цвет и украшение Церкви, показатель ее жизненности".

А мать Мария, убежденная конкретным временем и конкретной ситуацией эмиграции в том, что сейчас требуется новый тип монашеского служения, писала: "Перед каждым человеком всегда стоит необходимость выбора: уют и тепло его земного жилища, хорошо защищенного от ветра и от бурь, или же бескрайнее пространство вечности, в котором есть одно лишь твердое и несомненное — и это твердое и несомненное есть крест".

Именно поэтому она настаивала: "Мы можем утверждать, что наша эмиграция религиозно оправдывает себя лишь в том случае, если будет крепко стоять на почве подлинной духовной свободы, если не поддастся соблазнам современных идолопоклоннических религий, если пронесет через свои скитания незапятнанную веру в человека, в его богоподобие, в изначальную и ни с чем не сравнимую ценность человеческой личности. Мы знаем, как попи-

ралась религиозная свобода в прошлом, и попира-
лась силами, внешними для христианства... И поэто-
му особенно мы склонны рассматривать, как нечто
совершенно исключительное и провиденциальное,
тот дар свободы, который мы имеем, и считаем, что
он нам дороже всякого земного благополучия, вся-
кой внешней признанности, всякой укорененности
в жизни. И мы обязаны, во-первых, быть стойкими
и мужественными в защите нашей христианской
свободы как от нападков, совершаемых по злой
воле, так и от нападков, совершаемых по неведению.
Во-вторых, мы обязаны быть достойными нашей
свободы, то есть вместить в нее максимальное твор-
ческое напряжение, раскалить ее самым настоящим
духовным горением и претворить в дело, в неустан-
ное делание любви”.

”Строгий инок” арх. Киприан (Керн) считал
себя вправе вести мать Марию путем традиционного
уставного монашества: строгостью, примером, нази-
данием, бескомпромиссностью неприятия всего
другого. А мать Мария требовала (прежде всего от
себя) четко *отличать* Православие от всех его укра-
шений и одежд: ”В наше ответственное время, при
ответственной задаче, выпавшей на наши плечи,
терпимость к враждебным идеям есть предательство
своей собственной веры. Мы можем кормить голод-
ных, утешать несчастных, вести беседы с инакомыс-
лящими, но никогда и ни в чем, даже в самых мел-
ких вещах, не имеем права служить чуждому пони-
манию Православия. И, главное и центральное в
нем, мы не должны позволять затемнять Христа ни-
какими правилами, никакому быту, никаким тра-
дициям, никакой эстетике, никакому благочестию.
В конце концов, Христос дал нам две заповеди

— о любви к Богу и о любви к человеку. Нечего их осложнять, а подчас и подменять начетническими правилами. И Христос испытывает нас теперь не лишениями, не изгнанием, не утерей привычных норм жизни. Он испытывает нас тем — сумеем ли мы вне прежних условий жизни, без быта, в нашей страшной свободе — найти Его там, где раньше и не думали Его искать”.

Отец Лев (Жилле), знавший мать Марию с первых шагов ее монашеского пути, так и не увидел *никаких* изменений, которые бы свидетельствовали о монашеском устроении ее жизни. А мать Мария с поразительным дерзновением и упорством писала: ”К чему нас обязывает данный нам дар свободы? Мы вне достигаемости гонителей, мы можем писать, говорить, работать, открывать школы, ни на кого не оглядываясь. С другой стороны, мы освобождены и от вековых традиций. У нас нет ни огромных соборов, ни закованных евангелий, ни монастырских стен. Мы безбытны. Что это — случай? Что это — наша житейская неудача? В такую, мол, несчастную эпоху родились? В области жизни духовной нет случая и нет удачных и неудачных эпох, а есть знаки, которые надо понимать, и пути, по которым надо идти. И мы призваны к великому, потому что мы призваны к свободе”.

Как отнестись к такого рода словам (а еще более — к их пафосу) — как к интеллигентскому либерализму, всего лишь чуждому церковности, или как к дерзновению христианина, которому монашеское устроение открывает подлинную свободу жизни во Христе?

Отец Сергей (Гаккель), цитируя ”возражение” матери Марии тем, кто не мог ее понять, считает

аргументом в ее "защиту" использование ею монашеского одеяния всего лишь как средства для успешного достижения благотворительных целей. А мать Мария раскрывает смысл своего служения (а еще вернее — *устроения*) совсем по-другому: "Свобода призвала нас юродствовать, наперекор не только врагам, но и друзьям, строить церковное дело именно так, как его всего труднее строить. И мы будем юродствовать, потому что мы знаем не только тяжесть этого пути, но и величайшее блаженство чувствовать на своих делах руку Божью".

Пытаясь разъяснить себе и растолковать другим истинную суть приводившего ее в отчаяние конфликта, мать Мария пишет пьесу-мистерию "Анна", в которой конфликт между двумя монахинями (Анной и Павлой — духовной свободой и традиционным благочестием), встреча Анны с отдавшимся дьяволу скитальцем — литературно-символически передает весь комплекс ее вполне реально-конкретных размышлений. Скиталец не может соблазнить Анну — ни властью, ни богатством, ни красотой. Но она совершает невероятное: ценной *вечного осуждения* добровольно принимает на себя страшный грех отдавшегося дьяволу несчастного человека — *спасает* его. И зло отступает: ад не вмещает любовь и самоотвержение, — замечает о. Сергей (Гаккель), комментируя пьесу-мистирию м. Марии.

К сожалению, опыт показывает, что понять Истину в литературе, принять Христа, как символ и метафору, значительно проще, чем суметь увидеть Его в жизни, в *другом*. Узнать Его в ближнем. Увидеть, узнать и шагнуть Ему навстречу. Чем иначе объяснить непонимание, недоверие и осуждение матери

Марии людьми близкими и хорошо ее знавшими? И это при том, что убежденность в верности избранного пути, никогда не становилась у матери Марии фанатизмом, не затемняла любви к *другому*. "Нельзя осуждать идущих... другими путями, — писала она, — условными, нежертвенными, не требующими самоотдачи, не открывающими всей тайны любви. Но и молчать о них тоже нельзя".

Не осуждать. Но и *не молчать*. Ибо верность Христу дает возможность и тем, кто вне Его, увидеть и почувствовать — единую спасительную непреходимую красоту и непреложную истинность этого непостижимо трудного пути.

"Удастся ли нам воплотить наши чаяния, мы не знаем, — писала мать Мария. — В основном это дело Божией воли. Но, помимо Божией воли, Божией помощи и благодати, и каждому из нас предъявляются требования — наперечь все свои силы, не бояться никакого самого трудного подвига, аскетически, самоограничиваясь, жертвенно и любовно, отдавая душу свою за други своя, идти по стопам Христовым на нам предназначенную Голгофу".

+

Мы перечитываем книгу о матери Марии еще и еще раз, и нас не может не поразить providенциальность (иначе не скажешь) подаренной нам *встречи*. Да, наш тяжкий опыт и наша сегодняшняя ситуация принципиально иные: у нас нет той "страшной свободы", которая для парижской эмиграции в тридцатые годы была соблазном для одних, безумием для других, питательной средой для комфортного устройства третьих. Но разве наше предельно *счастливое* для христианина время (а тем более для рус-

ского православного человека, осознающего сегодня опыт просиявшего нашу Церковь мученичества) не становится, тем не менее, основанием и для соблазна, и для безумия, и для комфортно-формального благочестия? Различие временное не способно затемнить для нас значительно более существенное *сходство* непреходящей злободневности, открываемое этой *встречей*.

У нас нет монастырей (они закрыты не только в Гурзуфе, но по всей России), а оставшиеся (несколько монастырей) влачат жалкое существование, хотя и привлекают тысячи паломников (с каждым годом их число увеличивается). Но разве это может означать конец русского православного монашества — цвет и украшение нашей Церкви? Быть может пора осмыслить (духовно перетолковать) *всего лишь* трагический факт уничтожения монастырей — в чем смысл такого *позволения*?.. Едва ли анализ конкретно-исторической ситуации способен ответить на такой вопрос, его следует сформулировать иначе, словами матери Марии: может ли в нашу эпоху, когда время само по себе становится вестником апокалиптических свершений, традиционно-монастырское монашество быть обязательным для монашества сегодняшнего, может ли оно оставаться неизменным, чтобы быть цветом и украшением Церкви?.. Тот, кто найдет в себе духовные силы на подвиг такого осмысления, сможет сформулировать представление о новом типе современного нам (и такого предельно-важного для России — оно есть у нас!) монашеского устройства в миру (тайного и открытого), в котором нестяжание и отвержение себя становится действительно полным: кто хочет в наши дни идти

единственным путем — ”да отвергнется себе и возьмет крест свой и идет”.

Наши пастыри (и архипастыри), поставленные сегодня волею обстоятельств в уникальную для России ситуацию (полное бесправие, зависимость от атеизма, злонамеренно-лицемерно ставящего их в невыносимое и дискредитируемое положение), умноженную традиционными грехами исторического православия, могут привести в отчаяние и не столь слабые души. Но разве они (пастыри и архипастыри) лишены возможности ответить на эти вынужденные условия и вынужденные обстоятельства дерзновением христианина, о котором говорила в свое время мать Мария, знающего, что и в прошлом, всегда религиозная свобода попиралась, и тем не менее, не способного забыть, что дар христианской свободы дороже для нас всякого земного благополучия, всякой внешней признанности, всякой укорененности в жизни. Перед человеком всегда стоит возможность выбора — уют земного жилища или бескрайний простор вечности. А в нем одно твердое и несомненное — крест. Или христианство огонь — или его нет.

Комфортное благочестие всегда привлекательно для человека, только литературно-метафорически помнящего о крестных муках Спасителя; для того, кому удобнее остаться лояльным ко всякому злу, укрывшись за частоколом традиционно-уставного представления о смирении и послушании. Но разве хоть что-то способно помешать нам всегда знать о *второй заповеди* так, как знала о ней мать Мария — о нищих, больных и страждущих в узах, затмить веру в богоподобие человека и ни с чем не сравнимую ценность человеческой личности, помнить,

что Христос в *каждом* несчастном ждет, когда мы придем к Нему? Разве нам не дано увидеть *как* затуманен, искажен, исковеркан образ Божий в наших ближних, какая неравная борьба идет в их сердцах? Что способно помешать нам вмешаться, помочь в этой борьбе, зная, что у нас нет ничего, кроме имени Божьего, чтобы кинуться в бой с Голиафом?

Ничто не способно помешать нам относиться к плоти брата своего внимательнее, чем к своей. Никакие запреты, условия, обстоятельства и положение. Никакой атеизм. Трудно? Конечно, трудно, но мы помним, что тот, кто дает — приобретает, кто нищает — тот богатеет. Если милостивый выше своей правды, если он с радостью терпит от других неправду и готов душу положить за брата.

У нас нет огромных соборов, монастырей, книг, печатных станков, а за проповедь слова Божия грозят узы. Но разве это — случай, наша житейская неудача, в несчастную эпоху родились? Нет удачных и неудачных эпох в области духовной жизни, — говорила мать Мария, — надо понять произошедшее, постичь его высший смысл и выбрать единственный путь, которым следует идти.

Нельзя осуждать тех, кто выбрал другой путь — условный, нежертвенный, не способный открыть тайну любви к ближнему. Но и молчать о них тоже нельзя. А потому мы не можем, права не имеем — ни в чем, в самых мелких вещах служить чуждому пониманию Православия, стремлению (вольному или по неведению) затемнить Христа никаким правилами, никакому быту, никакой традиции и эстетике, никакому благочестию.

Христос испытывает нас — сумеем ли мы в наших

условиях и наших обстоятельствах, в нашей, по-своему уникальной для христианина ситуации — найти Его, ответить Ему, шагнуть Ему навстречу, остаться с Ним.

Это немислимо трудно, но мать Мария протягивает нам руку и мы можем на нее опереться.

”Есть два способа жить, — писала она в 1934 году, — совершенно законно и почтенно ходить по суше — мерить, взвешивать, предвидеть. Но можно ходить по водам. Тогда нельзя мерить и предвидеть, а надо только все время верить. Мгновение безверия — и начинаешь тонуть”.

Да, это замечательная книга, можно выписывать и выписывать из нее, повторяя сказанное полвека назад, как родившееся сегодня. Но книга — всего лишь печатное слово, *литература* (стихи, публицистика, размышления...) Всего лишь... Если бы она (эта книга) не открывала нам завершение земной судьбы матери Марии.

КРЕСТ

Человек живет двумя жизнями — внешней и внутренней, они редко сливаются, но еще более редко это слияние становится внятнм постороннему взгляду. Едва ли кто-то из людей знавших мать Марию не отдавал должное ее доброте, энергии, самоотвержению. Но даже близких ей людей смущало кажущееся им несоответствие внешних проявлений открывавшемуся им мирочувствию и мироощущению. Несоответствие их собственным представлениям о том, какими они должны быть. Они смущались и не верили. Не понимали и отталкивались.

Предпочитали *законно* и *почтенно* ходить по суше — мерить, взвешивать, предвидеть. А она уже ходила *по водам*, зная, что мгновение безверия — и начнешь тонуть. Это были разные миры, разделенные огненным мечом истинной веры. Христос вел мать Марию от одного испытания к другому, еще более горшему. Открылся ей, в ней остался. И она приняла Его в сердце своем. Приняла навсегда. Поверила Ему и Его полюбила. А потому все, что с ней, ее близкими — вокруг нее происходило, стало для нее проявлением Его воли. Проблемы теодицеи, становящиеся камнем преткновения для "русских мальчиков" и либеральной интеллигенции, перед ней не возникали — как бы они могли возникнуть, если она любила Его, если видела Его в каждом страждущем рядом, а Его волю чувствовала и понимала в том страшном поущении, которое опускалось на мир?..

Она это чувствовала, понимала, а потому продолжала свое дело, не отступая ни на шаг, потому что измена своему делу была бы изменой Христу, Которого она уже знала в себе. Поэтому, когда мы приближаемся к последним годам ее жизни и служения, то прежде всего видим все *ту же* мать Марию — что могла изменить в ней оккупация, бесчинства нацизма, угроза ей или ее близким?

В любые кандалы пусть закуют, —
Лишь был бы лик Твой ясен и раскован.
И Соловки приму я, как приют,
В котором ангелы всегда поют.
Мне каждый край Тобою обетован.

Мечта о России была для нее мечтой о крестной смерти: "Мне более лестно погибнуть в России, чем

умереть с голоду в Париже”. ”Я поеду после войны в Россию, — мечтала она, — нужно работать там, как в первые века христианства — проповедовать имя Божие служением, всей своей жизнью”. Но ей был уготован другой лагерь, *обетован* другой *приют*.

Смерти она не боялась: она уже встречалась с ней и *знала* ее. ”Я не только к Отцу хочу в вечность, — писала она в статье ”Рождение в смерти”, — я хочу нагнать моих любимых братьев и детей, которые уже родились в смерть, то есть в вечность, я хочу вечного и неомраченного свидания с ними. И если это свидание будет, — а я знаю, что оно будет, — то все остальное не так уже и важно. Бухгалтерская книга жизни будет подытоживаться не здесь, когда она еще не вся заполнена, а там. И в расходе будут стоять только две статьи: два рождения, или, вернее, две смерти человека, а в приходе будет одно слово: ’вечность’ ”.

Она оставила нам поразительное *переживание* Пасхи, зафиксированное ею уже во время войны, когда страшная ночь опустилась на Европу: ”Вот сейчас, в данную минуту, я знаю, что сотни людей встретились с самым серьезным... — со смертью, я знаю, что тысячи и тысячи людей стоят на очереди. Я знаю, что матери ждут почтальонов и трепещут, когда письмо опоздает на один день, я знаю, что жены и дети чувствуют в своих мирных жилищах дыхание войны. И, наконец, я знаю, всем своим существом знаю... что в эту минуту Бог посещает Свой мир. И мир может принять это посещение, открыть свое сердце... — и тогда мгновенно соединится наша временная и падшая жизнь с глубиной вечности, тогда наш человеческий крест станет подобием креста Богочеловеческого, тогда в самой

нашей смертельной скорби увидим мы белые одежды ангела, который нам возвестит: Его, умершего, нет во гробе. Тогда человечество войдет в Пасхальную радость воскресения. Или... Может быть даже не будет хуже, чем было, будет только так, как было. Еще раз, — который уже, — пали, не приняли, не нашли путей преображения. Старая, пыльная, скорбная земля в пустом небе несется в вечную пустоту. Мертвенное человечество радуется малым удачам и огорчается малыми неудачами, отказывается от своего избранничества, кропотливо и усердно натягивает на свою голову крышку гроба”.

Или принять *посещение* Господа, открыть Ему сердце — и тогда наша временная падшая жизнь мгновенно соединится с глубиной вечности, а наш человеческий крест станет подобием креста Богочеловеческого, или — отказаться от своего избранничества, радоваться малым удачам и огорчаться малыми неудачами, нестись вместе с пыльной землей в пустом небе — усердно натягивать на себя крышку гроба...

Дом на Лурмель жил своей обычной размеренной жизнью: просто все меньше и меньше становилось продуктов, а число нуждающихся в них все увеличивалось; просто человеческие несчастья становились все более острыми и все более неутешными, а помощь людям была сопряжена уже с опасностью для собственной жизнью. Одна за другой следовали все новые и новые ограничения для русских в зоне оккупации, тысячи арестованных эмигрантов отправляли в Компьенский лагерь; в доме на Лурмель регулярно собирали продовольственные посылки для заключенных в Компьень от имени Лур-

мельской церкви, служба в которой не прекращалась; сами собой устанавливались связи с группами Сопротивления — прятали людей в Париже и Нуази, кормили их и переправляли в "свободную" зону. Оккупационные власти все более внимательно присматривались к происходящему на Лурмель, появлялись люди, явно или неявно связанные с нацистами — мать Мария не хотела иметь с ними никакого контакта и не скрывала своего отвращения. К этому времени (с сентября 1939 года) на Лурмель был назначен новый священник, настоятель церкви о. Димитрий Клепинин — духовный сын о. Сергия Булгакова, необычайно добрый, скромный, спокойный, смиренный, непоколебимый "когда вопрос касался Христовой Истины". Матери Марии было легко с ним и она могла во всем на него положиться.

Сколько могла продолжаться *та же самая* жизнь на Лурмель — до первого случая, *повода*? Взрыв произошел в самой болевой точке и он никак не был "поводом", но просто постоянное нарушение режима превысило терпение оккупированных властей. Конфликт был неизбежен и мать Мария не могла отступить, пройти мимо, *не заметить*.

Обязательная регистрация евреев резко увеличила количество людей, приходящих на Лурмель с просьбой о выдаче им справок о крещении. Отец Димитрий предпочитал рисковать своей жизнью, но не отказывал никому и не допускал вмешательство посторонних в это свое право. В марте 1942 года канцелярия Эйхмана приняла решение, обязывающее евреев Франции носить желтую звезду Давида. Это было сигналом радикального решения проблемы.

Мать Мария написала стихи, широко распространявшиеся в Париже:

Два треугольника, звезда,
Щит праотца, царя Давида, —
Избрание, а не обида,
Великий путь, а не беда.

Знак Сущего, знак Егovy,
Слиянность Бога и творенья,
Таинственное откровенье,
Которое узрели вы.

Еще один исполнен срок.
Опять гремит труба Исхода.
Судьбу избранного народа
Вещает снова нам пророк.

Израиль, ты опять гоним.
Но что людская воля злая,
Когда тебя в грозе Синая
Вновь вопрошает Элогим?

И пусть же ты, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научишься душою вольной
На знак неволи отвечать.

”Нет еврейского вопроса, есть христианский вопрос, — говорила мать Мария. — Неужели вам непонятно, что борьба идет против христианства? Если бы мы были настоящими христианами, мы бы все надели звезды. Теперь наступило время исповедничества. Большинство соблазнится, но Спаситель ска-

зал: Не бойся, малое стадо". И она формулировала высокий духовный смысл конфликта: "освобожденная от союза с государством и гонимая Церковь видит рядом с собой некогда побежденную сестру, церковь ветхозаветную, также гонимую... Она рядом, перед тем же мучителем. Между ними волею внешнего мира создается новый и таинственный союз".

Духовное прочтение происходящего давало ей возможность подняться еще выше: "Сын Давидов, — писала она, — непризнанный своим народом Мессия, распинается сейчас вместе с теми, кто некогда его не признавал".

Благослови, Владыко, подвиг наш.
Пусть твой народ, пусть первенец твой
мильй

Поймет, что крест ему и рай и страж,
И что стоим мы у одной могилы.

Благослови, благослови, Иисус.
Вот у креста Твои по плоти братья.
Вот серный дождь, и мор, и глад, и трус.
Час заново священного распятия.

В июле 1942 года в Париже были произведены массовые аресты среди еврейского населения, около семи тысяч человек (четыре тысячи детей) были загнаны на зимний велодром на бульваре де Гренель. Не было воды (один кран на всех), родители не могли заботиться даже о собственных детях, которых в конце концов отделили и отправили в Освенцим. Матери Марии, благодаря монашескому одеянию, удалось проникнуть на велодром, она

провела там три дня, поддерживала, утешала, каким-то образом доставала провизию. Рассказывают, что ей удалось устроить побег четверых детей (они были вынесены в мусорных ящиках и спасены). В доме на Лурмель теперь скрывалось множество людей (во флигеле, в сарае, спали на полу)... "Мы слабые, грешные, выброшенные из нормальной жизни, призваны, как каждый христианин призван, всегда и везде защищать обижаемых, клеймить насилие, отрицать ненависть, — писала мать Мария. — Мы призваны к свободе и любви".

8 февраля 1943 года в доме на Лурмель гестаповцы схватили сына матери Марии — Юру Скобцова (м. Мария уехала на сутки в деревню), заявив, что берут его как заложника и выпустят, когда явится мать Мария. Вызванный на другой день в Гестапо, о. Димитрий отслужил Литургию (последнюю свою Литургию на свободе) в устроенном им скромном приделе, посвященном св. муч. Филиппу, митрополиту Московскому. Его допрашивали четыре часа и предложили свободу, если он откажется впредь помогать евреям. Он показал свой наперсный крест с изображением Распятия: "А этого Еврея вы знаете?" — спросил о. Димитрий. Ему ответили ударом в лицо.

Вернувшуюся 10 февраля мать Марию долго допрашивали, обыскали и приказали ей собираться. Софии Борисовне Пиленко было сказано: "Вы дурно воспитывали вашу дочь, она только жидам помогает!" — "Моя дочь настоящая христианка, — ответила София Борисовна, — и для нее нет ни элина, ни иудея, а есть несчастный человек. Если бы и вам грозила беда, то и вам помогла бы". Мать Мария улыбнулась: "Пожалуй, помогла бы..." На другой

день Софии Борисовне сказали: "Вы больше никогда не увидите вашу дочь".

Для матери Марии начался ее *царский* путь.

+

О последних двух годах жизни матери Марии известно не много. Отец Сергей Гаккель цитирует письма (их мало) матери Марии, Юры Скобцова, о. Димитрия Клепинина, ссылается на воспоминания немногих оставшихся в живых узников. Что еще может быть известно?

Сначала парижский форт Ромэнвиль: "Гуляем два раза в день, — писала на Лурмель мать Мария, — отдыхаем, у нас много свободного времени. Вы несчастнее нас". Все, кто ее видел там, говорят, что она была весела и приветлива. Потом — Компьень, где она в последний раз, накануне отправки в Германию, встретила с сыном. Юре удалось пробраться через проволоку в женский лагерь и он пробыл с матерью от сумерек до рассвета. "Когда они прощались, при восходе солнца, — пишет о. Сергей Гаккель, — мать указала на рассвет — символ того света, к которому они должны стремиться". Юра писал потом, что она была в замечательном состоянии и говорила, что за нее не нужно волноваться.

Все эти месяцы заключения (Компьень, а потом Бухенвальд) Юра был вместе с о. Димитрием. "Мы каждый день служим литургию и причащаемся", — писал Юра из Компьеня. По дороге в Компьень эсэсовец ударил о. Димитрия, называл "иудэ"; Юра плакал, а о. Димитрий его утешал: "Христос претерпел большие издевательства". Юра был счастлив жизнью вместе с о. Димитрием, писал, что ни на

что не может пожаловаться, что благодаря ежедневным литургиям вся жизнь преобразилась, что о. Димитрий готовит его к священству. ("Надо уметь и стараться познать волю Божию, — писал Юра, — ведь это меня всю жизнь влекло и, в конце концов, только это и интересовало, но запершалось парижской жизнью и иллюзиями на "что-то лучшее", как будто может быть что-то лучшее"). Известно, что в Бухенвальде о. Димитрий и Юра (наголо стриженные, в полосатых халатах, таких же куртках и штанах) были здоровы и спокойны. Их перевели в Дору на подземные военные заводы, условия там были ужасающие. С разницей в несколько дней (6–10 февраля 1944 года) их отправили в крематорий. Отец Димитрий был на двенадцать лет моложе матери Марии, Юре шел двадцать четвертый год. Он писал в последнем своем письме, еще из Компьеня: "... Я абсолютно спокоен, даже немного горд разделить мамину участь. Обещаю Вам с достоинством все перенести. Все равно, рано или поздно, мы все будем вместе. Абсолютно честно говоря, я ничего больше не боюсь: главное мое беспокойство это Вы, чтобы мне было совсем хорошо, я хочу уехать с сознанием, что Вы спокойны, что на Вас пребывает тот мир, которого никакие силы у нас отнять не смогут. Прошу всех, если кого чем-либо обидел, простить меня. Христос с Вами!"

Мать Марию отправили в Равенсбрюк (три дня в запломбированных вагонах для перевозки скота, без воды). Она пробыла там два года. "Она никогда не бывала удрученной, никогда, — вспоминает одна из узниц. — Она никогда не жаловалась... Она была веселой: действительно веселой..."; "она оказывала огромное влияние на всех нас, каковы бы ни были

наши национальность, возраст, политические убеждения — все это не имело никакого значения... Мать Марию обожали все”, — пишет другая узница.

Порой ей удавалось освободиться от тяжелых работ (тогда она работала в трикотажной мастерской), порой приходилось укатывать улицы примитивным каменным катком. Она рассказывала узникам о своей работе на свободе, о Православии, о России и ее будущем, читала Евангелие (пока оно у нее было); при первой возможности пробиралась в чужие бараки (с особенной радостью — к русским). ”Не знаю, что именно говорила им мать Мария, но она так говорила с ними, что они уходили просветленные”, — вспоминает одна из узниц.

Вот рассказ матери Марии, который запомнила еще одна узница: ”Я ходила между рядами до переклички, чтобы согреться немного. Заговорила с одной русской и не заметила эсэсовку, которая на полуслове оборвала меня, больно ударив ремнем по лицу. Я договорила начатую фразу по-русски, не глядя на нее. У меня было такое чувство, будто ее и нет передо мной”.

Она делилась всем, что у нее было (и тем, что выдавали, и тем, что ей приносили). Оставшийся хлеб обменивала на нитки и вышивала изображение Божией Матери, держащей Младенца Христа — распятого на кресте. ”Если я ее (икону. — Ф. С.) успею закончить, она мне поможет выйти живой отсюда, а не успею — значит умру”, — говорила она.

Она не успела ее закончить. С каждым месяцем условия существования в лагере становились все более невыносимыми. ”Она достигла предела человеческих сил”, но ее не покидало чувство юмора, она смеялась над своей слабостью, ”она всегда улы-

балась, если говорила с кем-нибудь”. ”Я глубоко уверена, — сказала она однажды, — что может быть мы не выйдем, а нас вынесут, но живыми мы все же останемся. Это несомненно”.

Ее перевели в ”Югендлагерь” (миниатюрный лагерь смерти, снабжающий крематорий и газовые печи), выжить там в течение пяти недель было невысказано, но она выдержала. Ее вернули в главный лагерь. Администрация лагеря делала все, чтобы справиться с перенаселением Равенсбрюка, содержание заключенных было чудовищным (хлеб до шестидесяти граммов), два раза в день перекличка (по пять часов под открытым небом), отобрали одеяла, пальто, ботинки, чулки... ”Смерть уже отметила ее”, от нее остались кожа и кости, она едва передвигала ноги. Какое-то время ее скрывали от ”медицинских селекций” (отбор для ”Югендлагеря” и газовых камер, жест хлыстом был приговором).

В Великую Пятницу 1945 года ее не удалось спрятать. По одной из существующих версий она пошла на смерть добровольно — вместо одной из узниц, по другой — была отправлена после ”селекции” из-за своего физического состояния.

Приехали грузовики, приказали не брать вещей, приказали снять очки. Когда она запротестовала — очки с нее сорвали. Она и так уже еле держалась на ногах, снова попав в ”Югендлагерь” могла только ползти. 31 марта, в канун Пасхи ее отправили в газовую камеру. Через два дня после ее гибели началось освобождение заключенных, вывезенных из Франции.

+

Господь мой, я жизнь принимала,
Любовно и жарко жила.

Любовно я смерть принимаю.
Вот налита чаша до краю.

К ногам Твоим чаша упала.
Я жизнь пред Тобой разлила.

Трубы лагерного крематория постоянно извергали черный дым. Мать Мария как-то сказала: "Только здесь над самой трубой клубы дыма мрачны, а поднявшись ввысь, они превращаются в легкое облако, чтобы совсем развеяться в беспредельном пространстве. Так и души наши, оторвавшись от грешной земли, в легком неземном полете уходят в вечность для этой радостной жизни".

Она попросила одну из узниц выучить наизусть слова, чтобы передать их митрополиту Евлогию, о. Сергию Булгакову и Софии Борисовне Пиленко: "Мое состояние сейчас это то, что у меня полная покорность к страданию, и это то, что должно быть со мною, и что если я умру, в этом я вижу благословение свыше".

Можно ли хоть как-то комментировать то немногое, что нам известно о последних месяцах и днях матери Марии?

+

Христианину в России много дано. Именно потому с него спросят полной мерой. Мы любим вспоминать о том, что Господь не дает креста не по си-

лам, но лукавая человеческая мысль склонна преуменьшать силы собственные, забывая, что Господь знает о нас лучше. А потому следует не торговаться, а принимать с радостью все, что нам посылается, благодарностью отвечать на Божие о нас помышление. Слава Богу за все!

1981, ноябрь.

Памяти Е. Д. К.

РАССКАЗ О ПОГРЕБЕНИИ ИЛИ КРЕСТ ДЛЯ ПРОКУРОРА

"Семьдесят седми́н определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Свя́тый святых. Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седми́н и шестьдесят две седми́ны; и возвратится на род и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седми́н предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седми́на, а в половине седми́ны прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя".

Дан. 9, 24–27

Глава первая

1

Они заняли город.

Город был потайной и состоял из полутемных пустых квадратов.

Серых квадратов, в которых метались серые фи-

гуры. Кто они? Бандиты, оккупанты, каратели? И что это за место, разделенное на полутемные квадраты? Город под землей? Имение? Дача? Незаселенный дом?

Почему у этих людей одинаковые лица и одинаковые фигуры? Спортсмены в серой униформе.

Они суетливо и жадно роются в сундуках и ящиках. Они не видят меня, они уверены, что город пуст...

Я открываю глаза, и пустой город, стремительно отдаляясь, скрывается за гранью видимого моими глазами пространства. От него остается только знание, что он был и есть.

Это похоже на обыск, начинаю я вглядываться в только что виденный сон. А спортсмены, похожие друг на друга, напоминают мне прокурора Петрушу, нашего школьного дружка. Он должен вот-вот прийти, он, наверняка, уже узнал, что умерла Варвара.

Варвара Федоровна, Вавочка, Варенька — невеста Петруши — умерла сегодня в полночь и все еще лежала в своей кровати. Прошло всего несколько часов с того момента, как она вздохнула в последний раз и отдала Богу душу.

Душа ее боялась смерти, и этот страх удерживал и мучал ее. Теперь мне казалось, что я видела, как душа, почувствовав близость своего исхода, стала спешно готовиться к нему, собираться воедино, собирать все частицы свои, разбросанные в разных концах Вавочкиного существа. И вот с той минуты, как душа приготовилась, она и стала так ужасаться и трепетать. Дыхание Варвары сделалось редким, очень редким и трудным, словно бы тело ее уже

было оставлено душой и поэтому дышать ему было незачем и нечем.

Молоденький доктор из неотложки хлопотал возле Варвары, мерял давление, температуру, делал уколы.

Когда же душа ее наконец освободилась и легкое облачко вылетело вместе с последним, и уже ненужным Варваре, воздухом, доктор тихо и сокрушенно вздохнул.

— Отмучалась, — сказал он неуверенно и спросил: — в морг?

Лучше бы в морг, пробормотал во мне ужас. Подальше бы. Он уйдет сейчас, а я с ней должна остаться, да и не Варвара это уже...

Что ты, какой морг! — услышала я в себе другой, более решительный голос.

— Нет, нет, ни в коем случае...

— Ну, как знаете, — доктор направился к двери и при выходе спросил, — Варвара Федоровна — матушка ваша?

Вопрос был ненужным, доктор сам почувствовал это и смутился. Не дожидаясь ответа, он спустился на несколько ступенек по лестнице и подошел к лифту.

— Не матушка, нет, — сухо отрезала я, — она старше меня всего на...

Скрежет открываемой двери лифта не позволил доктору услышать мой ответ.

Мы остались с Варварой одни в ее большой квартире, уставленной антикварной мебелью, увешанной дорогими картинами, иконами, полками с редкими книгами.

Я не пошла к ней, а забилась в самую дальнюю комнату.

Вдруг она не умерла, врач судя по всему — новичок, и не смог отличить смерть от летаргического сна? Он явно ничего не смыслит, актерствует, и конечно, не знает, что такое смерть.

Господи, только Ты знаешь, что такое смерть! Может ли это быть, чтобы она умерла так неожиданно и легко, совсем не готовясь, не ожидая смерти? "Я умирлаю" — с трудом выговорила она, когда ощутила стремительное и страшное исчезновение жизни в себе. Это называется криз, кризис, внезапно нарушился порядок течения жизни, кровь и плоть ее оказались готовыми к смерти...

Серые прекрасные глаза Варвары стали вдруг жиденькими, выцветшими, незрячими, и она, так любившая красоту и силу, узнала тотчас, что глаза ее угасают. Она не захотела их открывать.

"Варя, открой глаза сейчас же, — просила я, — не спи, слышишь", — трепала я ее по щеке.

"Я умираю..."

Зачем же, Господи? Ты один знаешь, зачем.

Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, — сказал Ты тому, кто хотел похоронить своего отца вместо того, чтобы следовать за Тобой.

Значит, я должна отдать ее в морг, где лежат тысячи мертвецов?

Они валяются, как книги перед костром, сброшенные в гигантские кучи... Их сожгут, как только кто-то ленивый выползет из своей норы, чтобы высечь наконец огонь и зажечь костер.

Кого Ты посылаешь сжигать трупы? Самого жалкого или самого сильного? Почему он пережил других, тех, что должен сжечь? Ты ждешь, пока он проснется, сжигая изо дня в день смерть? И вскинет вверх к Тебе свои дрожащие трусливые руки. "На-

конец-то!” — скажешь Ты и пошлешь ему смерть как благо.

Я не отдам ее в морг, не только потому, что там нет больше места. Ты ведь знаешь, что земля наша устала принимать трупы. Поэтому мы строим гигантские печи, где сжигаем друг друга.

Но прокурор мог бы достать место для Варвары в морге.

Я не смогу отдать ее в морг. Я должна приготовить ее к погребению.

Ты сказал, что ту, которая приготовила Тебя к погребению, мы будем помнить столько, сколько будет стоять наш мир.

Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а живые пусть воскрешают мертвых.

Мертвых любить легче, чем живых. Но та женщина, которая приготовила Тебя к погребению, приготовила Тебя к воскресению.

2

Что это?

Какой-то стук, словно Варвара движется сюда в эту дальнюю комнату, опираясь на палку.

Я сжимаюсь от страха, погружаясь в страх, меня больше нет, я погребена, закопана в землю. Землю страха. Но прежде чем окончательно исчезнуть в этой бездне, я, отрываясь усилием воли от адски холодного и вязкого дна, всплываю наверх.

Никакого стука нет, да и не было его. Верней всего, соседи вбивают гвоздь в стену, и этот звук, ритмичный, аккуратный, даже мелодичный напомнил мне стук Варвариной палки. Странные соседи,

они любят вбивать гвозди по ночам, когда за стеной у них — покойник...

Варвара стала с возрастом чуть кривобокой, оттого что опиралась на палку и волочила больную ногу. Нога была тоньше, суше здоровой, Варвара щадила ее. Перед моими, все еще закрытыми, глазами возникла нескладная кривобокая фигура длинной, худой Варвары с лиловыми волосами. "Я покрасила их чернилами", — объяснила она в ответ на мой недоуменный взгляд. "Эксперимент. Дурно выполненный. Перелила чернил".

Ее чуть хриплый прокуренный голос пророкотал у самого моего уха. Варвара любила смеяться над собой, голос ее всегда почти был насыщен иронией, насмешкой, они словно бы должны были скрыть хрипоту ее голоса, на самом же деле подчеркивали ее.

"Я — романтическая баба с чернильными волосами", — радовалась она своей необычности, экстравагантности, своим чудачествам.

Надо позвонить Леонтию, Назарову, прокурору, кому уще? Нет, позвоню только Леонтию, а он сам пусть всех обзванивает.

Как плохо, что нет Сашеньки — любимца Варвары. Она так тосковала о нем и еще сегодня вечером два или три раза спросила: "Как ты думаешь, когда придет Саша? Неужели он не вернется?" "почему не вернется?" — удивилась я. — "Он поехал к своему наставнику", — с неохотой объяснила Варвара, и я вспомнила, как она уже однажды мне говорила о том, что Саша собирается уйти в монастырь и хочет куда-то поехать, разузнать, возможно ли это.

Я тихо, на цыпочках пробралась на кухню и только хотела отключить телефон, чтобы перенести его

из кухни к себе в комнату, как заметила, что штепсель был вынут из розетки. Кем? Вот почему не было звонков. Кто же отключил его? И когда? А вдруг Варвара подшутила над нами?

Я снова отшутила адски холодное дно той самой ямы, куда меня уже недавно сбросил страх. Ага, значит ты не хочешь, чтобы смерть ее оказалась медицинской ошибкой, ты хочешь, чтобы она была мертва?

Нет, не Варвара шутила надо мной. Я поняла, что и в самом деле стою на краю пустоты, наполненной нечистью одного рода, сталкивающей меня туда, к себе. Это — мысленные чудовища, "порождения ехиднины". Их назначение — пугать мыслью. Мыслью, которая может, должна показаться тебе твоей, собственной...

Телефон Леонтия долго не отвечает, гудки размеренно бьют меня в ухо.

— Алло, — слышу я чуть глуховатый, милый голос сонного Леонтия.

— Грач, — говорю я, называя его зачем-то по фамилии, — Варвара умерла...

— Что ты говоришь? Не может быть! Где ты? Когда? О, Боже...

Телефонная трубка еле выдерживает этот напор слов. Я объясняю и прошу немедленно приехать.

— Страшно? — спрашивает он с нежностью и жалостью, кладет трубку.

Грач, конечно же, не помощник. Поэты в могильщики не годятся, хотя у нас был один знакомый поэт, который копал могилы. Правда, недолго, он оказался непригодным, и мафия могильщиков выкинула его вон. Интересно, куда денется эта мафия, когда земля вся будет изрыта ямами? Чем ста-

нут они торговать, когда всю землю пересыпят на могильные холмы?

Будет плакать Леонтий или нет, увидев мертвую Варвару, Вавочку, как он ее называл? Ведь он тоже, кажется, любил ее, так же, как прокурор? Только не стремился жениться на ней в отличие от прокурора. "Я буду о б о ж а т ь тебя всегда", – любил он повторять, со вкусом растягивая это старомодное дамское слово. "Даже если ты выйдешь замуж за Петрушу, я буду о б о ж а т ь тебя..." Оно ровно ничего не значило в этом контексте, Леонтий что-то прятал за ним, за этим манерным словом, причем каждый раз прятал другое. Я знала, что он уставал придумывать слова для своей поэзии.

Он рассказывал мне, что сочиняет с разбега, впадая в транс, который был замечен только ему одному, и в этом транс, во внутреннем дрожании лавина слов неслась сначала беззвучно и бессмысленно, потом слова скатывались в комки, стучали как град, осаждая сердце Леонтия, пока оно не начинало пробуждаться. Вылупляясь из комков, слова кружились как тополиные пушинки, как цветные воздушные шары, бились друг о друга, толпясь у луз, как бильярдные шары, взлетали, как кегли, сбитые ураганным ударом, словом это был сумасшедший балаган. На бумаге же ничего почти не оставалось от этих визгов и безумной пляски, слова, видно, уставали в пути... Тогда Леонтий принимался лепить своих угловатых чудовищ. Варвара убедила его, что он может быть скульптором.

Сейчас он будет рыдать. Надо посмотреть, есть ли валокордин. Они были с Варварой слишком близки, чтобы он остался холоден к ее смерти...

Избранники, жрецы, служители Прекрасного...

Сколько же их теперь осталось с уходом Варвары?.. Неужели один Леонтий? Боже мой, кругом одни могилы, одни покойники! — воскликнет он, снимая очки, чтобы брызнувшие из его карих детских глаз слезы не выбили стекла...

Мы сидели обычно в той комнате, где лежит теперь Варвара. Как случилось, что она умерла не в спальне, а в этой комнате — в своем храме, как она говорила? Там были собраны ее сокровища. Где сокровища ваши, там и сердце ваше...

Синие полупрозрачные чашки мелодично поют, когда их нежно ставят на синие блюдца, бамбуковый занавес потрескивает бамбуковым шелестом, японская шаль — почему японская? — брошена на торшер. "Японские штучки, — сказал Петруша, — вы пьете чай как самураи, — давай-ка лучше водку, Варвара". "Ах, Петруша... он такой нервный, говорят, он расстреливает преступников", — замечает Леонтий, когда Петруша уходит за водкой. — Но кто-то же должен наказывать порок..."

Леонтий шутит, горько шутит, он боится прокурора. Мы все боимся прокурора Петрушу, хотя он — наш добрый знакомый.

"И чего вы его так боитесь? — посмеивается Варвара. — Неужели он — ваша совесть?"

"У него топор за сюртуком", — торопится объяснить Саша.

"Т-с-с, ты преувеличиваешь, Александр, как всегда..." — это говорит самый трезвый из нас Назаров. Он больше нас всех боится прокурора.

Назаров — модный врач, он лечит какими-то травами, парапсихологией, гипнозом, он боится за свою практику, хотя Петруша время от времени лечится у Назарова.

Варвара включает японский приемник. Кто-то читает стихи. Читает навзрыд... Реквием...

"Разве можно так портить стихи?" — недоумевает Сашенька. Варвара радостно смеется.

Дальше я ничего не помню. О чем мы говорили эти двадцать, тридцать, сто лет? Надо будет узнать у Леонтия, если он приедет один, без прокурора. Нет, Леонтий наверняка сообщит прокурору и тот заедет за ним на своей вишневой машине...

Он, конечно же, не замедлит приехать. Никто не осмелится скрыть от него, что умерла Варвара. И тот, кто первый скажет ему, тот и будет спасен. Прокурор помнит тех, кто оказывает ему уважение.

"Он — неплохой человек, он просто дурно воспитан, груб и несчастен поэтому", — объясняет нам Варвара загадочные слова Марии Павловны — сестры Петруши.

"Он грозитя расправиться с вами!" — сообщает Мария Павловна.

"Погоди, Варвара, — перебиваю я ее объяснение, — с кем — с вами?"

"С вами", — говорит Мария Павловна и смотрит сначала на меня, потом на Назарова и отводит глаза.

Мария Павловна влюблена в Назарова, а он, видно, медлит с предложением. Вот она и пугает его. Чистая душа...

Господи, почему я ничего не могу вспомнить, кроме одного страха перед прокурором? Это — страх осуждения? Неправедного, внезапного суда? Но ведь суд вершишь только Ты? Разве прокурор властен казнить кого-нибудь из нас без Твоей воли? Но я забываю о Тебе, как только слышу мерзкое имя — Петруша.

Он не любит своего имени. Он слышит в нем, наверняка, насмешку, издевку... Длинный, худой, такой же длинный и худой, как Варвара. Маленькая голова, мелкие черты лица, злой излом губ, жесткий, выдвинутый вперед подбородок. И складки, вертикальные морщины, разделяющие его узкое лицо на несколько узких лиц — одноглазых, мускулистых, с напряженными желваками скул. Это деление происходит тогда, когда прокурор въезжает на своей вишневой машине (иногда его привозят на белом автомобиле) в храм Варвары. Здесь он — дома, служба кончилась, и можно очиститься от опостылевшего хамства. "Здесь — баня", — любит он шутить. Здесь он отмывается. Реквием... И еще что-то нежное...

Для прокурора здесь — баня, у Назарова здесь — подпольный кабинет, он принимает больных (прокурор, естественно, ничего не знает об этом), Леонтию Варвара выделила одну комнату под мастерскую, Саша — племянник Петруши и Марии Павловны — учится у Варвары музыке неизвестно зачем. Иногда он остается ночевать в ее доме.

А я? "Я без тебя не могу, — говорила мне Варвара, устраивая истерики, если я отказывалась придти к ней с ночевкой. — Я боюсь..."

Я была убеждена, что она тоже боялась прокурора. Оказывается, она боялась смерти. Она думала, что я уберегу ее...

Морщины прокурора разглаживаются. Искусство острым резцом остругивает от его лица несколько досок с изображением прокурора.

Это — "задумка" Леонтия — складное лицо прокурора, складное, как ш и р м а ... "Только бы он

не увидел, я даже Варваре не покажу!” — шепчет мне Леонтий.

”Зачем ты это делаешь, если боишься?” — хочу я спросить Леонтия.

Не спрашиваю, потому что знаю ответ. Он надеется, что его искусство переживет прокурора. Пустая надежда... Его искусство только и живет прокурором, оно размножает его лицо. Лицо обвинителя искусства, питающегося его соками...

Все. Мне пора. Пора уходить мыслью из этого тупика. Я застряла в нем слишком долго, пытаюсь вспомнить мир призраков, который погиб сегодня со смертью Варвары. Наверное, он был мне дорог когда-то, слишком вкусен и ароматен был чай в синей, полупрозрачной чашке. И нежное сероглазое лицо хозяйки и жуть, окатывающая сердце при появлении Петруши и милое бормотание Леонтия — все это Ты уничтожил, стер с лица земли, Господи. И, может быть, если я сейчас открою глаза, встану и отправлюсь туда, где лежит мертвая Варвара, я увижу лишь груды костей, развалин, присыпанных пеплом и прахом... А, может быть, этого мира и не было? Конечно же, не было, откуда ему было быть, если в нем не было Тебя, Господи? Это был в с п л е с к времени, в котором не было вечности. Не было основания, не было духа истинной жизни, и потому в той реальности, которую плело время, оторвавшееся от вечности, и возник мир, обреченный смерти. Смерть наступила в тот миг, когда стусок времени был размыт водой вечности.

Наш век и наш город были полны такими мирами. Сцепляясь друг с другом и перетекая друг в друга, они легко умещались в видимых нами времени и пространстве. Не прикрепленные ничем друг

к другу и к Тебе — к истинной Реальности, они, плавающие во времени, были сродни большим кораблям, снующим по своим маршрутам до тех пор, пока им не придет пора погрузиться на дне и исчезнуть навеки. Ты сделал так, что они стали жалкими при всей их мнимой прочности, жалкими, потому что они стремительно разрушались. Но гибель этих миров была добровольной. Они не хотели знать, что Ты пришел на землю для того, чтобы они смогли, покинув эту землю, обрести Твою землю. Ту с которой Ты пришел сюда. Они не хотели знать, что за сгустком времени, опутавшим их, есть вечность, что материя, в которую они оделись, есть Твой временный дар, и он обязательно превратится в груды костей, развалин, усыпанных пеплом и прахом. Они решили удержаться во что бы то ни стало за эту материю, превратив ее в броню, такую прочную, чтобы в ней не было ни единой трещины, в которую мог бы проникнуть Свет вечности, прожигающий и сжигающий броню любой прочности. Они не захотели знать, что существует духовная основа мира и человека и что всем правит Твой Божественный Дух. И что Он рождает новое тело и оно становится уже не временным, а вечным Твоим даром...

Ты рассек мир мечом веры в Тебя и вера разделила не мир, но нас. Не потому, что за Тебя убивают — это можно было бы счесть за борьбу идей, — а потому что вера в с к р ы л а мир, распоров его покров, расплавив его броню.

И мир о т к р ы л с я, оказалось, что нет двух миров — того и этого — вера соединила их, попалив своим огнем эти границы. И каждый, кто не побоится этого огня, сможет туда пройти. Через печь Вави-

лонскую, в которой сторит безверие, как броня, кора и покров.

”Крематорий раньше смерти?” — спросила меня Варвара, когда я сказала ей, что через погребение мы воскресаем. Начинается погребение в крещенских водах. Омытому этим погребением огонь Вавилонской печи уже не несет смерти.

Как раз тогда мне показалось, что у Варвары тугое ухо, она не слышит смыслов бытия, она слышит только слова и не знает, что в них сокрыто. ”Крематорий — другая печь”, — ответила я холодно, не желая продолжать разговор.

Я преступила заповедь. Я не пустила душу Варвары туда, куда она стремилась, я закрыла ей вход в небеса. Душа ее на миг сжалась в судорожный комок, потом распалась на мельчайшие частички, полетевшие, как пчелы, за крохами знаний о себе, мире, Боге. Возможно, этот мед Варварина душа смогла бы собрать постепенно — каждая частичка собирала бы свое и складывала в сердце свою духовную каплю. Но, увы, высоко и нервно вскрикнула труба, и все частички сбежались наконец — уж не впервые ли? — воедино, чтобы больше не разлучаться...

Смогу ли я теперь искупить свою вину перед ней, Господи? Я украла у нее вечность, а Ты сказал: ”не кради”, я солгала, а Ты сказал: ”не лжесвидетельствуй”. Я убила ее неправдой, а Ты сказал: ”не убий”.

Значит, я отравила Твой мир злом, оно растлило воздух, иссушило воду, истощило землю. Деревьям, травам и злакам не хватило влаги, и они стали задыхаться, птицы падали от зноя и голода,

рыбы ушли на дно и там погибали от яда лжи, заразившей воды.

”И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не станет давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанник и скиталец на земле”.

Зачем Ты спросил у него ”где брат твой?” Ты же знал, что он убил брата своего. Может быть, это спросила его совесть, когда услышала ”голос крови брата” своего. ”Дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение”, — сказал Твой посланец Елиуй, чтобы вразумить испытанных в законе друзей многострадального Иова. Ты — Вседержитель — дал ему разумение сказать, что дух человека и дыхание Вседержителя могут быть едины. Значит, и в Каине проснулся дух, похороненный в совести его до тех пор, пока его не воскресил голос крови брата, вопиющий от земли. И тогда неожиданно для него самого, приблизившись к дыханию Вседержителя, он спросил у себя: ”где же брат твой?” И сам солгал себе, духу своему солгал: ”разве я сторож брату моему?”

Зачем я стану объяснять Варваре то, что она не поймет? — солгала я духу своему, знающему, что она сможет понять, как только дух мой приблизится к дыханию Вседержителя и Он поможет мне и ей. ”Что я — сторож ей?” Пусть сама додумывается...

Мы сидели с ней, поджав ноги, на ее широчен-

ной кровати, на которой теперь лежат ее останки. Сколько уже трупов лежало на этой кровати, за которую Варвара дала немалую цену — почти весь свой гонорар за книгу об одном великом музыканте. Она писала ее несколько лет. Меня, я помню прекрасно, в тот раз особенно раздражала, даже мучала, окружающая нас роскошь. Разговор шел о ее маленьком сыне, умершем во младенчестве. Я пыталась уже в который раз утешить ее и твердила, что он стал ангелом и служит Богу. Но она не понимала смысла этих слов, она не могла еще представить себе, что слово прикрывает безмерную глубину смысла, как каждая точка видимой плоскости прикрывает неизмеримую бездну бытия.

Мальчика звали Даниилом. Почему она его так назвала? Из любви к старине, или душа ее знала о смысле этого имени (оно означало — Судия Божий), о чудесах пророка Даниила, "мужа желаний", победителя тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей?

Младенец родился калекой, его крошечное тельце было изуродовано, а дивное ангельское лицо поражало своей кротостью и тишиной.

Об этом знала только я, Варвару я не пускала в клинику, где лежал крошка Даниил. Врачи надеялись спасти ему жизнь. Я же лгала ей, что мальчик сильно простужен, но что он поправляется, к нему, однако, не пускают, и я все узнаю о нем через знакомых врачей. Она охотно верила. Тем более, что не могла сама кормить ребенка, у нее пропало молоко.

Отец мальчика, собравшийся еще перед ее родами покинуть свою семью ради Варвары и ожидаемого младенца, теперь, напуганный угрозами жены изме-

нил свое намерение. Варвара между тем требовала его к себе, посылала меня к нему, а он, избегая всяческих объяснений, передавал Варваре письма через меня. Прокурор каждый день приезжал к Варваре и предлагал ей руку и сердце.

Отец Даниила — Ардашников Николай Николаевич — был шефом прокурора. Он курировал, как любят у нас говорить, а попросту сказать, наблюдал со своего высокого поста за тем местом, на котором восседал наш Петруша.

Петруша сам познакомил их с Варварой на каком-то пикнике или где-то на курорте, Бог весть.

Высокая, тонкая, сероглазая Варвара — недурная пианистка, известный музыкальный критик, чудаковатая, таинственная дама — была в диковинку вельможному чиновнику, стеснявшемуся своей вельможности.

Ардашников был тогда тихим, воспитанным человеком, случайно оказавшимся на своем посту. Кто-то из покровителей его отца — старого заслуженного партийца — удружил ему и пристроил сына на хлебную работу — следить, чтоб наш прокурор не нарушал распорядок и не разрушал режим. Ардашников предпочел ничего не делать, ни за чем не следить, он, кажется, писал не то мемуары, не то исторический роман, любил слушать музыку, смотреть и читать детективы, застенчиво улыбался, когда хвалили его вкус, его воспитанность, его интеллигентность: подумайте, такая работа, а вы так... тонко, так точно!

Потом уже Варвара рассказывала мне (наверное, это было тогда, когда мы говорили об умершем младенце), что Николка — как она его называла — после отказа жениться на ней стал погибать, пить

мертвую и бросил писать романы, а совсем недавно чуть не покончил с собой, проглотив немалую дозу снотворного. В том учреждении, где он трудился, кончать с собой было категорически запрещено, и он пятнадцать дней пролежал в реанимации.

”Петруша, видать, ждал, что Николка умрет, чтобы занять его место. Там зарплата больше и паек дешевле. Землю рыл, бедолага. Все подготовил. Но выжил Николка. И, наверняка, узнал про Петрушины игры. Но я заручилась у него согласием — никогда не мстить Петруше, что бы ни было. За это я обещала ему простить его трусость. Тем более, что он сам себе ее не простил. Провалился в реанимации пятнадцать дней... И все пятнадцать дней сны видел. Цветные”, — рассказывала Варвара.

”Тебя видел?” — полюбопытствовала я.

”Нет, не говорил ничего такого. Не рассказывал, какие сны. Цветные, сказал...”

Я собственными руками отдала мертвого Данилку в морг.

Это было через два месяца после того, как я, подготовив Варвару, утирая ее слезы всю ночь, поехала с ней в клинику за ребенком.

Два месяца она никого не пускала в дом, никто, даже Петруша, не видел младенца. Кроме меня и Назарова. Он лечил ребенка, делал ему массажи, гимнастику и уколы, привозил медицинских светил со всего города. Два месяца мы выполняли неукоснительно их противоречивые назначения.

Мы не знали тогда, что младенца надо крестить. Нам никто не сказал об этом.

Ты забрал младенца, Господи, а меня оставил в живых.

И пока Варвара кричала в той самой комнате,

где она теперь лежит, я, завернув в одеяло уже остывшее тело ребенка, поспешно передала его в руки одного из реаниматоров, не сумевших воскресить его.

Как только захлопнулась за ними дверца лифта, я тотчас выбросила из квартиры кроватку младенца, бутылки с сосками, все его вещицы. Я хотела, чтобы Варвара, зайдя в комнату сына, не нашла никаких следов его жизни и смерти. Слишком уж страшно она кричала.

Наверное, тогда от крика и оборвалось в ней что-то, вскоре после того заболела она и с тех пор стала хромать.

Зачем-то Ты оставил меня в живых.

Может быть, для того, чтобы я набросала эти записки.

Но для кого? Для тех, кто знает Истину, они не нужны, ибо им некогда следить за тем, как течет река жизни, направляемая Твоей рукой, они с утра до вечера и с вечера до утра прислушиваются в своем сердце к Твоему дыханию. Те же, кто хочет знать о жизни, чтобы отвлечься от нее, совсем не хотят ничего знать о Тебе. "Если Моисея и пророков не послушали", если Тебя не послушали уже после того, как твой Апостол Фома прикоснулся руками к ранам от гвоздей в Твоем теле — зачем же еще чьи-то слова?! Что могут добавить наши слова к сказанному Тобой?

Но Ты сказал: вы будете Мне свидетелями.

Ты не прислал к нам ни одного из Твоих свидетелей, когда родился этот мальчик, и поэтому мы не смогли его крестить. "Наверное, Бог отомстил мне за Петрушу", — сказала Варвара. Что она имела в виду — я не поняла. За что же Ты мог отомстить ей — за ее грехи, грехи отца младенца, за прокурора,

наконец, которым лениво управлял застенчивый Николка? Не может быть, чтобы погибла невинная душа младенца. Ты, я верю, не отринул его от Себя, хотя мы не смогли его крестить из-за недостатка Твоих свидетелей. И, может статься, я надеюсь на это, будут прощены многие умершие на нашей земле, оскудевшей Твоими свидетелями. Упокой их обманутые души и не взъщи с тех, кто испугался свидетельствовать о Тебе, слишком мучительно было слышать обостренным слухом вопиющий от земли голос крови Авеля.

Но Ты хорошо слышал этот голос, слышал еще до того, как пришел на землю, чтобы Тебя убили, истощив свою жажду убийства. И сказал: Вы будете свидетелями Мне и Слово Будет проповедано по всей земле. Вы будете рассказывать обо Мне всем — тем, кто хочет и кто не хочет, чтобы вы рассказывали. И тем, кто будет говорить, что вы плохо рассказываете обо Мне, не умеете рассказывать, недостойны, не имеете права на это. Но вы все равно, что бы вам ни отвечали, будете говорить для всех, чтобы услышали те, кто хочет услышать и кто не хочет, помня о том, что те, кто запрещает вам говорить обо Мне, объясняя это любыми причинами, вплоть до уверения, что они Меня от вас защищают — не от себя говорят, это сатана в них говорит, потому как не терпит свидетельства обо Мне. Если оно истинно, то есть не ищет с в о е г о. И поэтому за такое свидетельство вас и будут убивать всеми возможными — тайными и явными — способами — убивать злом, ненавистью, клеветой, презрением, насмешкой, морить голодом, убивать тюрьмой, пулями, ссылками, ложью. Вас будут убивать так, как убили Меня. Ибо раб не больше господина своего, а ученик не

выше учителя. Меня гнали, и вас будут гнать. Вас будет убивать мир за вашу победу над ним. Вас будут убивать за любовь. Это будет смертельная схватка со смертью, она будет убивать вас за вашу победу над ней. Но, если вы не станете, боясь убийства, свидетельствовать, значит, мир все-таки победил вас, значит, Меня не имеете, только лжете, что вы — Мои, лжете, потому что боитесь смерти за Истину. Но не сознайтесь во лжи, а лукавите и говорите, что недостойны свидетельствовать, проповедовать Меня. Ибо не чисты еще. Но Я сказал вам: "вы очищены через Слово". Оно — ваше, берите. И если вы берете Его, принимаете сердцем, значит, очиститесь Им...

Ардашников приехал только на похороны младенца. Он был в черном пальто и черной шляпе, а его осунувшееся лицо стало похожим на лицо изжеванной куклы. "Маскарад", — прошептала синими губами Варвара. Может быть, таким был бы Данилка, если бы не умер.

Мы хоронили его втроем, из морга нам вынесли маленький гробик, поставили его в пустом похоронном автобусе, и он помчался по широким магистралям города к дальнему кладбищу.

Варвара и Ардашников не проронили ни звука. Я сказала две-три фразы, надеясь завязать разговор. Увы, они напряженно молчали, ненавидя друг друга. Время от времени Ардашников оглядывался назад и пытался рассмотреть машины, идущие вслед за нами. Это было невозможно, в автобусе не было задних стекол. Тогда он впился в смотровое стекло.

Я поняла его только тогда, когда мы уже удаля-

лись от могилы, в которую могильщики быстро и ловко закопали гробик малютки Даниила.

”Эта харя уже здесь”, — сказал Ардашников мрачно.

”Что, что?” — спохватилась угрюмая Варвара.

”Петруша — сфотографировал нас. Как мы идем с тобой под руку после похорон по кладбищу. Не для истории же...”

Варвара не проявила никакого интереса к его заявлению.

”Где, где он?” — я оглянулась по сторонам и увидела, как Петруша с фотоаппаратом в руках отступил на шаг и скрылся за каким-то памятником.

”Спрятался”, — сказала я.

”Нет, вы ошибаетесь. Он хотел, чтобы мы видели его. Шантаж чистой воды... Снимал ведь он только спины!”

Последние слова Ардашников сказал совершенно холодно. Он почему-то не боялся прокурора.

3

Воспоминания утомили меня. Пора уснуть. Скорей всего, Леонтий придет только утром. Почему я решила, что он тут же помчится сюда, бросит теплую постель, уют и кинется в сырую темную глубокую ночь?

Но тут как раз и раздался звонок в дверь! Я, как всегда, не права. Это он, милый Леонтий, наш добрый поэт, юный старик, чудака, добряк. Какие только слова не бормотало мое благодарное сердце, пока я шла отворять ему дверь.

Но это был не Леонтий.

— Саша?! Я думала это — Леонтий!

— Он позвонил мне. Что же случилось? Голубушка моя! — чуть заикаясь, пришепетывая, Сашенька всплеснул руками и направился прямо к Варваре.

— Здесь горит свет, — сказал он плачущим голосом.

Я стояла в дверях и видела, как он отдернул простыню, открыл лицо Варвары и долго смотрел в него. Потом перекрестился, поклонился ей низко и снова закрыл простыней лицо. Постоял еще немного и отошел к дверям.

— Пойдемте, Сашенька, — мне стало жаль его. Лицо его было залито слезами.

Мы прошли на кухню, и я начала рассказывать о внезапной смерти Варвары.

— Не надо, не надо, — торопливо пробормотал Сашенька, — я все понимаю, все понимаю... Что же теперь делать? С чего начать? Надо читать Псалтырь — вот с чего начать! — он вскочил и побежал в комнату, где лежала Варвара.

Я поплелась за ним.

Он быстро разыскал в Варвариных книгах Библию на церковно-славянском языке, зажег свечу, стоявшую в серебряном тяжелом подсвечнике на рояле. Поставив свечу у изголовья Варвары, открыл ее лицо и стал читать. Начал он со сто восемнадцатого псалма, с семнадцатой кафизмы.

Голос его, прерывистый, заикающийся, старался преодолеть свою немощь, он звонко перескакивал по камешкам трудных слов, возносился ввысь и поспешно падал, чтобы вновь подняться.

”Блажени непорочнии в пути, ходящи в законе Господни...”

”Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим...”

”Путь неправды отстави от мене, и законом Твоим помилуй мя...”

”Твой есмь аз, спаси мя, яко оправданий Твоих взысках...”

”Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не забудь”.

Он кончил этот псалом и посмотрел на меня.

— Вы хотите читать? Нет, вам надо поспать, хоть капельку. Идите. Идите, я буду читать.

Я послушно отправилась восвояси, но не дойдя до той дальней комнаты, где я решила снова укрыться, я услышала шаги Сашеньки. Он быстро шел ко мне.

— Нам надо поговорить! — начал он, но я тут же перебила его.

— Как хорошо... как важно, что вы здесь... это просто... когда же вы приехали? Она спрашивала о вас... еще... вечером...

— Что спрашивала? — Саша внимательно взглянул на меня.

— Боялась, что вы больше не вернетесь, вы ведь могли там остаться... навсегда?

— Я получил... извещение... но сейчас... у нас есть срочное дело, есть кое-какие обстоятельства. Дядя Петр будет проводить... ну, что ли... обыск здесь. Он будет искать... Он возмущен, что Варвара Федоровна не в морге... Он отвезет ее туда, а квартиру опечатают... Он хочет найти... Трудно точно сказать, что ему важно найти. Леонтий Васильевич задержит дядюшку... Надо бы до его прихода это...

— Уничтожить? — спросила я. — Но что? Я понятия не имею, о чем идет речь!

— Вы знаете, где архив Варвары Федоровны? Личный архив. Не рукописи, а письма и прочее?

— Письма? Зачем же письма? Может быть, его интересуют ее рукописи? Хотя... там нет ничего, я думаю, запретного... интересного для него. Он все знал, что она пишет, она ему все давала читать.

— Нет, нет... не запретное. — Саша стал нервничать. — Варвара Федоровна жила открыто. Она не скрывала своих... ну, убеждений, что ли... или как сказать, своих идей, если таковые, ну, если это можно считать идеями. Дядюшка будет искать другое! — эту фразу Саша сказал по слогам. — Понимаете? Нет! Не понимаете! И не надо. Давайте думайте лучше, ради Бога скорей! Боюсь, что мы можем не успеть!

— О чем д у м а т ь ? И на каком основании? — пролепетала я.

— На каком основании мы будем делать обыск? Вы это хотите спросить? Ну... у меня есть некоторые... как это сказать, права, основания, или, ну, я не знаю, право, словом завещание... есть.

— Как? — спросила я.

Но он меня не услышал, не захотел больше ничего объяснять.

— Вы же прекрасно знаете, что дядя Петр поставлен исполнять роль, ну, как это сказать? Неблаговидную роль. По попущению Господню. Кто его назначил? Мы можем только предполагать. Вам, я думаю, доказывать не нужно... те, кто верят в Бога, верят и в дьявола, это, так сказать, очевидность... Вы отлично знаете, что мы, ну, как это сказать в п л е н у ... Это скоро прекратится. Господь в ближайшее же... время... Время? Ну, пусть время... Да, так вот Господь расторгнет этот плен. Это будет

страшно! Но ничего не поделаешь, надо быть готовыми к этому. Слабых Господь пощадит. Варвару Федоровну, она была женщиной, нежнейшей до слабости, ее Господь не сподобил увидеть это... Все кончится, все должно кончиться скоро. Хотя, вы — я знаю, о чем вы думаете. Никто не знает времен и сроков... Но я не об этом, не о конце времен, а о прекращении уз... Но пока, они еще существуют, на всякий случай и надо изъять все, что будет способствовать убийству кого бы то ни было. Я предполагаю, кого дядюшка на сей раз наметил уничтожить...

— Меня? — спросила я громко. Слухи о моем близящемся аресте уже давно долетали до меня.

— Что вы, что вы! Нет. Нет. — Сашенька улыбнулся по-детски и ласково взглянул на меня. — Вас... ну, разве он может что-нибудь с вами сделать? Мы с вами... нас осталось не так уж... ну как сказать... мало нам осталось, совсем мало... Но это будет д р у г о е . Я надеюсь на это. Другое, — он еще раз улыбнулся и застенчиво, нежно заглянул мне в глаза, — вы боитесь? Он вам ничего не сделает. Вот посмотрите. У него нет э т о й власти, — Сашенька уже не улыбался. — Да, что же мы тянем! Мы потом поговорим. У нас будет еще время...

Может быть, он говорил совсем не это, а что-то другое. Я толком не помню, но скорей всего, он говорил нечто похожее на то, что я написала.

Я не помню, о чем я думала, начиная с того момента, когда Саша сказал, что дядюшка затеял убийство. Ужас ли парализовал мои мысли, или я что-то лихорадочно пыталась вспомнить, какие-то дела, забытые, невыполненные обязательства перед кем-то, наставления кому-то — так бывает перед спешным отъездом. То ли я вспоминала, где лежит

архив Варвары: письма, счета, документы, фотографии. Мне было все равно, кому достанется эта дребедень.

— Кажется, все в комодѣ, в большой комнате. Поройтесь в ящиках и найдете, может быть. Я должна отдохнуть...

То, что было дальше, я помню уже значительно лучше.

Я слышала, как шаги Сашеньки громко топтали по коридору. Зачем он так топает, дом старѣй, ветхые полы и потолки, и нижние соседи всегда сердились на Варвару за то, что она стучит палкой об пол...

Но вот шаги стихли. Да и все вокруг утихло, ненадолго утихло, вскоре возникли какие-то другие шумы, может быть, Саша начал уже поиски, и двигал ящиками комода. Но этот шум был невелик, он не мешал мне. Не мешал вспомнить все сначала. Каким-то странным чудом в одно мгновенье вместились все: вся жизнь моя, вся жизнь Варвары, все длинные до бесконечности и повторяющие друг друга сюжеты, текущие годами, вместились вдруг в один миг, не имеющий никакого измерения — временного и пространственного. Где было это все, где существовало это мгновенье, куда погрузился мой ум, чрез который пронеслись прожитые времена, то нагруженные, как неуклюжие транспортные эшелоны, то легкие, как лихие порожняки? Бессмыслен вопрос, начинающийся со слова "где", если этого "где" нет и не может уже быть, — остановила я свое удивление перед вместимостью вневременного мгновенья. Это конечно же было обычное и бесплодное погружение в ушедшее. Так будет начинаться ад, с этого, вернее, он будет начинаться,

подумала я. И спросила себя: а, может быть, этого и не было? Не было ничего и совсем незачем жалеть, если это н и ч е г о исчезнет, сожженное острым взглядом Петрушиных глазок... И тогда ад тоже отступит.

Ах, вот в чем дело! Когда всплыло это ненавистное имя, эта шутовская кличка, стало ясно, почему мой ум провалился в пустоту небытия. Или покрыл, укрыл этой пустотой нашу жизнь, чтоб ее не достиг взгляд Петрушиных очей. Не было, не было, батенька, ничего не было. Не было. Лишь бы остаться в живых. Чтобы опять ничего не было, как и раньше. Порожняк летит себе и летит, ему и нипочем, что он лишь пути занимает, ему все нипочем и даже, если уж он очень расшалится и вагоны наскочат друг на друга — чего уж там жалеть — одна ведь пустота в них! Но, пережив это крушение разбежавшихся вагонов, сталкивающих друг друга с рельс, пережив их жуткую пустоту, моя мысль вздрогнула от скрежета вагонных тел. Она проснулась, наконец, вернее сбросила с себя оцепенение страха, мерзость пустоты, выдаваемой за броню, оставила эту точку, так восхитившую ее еще недавно своей вместимостью и кажущейся глубиной. На самом деле это были груды развалин некогда поспешно строившегося города. Он мог бы быть красивым, стройным и удобным. Но страх превратил его в развалины.

Долина слез, юдоль печали, город скорби, место погребения, пустыня вместо города — вот что осталось после набегов страха на это благословенное место. И если бы не д р у г о й г р а д, не град обительный, не двор Господень, не облако, посреди небес, продлевающих каждую точку бытия, становящуюся средоточием вселенной — все превратилось

бы в грудку костей, развалин, укрытых пустотой пепла и страха.

Устав от Варвариной смерти, от Сашенькиных монологов, я ухожу туда, в другой град. Мне не нужны ни глаза, ни уши, я и без них сейчас увижу и услышу недвижимую, плывущую ко мне, во мне, вокруг меня кристально чистую голубизну тишины. "Иди к колодцу!" — слышу я. Сколько стадий пути надо пройти, чтоб добраться до той воды? Я не знаю. Я успеваю пройти, кажется, только две или три стадии пути...

Видно, я слишком устала от Варвариной смерти, и дух мой изнемог, угнетенный переживаниями... Наверное, мне не нужно было спать, нужно было бы победить эту немощь. Тогда бы они не заняли город и я не увидела бы, как размноженный прокурор, размноженный на неподсчитанное число прокуроров, шмонает пустоту...

Глава вторая

1

Город ослеп. Перед самым Новым годом началась весна.

Все были растеряны, все ждали конца. Говорили, что не сегодня-завтра начнутся повальные аресты, что ищут виновников стремительно приближающейся гибели. Казалось, город смирился, исчез, скрылся неведомо куда.

Но это было не так, он жил мучительным ожиданием перемен, предсмертная тоска невидимым образом изменила его ритмы, краски, очертания.

Багровое, вовсе не весеннее солнце, скупо и лениво посылало свои красноватые лучи на улицы города, они смешивались с красным заревом плакатов, одежд, в эти дни слишком много почему-то стало красного цвета, цвета осени, заката, конца. Однако же, красный цвет съедала чернота, он уже не мог с ней бороться, с густыми черными подтеками холодного дождя, полосующего полотнища плакатов и реклам с красными дьяволятами и орлятами различных видов и размеров, однообразные лица которых со злорадной самоуверенностью настаивали на одном и том же.

Лучше залезьте в щели от страха, от предсмертной тоски, уйдите под землю и, свернувшись в упругие комки, прижмитесь друг к другу. Больше вам ничего не осталось...

Я почти бегом неслась по городу.

”Спешите, пожалуйста, спешите, ради Бога, — говорил, провожая меня, Саша, его покрасневшие веки дрожали, словно и они куда-то спешили, — не жалейте, пожалуйста, денег, только уладьте, уладьте все!”

Уже утром я заметила, как изменилось его лицо. Бледное, похудевшее, оно утратило свою детскую простоту, которая была раньше присуща ему и располагала к нему. Теперь это было лицо взрослого человека, решившегося, как мне показалось, на какой-то значительный шаг и теперь ожидающего своего часа. Голубые, до сих пор всегда омраченные печалью глаза Саши были ясны, покойны, смотрели твердо. Только покрасневшие веки мелко подрагивали, устав от бессонной ночи, и словно бы спешили куда-то, когда Саша напутствовал меня.

Я не сразу смогла взять нужный мне разбег,

слишком долго колебалась, куда отправиться сначала: на кладбище, где похоронен Данилка, договориться о могиле, или в церковь договориться об отпевании.

Было раннее, сырое, багровое утро.

В городе за ночь явно что-то изменилось, по-видимому, в эту ночь умерли многие... Атмосферное давление, погода, весна перед Новым годом — все влекло к смерти.

Я решилась. Сначала — кладбище, а то поздно будет, место у Данилкиной могилы могут занять для кого-то еще...

Пробегая через сквер, я слышала одинокую птицу, она так увлеклась, что не замечала ни грохота машин, ни скрежета тормозов. Птица радовалась, распевая нечто веселое, бодрое, трели ее становились все увереннее, громче и независимее. Чему же она радовалась, неужто фальшивой весне? Отсрочке гибели, неожиданной оттепели, живому миру? Кому она пела: людям, не видящим ее, углубленным в заботы, болезни, жажду, голод, в предсмертную тоску, в ожидание арестов, казней, разлук и смертей? Не так уж далеко улетела она от земли, чтоб быть такой отрешенной от всего, не чувствовать предсмертного ужаса и распада. К тому же она была частью этого неразрывного целого, частью этого, опоенного ядовитой тоской, мира. Она была свободной его частью, потому что пела Богу. Вы будете свидетелями Мне...

Зачем же, собственно, этому городу птица?

Это невозможно было объяснить.

Она, наверное же, раскачивалась на этих черных сучьях, не замечая отсутствия почек, листьев, плодов. Как арфа, которую повесил на голых ветвях

кто-то из наших предков, плача в плену на реках Вавилонских.

От них ждали песен о Сионе, но они, развесив свои арфы по деревьям, не хотели петь Господу на земле чужой.

Варвара учила играть на арфе Сашу. Они музицировали вдвоем в те вечера, когда никого не было, когда она отказывала всем.

Неужто они пели песни Сиона в плену? Никто ни разу не слышал этих дуэтов: арфы и пианино. Кроме Петруши, ему иногда открывали дверь в эти священные часы. Еще, я знаю, была флейта. Саша, кажется, умел играть на флейте до того, как начал учиться музыке у Варвары. Она учила его играть на арфе.

”Сколько стоит арфа?” — спросила я у Варвары. — ”Не волнуйся, чуть дороже гитары”, — хрипловатый добрый смешок Варвары был как всегда уместен, подчеркивая смысл остроты. — ”Что ты волнуешься, не дороже денег”, — отвечала Варвара на мои бестактные вопросы о стоимости откуда-то возникавших перед моими очами сокровищ...

”Я умею жить”, — любила говорить Варвара.

Хорошо уметь жить, но еще лучше уметь умирать. Однако, сейчас я должна буду уметь жить, чтобы договориться о могиле.

Мне довольно быстро удалось найти еще трезвого могильщика, согласившегося выслушать меня. Я несколько раз к месту и не к месту повторяла заветное слово ”деньги”, но это не могло нарушить его спокойного достоинства, когда он молча шел рядом со мной к могилке младенца Даниила.

Он не то лузгал семечки, не то жевал жвачку, время от времени сплевывая слюну, а, может быть,

он сосал, по рецепту нашего доктора Назарова, подсолнечное масло, которое очищало организм от шлаков? Что-то во всяком случае он делал своим ртом. Может быть, поэтому и молчал этот высокий молодец в сапогах, джинсовом костюме и лихой кепчонке, подчеркивающей багровость его утрюмого лица.

— Спросите Хрюшу... Моя кликуха, — он заметил мою растерянность, — кличут меня так... Только привозите к вечеру, когда стемнеет. Фонарь зажжем.

— Как к вечеру? Разве в темноте... бывает?

— Копать будем, когда шеф уйдет... Иначе он не даст. Ему тоже на лапу — дай!

— Мы согласны...

— Слушай меня! Со мной говоришь — меня слушай. Он... заломит знаешь сколько, штаны продашь. Кладбище закрыто, а у тебя удостоверения нет. Приказ знаете? Все продано давным давно, и ваше местечко продано, если хочешь знать. Да, хоть бы и удостоверение было — закрыто и всё тебе! Живые в с ё раскупили. Понятно. Как бы мне не погореть!

— Я должна посоветоваться... — сказала я неуверенно.

В моей голове никак не укладывалось это странное условие — хоронить в темноте. Если уж он берет такую цену, то пусть...

— Все-таки попробуйте договориться... чтоб пораньше. Мы из церкви повезем... там можно только до двух — ну, трех часов, не позже...

— Ну и что что из церкви? — пробурчал он и чуть дольше задержал на меня взгляд своих быстрых остреньких глаз. — Тем более.

— Что тем более? — спросила я совершенно напрасно. Я знала, что он не ответит.

— Ладно. Часов... словом, под вечер. Можно до темноты. И чтоб народу не больно много было, здесь ходить негде, видишь, сплошь могилы. Привезешь когда своего покойника, ищи меня, Хрюшу спроси, поняла? Если тебе скажут, что я поддатый и сплю, скажи "разбуди" и дай ему трешку хоть. За трешку он меня растолкает. Все может случиться. И больше никому ни звука: как, чего, почему? Поняла? Мир, дружба! Поняла? — глаза его скучали, он снова начал что-то жевать и пошел прочь от могилы.

— Деньги возьмите! Задаток! — семенила я за ним. — Чтоб уж верно было!

— Вперед не берем! — бросил он мне, не оглядываясь.

Подведет, может подвести, раз деньги не берет. Кто-нибудь перекупит его и что тогда? Куда мы денемся с гробом?

— А вы... точно обещаете? Не подведете, ведь дело такое...

Он не отвечал, шел в раскачку, сосредоточенно жуя свое масло.

— Я боюсь, мы привезем Варвару...

— Варварой-то мать мою звать, — неожиданно отозвался он, — привози, говорят тебе... Хрюшу спросишь и — порядок...

Мне посчастливилось сесть в похоронный автобус, который ехал в город. Я прошла поближе к шоферу.

— Вы что ж, покойничка привозили? — спросила я, когда автобус остановился у светофора, решив договориться о перевозке Варвары...

— С чего это вы взяли? Здесь не хоронят давно... к дружку приезжал.

— Не к Хрюше ли? — спросила я, надо было исправить свою оплошность, мой вопрос о перевозке покойника явно был неприятен шоферу.

— Не-е-т, не к Хрюше. А вы откуда знаете Хрюшу? — казалось бы обрадовался он такому повороту нашей беседы.

Воспользовавшись его приветливостью, я высказала ему свою просьбу.

— Не смогу. Заказов — во! — он оторвал руку от руля и провел ребром ладони по горлу.

Нет, так нет. Что поделаешь? Прокурор достанет автобус. Он все может достать, когда захочет. И без денег, наверняка. Как он этого добивается — непонятно. Ведь он не такой уж крупный прокурор, хотя и ездит на вишневом автомобиле. Маленький прокуроришка, только страшный на вид. Что бы он сделал с этим Хрюшей? Приставил бы пистолет к виску: "Эй ты, давай-ка могилу, а то я сам тебя закопаю!" А Хрюша: "Не положено, шеф. Кладбище закрыто, только по распоряжению начальства". "А я кто тебе?! Я тебе дам — закрыто! Я тебя тут же оформлю!"

Ладно, что там думать о Петруше, без него обошлись. Но как скрыть от него отпевание? А для чего, собственно, скрыть, он все равно узнает...

— Когда, как умерла? От чего? — спросила меня в церкви тетушка за свечным ящиком прежде, чем выписывать квитанцию.

Она впилась в меня пронзительным взглядом. Прозорливость свою проверяет, мелькнула во мне злобная мысль.

— От чего умирают? От болезни! — ответила я

раздраженно и тут же обругала себя за несдержанность. Сейчас она потребует у меня похоронку, справку о замораживании, еще что-то, а у меня ничего этого нет, еще документы не готовы. Здесь и Петруша, пожалуй, ничего не сможет устроить.

— Простите, матушка, — решила я извиниться, — умерла она сегодня ночью от удара... внезапно. Устала я, не спала почти...

Она уже выписывала квитанцию. Чин по чину: фамилия, адрес. Хорошо, анкету не надо заполнять. Для прокурора это все, что ли? Вот попробуй и скрой от Петруши отпевание Варвары!

Кесарю отдадим деньги и квитанцию, копию квитанции. Можно было бы обойтись и одними деньгами. Откупиться и все, зачем бумажку выписывать, время тратить? Хрюша квитанцию с фамилией не выписывал, ему денег достаточно — там более простой вид сделки.

Наконец, она все оформила, равнодушно и быстро пересчитала деньги и легко опустила их в ящик конторки.

Какая разница, кому пойдут эти деньги за молитвы? Богу они не нужны, и не Он устанавливал цены за отпевание. Наши предки знали, какие жертвы следует приносить Богу по любому случаю для Его умиловления. Они и приносили их до тех пор, пока Он Сам не принес Себя в жертву за нас. Но пока этого не случилось, им казалось, что чем больше прольется жертвенной крови в землю, тем она станет щедрей... Чем больше дадим кесарю денег, тем... Что же мы получим от него взамен?

Я видела однажды, как улыбается Петруша!

”Сколько стоит арфа?” — спросила я Варвару.

”Чуть дороже гитары!”

Он улыбался, ему нравились остроты Варвары. Соленые, грубоватые, простые, и изысканные, сдобренные хрипловатым смешком.

Может быть, Петруша купил арфу на свои деньги? "Эолова арфа" — бормотнул он, тыча худым скрюченным пальцем в струны.

Власть милостива и добра безмерно, сколько ей нужно от тебя? Чепуху: деньги и квитанции, а там хоть пол пробей лбом, молясь своему Богу, пол будем чинить за твой счет. Пустые бумажки, отдай и все. Кто-то купит на них арфу, гитару, флейту, жаль тебе, что ли? Они будут пленять Петрушину душу, он станет мягче, добрей, чище и реже будет вынимать свою саблю из ножен. И, наконец, наступит миг, когда он...

Всю дорогу от церкви к Варвариному дому я додумывала до конца эту мысль о возможности очищения Петрушиной души. Это была старая и банальная мысль. И очень привязчивая...

Сколько раз мы пытались облагородить его душу: еще немного, вот-вот и он, потрясенный, поймет. Услышит, увидит. Узнает.

Это был, конечно же, кратчайший путь, у нас не было никогда ни желания, ни возможности потрясать револьвером. Смешно было бы махать саблей перед носом Петруши. Не потому, что он отправил бы нас всех в Петропавловскую крепость — он все же не такой большой чин — а потому, что Петруша был с в о й.

Так считала всегда Варвара. Нам нужен свой л и ч н ы й прокурор. Для чего же? Она не отвечала.

Чтобы спасти его душу, погубив свою? Варвара скрывала тайну своей привязанности к Петруше. Скрывала или не знала ее.

Она купила арфу для него. Какая разница, на чьи деньги! Она хотела его спасти, вырвать из дьявольских когтей, выкупить его бессмертную душу за дорогую цену. Арфа, конечно же, стоит намного дороже гитары. Ардашников больше любит гитару. "Петруша тоньше Николки, хотя Петруша плебей, а Николка голубых кровей", призналась Варвара.

Она хотела их спасти, нас спасти. Но Бог не дал ей этой возможности.

Что было бы, если бы богатого, счастливого и праведного Иова Бог не избрал бы, послав к нему сатану? Как бы Иов смог утратить душу, чтобы тем самым спасти ее, погубить ее, чтобы воскрес его могучий дух, возведший его в такую силу, что он, раб, сидящий на гноище, смог говорить с Вседержителем, требуя от Него ответа на свои дерзкие вопросы? Кто-то же должен был посрамить сатану? Но какой ценой... Значит все дело — в цене? А ее устанавливает Бог. Не устанавливая цену, которую берут за молитвы.

Потому что это — д а н ь. Дань за разрешение молиться. Но чем дороже стоят молитвы, тем дальше они от Бога...

Варвара думала, что прокурор нам нужен. На всякий случай. Не так уж велика дань, которую ему платили. Дань искусством. Какая разница, чем платить — деньгами, искусством, вещами? Идолам платили всем, что послал Бог. Они, будто бы, особо покровительствовали искусству, оно создавало их, а потом воспевало их и было заинтересовано, чтобы те, кто поклонялся идолам верил в их особую любовь к искусству. Это был плен, свободно принятый. Душа рождала идолов и обретала творческую силу в этом рождении. Но Господь

сказал, что надо погубить душу, чтобы спасти ее. Загадочные слова. Погубить в себе способность рождать идолов.

Это с самого начала стало основным сюжетом драмы мира. И каждый из нас, даже если он не сознает этого, — участник этой драмы. Все смыслы всех явлений и всех вещей, все духи, все идеи с того мгновения, как они сотворены, до Судного дня вместе с нами участвуют в этой драме.

Варвара легко платила дань. В России привыкли платить дань. Кто просит, тем и дают. До поры, до времени. Значит, так нужно. И татарам платили, но многим ли приходило на ум, что татары нужны России, что в этом тупике ее истории обнажится высший смысл ее бытия, кровная связь России с Христом?

Татарам не нужна была душа России, они были заняты служением своим идолам и не пытались превратить Христа в идола, обложив души такой данью, которая мешает им молиться.

Дьявол знает свою роль в этой драме мира. Главное это измена. Не дань, а измена. Если же дань помогает измене, значит нужно ее усилить, а чтобы рабство стало всесильным, нужно христианство превратить в язычество, а Бога выдать за идола...

Варвара ошибалась: ей не нужен был прокурор. Неужели ее не мучало, что в каждом из нас живет прокурор, жажда обвинить другого и обелить себя и страх прокурора, живущего в другом, палимом той же жадой обвинить?..

Неужели Варвара думала, что через Прокурора проснется Россия и напуганная до смерти победит смерть?

Но что можно знать теперь о Варваре? Да и кто я

такая, чтобы рассуждать о том, что нужно России? Вплетенная не по своей воле в эту драму мира, что я знаю, запутавшись в ее лабиринтах, о тайне ее сюжета? И кто я, зачем я? И зачем прокурор? Чтобы пугать меня? Но для чего? Разве для того, чтобы записать смыслы своего бытия нужно познать страх, который гуляет по глухим коридорам без окон, без цвета и света, гуляет до тех пор, пока вдруг в одном из них не откроется дверь. Что за чудо? Сияющая дверь, золотые врата, а там — внутри нескончаемый, тихий, светоносный поток? Я поднимаюсь с колен, только что жалкое и распластанное ничто, подымаюсь с надеждой, что на сей раз я, может быть, прощена. Для чего?

Я вспоминаю опять о Варваре. Она, конечно же, больше меня знала о прокуроре, он нуждался в ней, и она видела его лучше. Она учитывала его все нарастающий азарт, она знала, что размеры и формы дани будут все расти и расти. И она хотела это остановить, не понимая, что она только поощряет его. Она не знала, что азарт это слабость дьявола, болезнь его природы, то, над чем он не властен и что неизменно приводит его к поражению.

Незаметно для себя, я добралась, наконец, до Варваринаго дома.

2

Леонтий и Петруша сидели на кухне, понутив головы, и не слышали, как я тихо вошла в квартиру и прикрывла за собой дверь. Я увидела их сквозь матовое стекло, врезанное в кухонную дверь.

Я видела только их силуэты, мне показалось,

Леонтий дремлет, глаза его закрыты, а может быть, они просто были опущены вниз. Конечно же, я не могла видеть его глаз, мне почудилось, что это так. Петруша сидел в своей излюбленной позе, расставив длинные ноги, а длинные руки положил на колени и свесил их вниз, на одном из его колен лежала газета, но он не читал ее, она была свернута в трубочку.

Его руки были похожи на плети, длинные, гладкие, лощеные. Мертвые руки. Такие мертвые руки я видела сегодня, когда ехала в автобусе на кладбище.

Пытаясь разглядеть птицу, заглушившую своим пением грохот подкатившего к краю бульвара автобуса, я еле успела втиснуться в его захлопывающиеся двери. И сразу увидела Петрушины мертвые руки.

Их владелец тоже держал газету. Нечистые руки, вымытые добела. Когда они лягут, скрещенные, на грудь, заняв подобающее им смиренное место, они привлекут к себе взоры всех тех, кто будет стоять у гроба, не в силах оторвать глаз от громоздких мускулистых гладких мертвых рук. А когда я отвела от них взор там, в автобусе, я увидела дивное женское лицо. Как прекрасен Твой мир, Господи, возликовало мое сердце, тут же примирившееся с мертвыми руками прокурора, тем более, что девичье лицо, по какому-то странному совпадению, было похоже на лицо Марии Павловны. Овальное матовое лицо с синими продолговатыми глазами. "Не глаза, а шелк, мягкий, текучий и без лоска, — говорила Варвара, — лицо камен, разве такие рождаются в деревне?" "Мы — деревенские!" — не без гордости отвечала Мария Павловна, — только мы — сироты".

Их было трое сирот, мал-мала-меньше — Настя, старшая, Сашина мать, погибшая в ташкентском землетрясении, на его глазах, Петруша — наш дружок и Машенька — младшая. Я помню ее на нашем выпускном вечере маленькой девочкой, Петруше не с кем было ее оставить, старшая сестра — Анастасия уже стала журналисткой и много разъезжала. Потом Машенька явилась к Варваре синеглазой барышней вместе с Назаровым.

Любимая поза прокурора могла выражать сразу несколько его настроений: задумчивость, угрюмую тоску, усталое равнодушие ко всему и готовность высказать нечто резкое, значительное и важное для всех присутствующих. Кажется, Петруша хотел быть когда-то актером, но не умел танцевать и петь. Он был непластичен, поэтому он поступил в юридический институт, вместо театрального.

— Ну, вот, ты пришла, наконец, — поднялся он мне навстречу, сделав какое-то движение руками, словно хотел обнять меня. — Подумай, как это неожиданно, как страшно! Бедная Варя, кто мог ждать этого!

Я не смотрела на него, я смотрела на Леонтия. Глаза его были измученными, белки розовыми, будто он натер их или не спал несколько ночей. Наверное, он плакал, а, может быть, Петруша помучал его всласть, не зря он так долго его задерживал где-то, чтобы Саша сумел сделать то, что хотел сделать Петруша... Леонтий сидел у кухонного столика, облокотившись на него. Он поднялся, поцеловал мою руку и сел снова, не сказав ни слова.

— Да, — ответила я Петруше. Какое-то беспокойство исходило от его нескладной фигуры, вновь принявшей эту задумчивую позу. Или мне казалось,

что исходит беспокойство. Он всегда плохо действовал на меня.

— Сейчас нам многое предстоит сделать. Я кое-что уже сумел и мог бы даже больше успеть, если бы... вот он не препятствовал мне... Эта наша интеллигентская нерешительность, отвратительная вялость. Как много мы теряем из-за этого времени! — поморщился он брезгливо, потом изменил тон и уже гораздо мягче и даже скорбно спросил: — Что же случилось с ней все-таки? Почему так внезапно? Так быстро, ни с того, ни с чего. Ведь я видел ее буквально два дня назад, она и не помышляла о смерти, почти не жаловалась ни на что и выглядела, как обычно. Петруша смотрел на меня вопрошающе.

— Криз. Я еле успела вызвать неотложку.

— Хорошо, что ты здесь оказалась, — глухим печальным голосом проговорил Леонтий. Таким голосом он обычно читал свои сочинения. — Важно, что она была не одна. Это — счастье.

— Еще чего скажешь — счастье... — пробурчал в ответ Петруша. — Ну и дальше что? — он продолжал смотреть на меня, в глазах его я увидела участие и даже легкую грусть.

— Она потеряла внезапно все: движение, речь... Инсульт, полный паралич, как сказал врач... Но успела кое-что сказать...

— Да, успела... Что? Что она сказала? — Петруша встал с места, всплеснул неожиданно руками. И снова сел.

Этот жест поразил меня. Как странно он себя ведет, он нервничает и сдерживает себя. Ну да, ведь он любил Варвару.

— Она сказала, что умирает... Мне показалось даже, что она сказала это с радостью.

— С радостью? — воскликнул Петруша. — Этого не может быть! Ты придумала это. — Последняя фраза была сказана жестко.

Все замолчали. Я спросила:

— Вы завтракали?

Леонтий кивнул головой, Петруша ничего не ответил. Он был погружен в размышления. Наконец, он изменил позу, сел прямо, взглянул на часы и сказал:

— Осталось два часа. Я договорился с моргом. Они все сделают, что нужно... все подготовят. Ты, Грач, все же уточни с профкомом или еще там с кем нужно, куда ее положат и когда. Нужны венки, цветы и все прочее, это они все сделают. А ты... — Петруша повернулся ко мне, — ты тоже... Где ключи?

— Какие ключи? — спросила я, уже понимая, что сейчас это и начнется. Я стала лихорадочно соображать, как мне быть, сказать ли, что ключи у Саши и что у него, кажется, есть завещание. Ну, а вдруг никакого завещания нет, его и не должно быть, Варвара никогда не говорила ни о своей смерти, ни о завещании, наследство у нее, правда, было немалым, все ее имущество, так же, как и кооперативная квартира, достались от умерших родителей, которые коллекционировали все, что удавалось коллекционировать. Я знала, что Варвара время от времени что-то продавала из их коллекции — какие-то книги, рукописи, картины, иногда продавала в музеи, иногда куда-то еще, покупала что-то взамен, меняла мебель, но никогда не говорила она о завещании. Я могла неправильно понять Сашу, я была не в себе, когда он объяснял мне, зачем ему нужно рыться в Варваринном архиве. А переспрашивать у

него я сочла неудобным. Как бы то ни было, я не должна выдавать Сашу.

— Мне нужны ключи. Я должен кое-что найти, — ответил спокойно Петруша.

Леонтий встал со своего места, видно, намеревался уйти, но я взяла его за руку, усадила на прежнее место. Петруша заметил это и пристально посмотрел на меня.

— Не до ключей, — отрезала я, — нам придется отказаться от морга. Позвони туда и скажи, что не нужно. Мы, знаешь ли, Петр, мы решили, что Варвара должна остаться дома... В морг мы решили ее не везти!

— Как? Как? Что это? Кто это — "мы"? Мы решили!

— Ну я. И еще другие, — я решила все брать на себя.

— Я тоже так считаю, незачем ей там валяться, еще какие-то опыты на ней будут производить, — твердо сказал Леонтий. Я даже не ждала от него такой определенности.

— Ах, вы решили? Что значит валяться? Ее надо похоронить, как следует. Без панихид, учтите! Это будет "чэпэ". Варвара — человек приметный. Ее за границей знают. Некролог должен быть в прессе. Я говорил с комитетом или с союзом, не знаю, как уж там официально это называется. Они согласны положить ее в конференц-зале. Всё уже готовят, некролог, объявление, они известят, где будет ее тело, в каком морге, когда кремация, которую они берут на свой счет. Все это устроил я, пока вы тут решали. И вообще, как это она может здесь лежать? Да с ней захотят проститься множество ее коллег, у нее есть ученики. Аспиранты. Сколько она может

з д е с ь лежать? Вы что, забыли, что она мертва? И потом еще одна серьезная вещь — надо узнать точно п р и ч и н у смерти, — он холодно посмотрел на меня.

— Всего этого не будет, — говорю я, слыша, как поднимается во мне что-то жесткое, наступающее на сердце и окружающее его какой-то плотной массой. Мне становится трудно дышать, но я стараюсь не показывать вида и от этого почти перестаю дышать. Леонтий, однако, смотрит на меня, и я вижу, как его глаза за стеклами очков расширяются, он переводит взгляд на Петрушу и говорит:

— Есть только один путь. Решить это сообща. Без комитета. Или как это там называется. Друзья, близкие Варваре, будут это решать. Если нет ее прямого указания или завещания.

— Что решать? Хоронить или не хоронить? Может быть, вы еще что-нибудь придумаете? Близкие друзья! Мавзолей здесь сделать, в ее квартире? — Петруша горько улыбается.

А я все еще раздумываю, как мне быть. Надо, пожалуй, сейчас же встать и пойти к Саше. Он все еще читает Псалтырь. Интересно, заходили ли туда Петр и Леонтий? Сейчас я встану, не отвечая на вопрос прокурора, пренебрегая его просьбой отдать ключи — уж не приказ ли это? — и пойду к Саше. Надо предупредить его, что я договорилась об отпевании и о месте на кладбище. Говорить ли об этом Петруше? Но как можно скрыть от него это? Никак.

В это время раздается звонок в дверь. Я с облегчением иду открывать. Это Назаров. Мне надо задержать его у двери, чтобы рассказать о притязаниях Петруши. Но это невозможно. Он должен сна-

чала пройти к Варваре, узнать подробности смерти, пережить их. Так положено...

Петруша открывает дверь из кухни и смотрит, кто пришел.

— А... очень хорошо! — говорит он слишком серьезно. — Ты... ну иди. Ладно, — бросает он, заметив, что Назаров направляется прямо в комнату к Варваре.

Почему прокурор так обрадовался Назарову? Надеется на его поддержку? Назаров не так уж прост. И с Петрушей у них отношения сложные, все мы знаем, что Мария Павловна ждет предложения от Назарова. А он медлит. Мезальянс? Она — простая медсестра, а он врач с большим будущим. Но она — моложе его намного, к тому же красавица, а он — маленький, лысый, с брюшком, эдакий живчик, совсем не похож на мага и волшебника, роль которого навязала ему Варвара, благоговеющая перед его дарованиями с тех самых пор, как он выхаживал младенца Даниила.

3

Навстречу Назарову выходит Саша. Увидев меня, он спрашивает:

— Как там?

Мы входим с ним в комнату и останавливаемся у порога, а Назаров идет туда, где лежит Варвара. И только тут я замечаю, что Мария Павловна здесь, что она читает Псалтырь.

Я быстро оглядываю комнату и не вижу никаких следов Сашиних поисков. Успели унести? Но когда.

— Все оформила, — отвечаю я. — Петруша требует ключи, — говорю я шепотом.

— А с кладбищем? Тоже? Когда? На завтра?

Я киваю утвердительно.

— Утром в церковь, — шепчу я, — потом на кладбище. Только еще нет машины...

Мне кажется, за моей спиной кто-то стоит. Неужели прокурор так грубо подслушивает наш разговор?

Я резко оборачиваюсь и вижу: дверь в комнату закрыта и за моей спиной никого нет. Когда же и кто ее закрыл? Я хочу открыть и посмотреть, не стоит ли под дверью Петруша, но Саша отвлекает меня.

— Дядюшка затевает войну. Сейчас начнется дьявольщина, будьте готовы. Это будет отвратительное побоище, но мы не уступим.

— Ему придется сказать о церкви и кладбище? Или не говорить?

— Как хотите... Это не имеет значения, он и так узнает... а, может быть, уже знает...

— Вряд ли. Откуда ему знать? Я никому еще не говорила.

— У них связь налажена, — печально говорит Саша.

Я не спрашиваю, у кого — "у них", я и так знаю, что он имеет в виду, он не раз говорил, что "воздушный князь" со своей ратью пролезает во все щели и мгновенно передают свои мысли и приказы нам...

— Он просит ключи, — говорю я еще раз, но Саша уже не слышит меня. Он медленно поворачивается ко мне спиной. Я успеваю заметить, что глаза его отсутствуют, он крайне сосредоточен.

Я и раньше замечала, как он погружался вдруг

посреди разговора куда-то в себя, и словно бы замирая, прислушивался к чему-то.

”Ты, наверное, т а м музыку слышишь?” — спросила его однажды Варвара.

Я стою все еще у порога и вижу, как Назаров что-то шепчет Марии Павловне. Она перестала читать Псалтырь. Саша сидит у секретера, спиной ко мне, плечи его опущены, голова низко склонилась на грудь, вид его со спины так печален и жалок, что у меня сжимается сердце от дурного предчувствия. Я не слышу, о чем говорят Назаров и Мария Павловна, но вижу, что они оживлены, мне даже кажется, что они спорят. Мне следует их оставить, решаю я и выхожу из комнаты.

В кухне все по-прежнему. Петруша и Леонтий все так же сидят по разным углам и явно ждут меня. Как только я вхожу, усталые глаза Леонтия напряженно вглядываются в меня. Леонтий, по всему видно, боится скандала, он так же, как и Саша, ждет отвратительного побоища. А я почему-то совсем спокойно и без всякого страха размышляю об этом. Неужели будет драка? Прокурор станет стрелять в потолок, сбегутся соседи, нас всех усадят в воронок и увезут неведомо куда, а Варвару сожгут с почестями. Пусть стреляет, куда хочет. Здесь мы не уступим.

Я чуть заметно улыбаюсь Леонтию. Он вскидывает брови. Петруша замечает наш немой разговор и презрительно усмехается.

— Шуточки шутите? Зови-ка Назарова! — приказывает он Леонтию.

— Что за тон! Ты забыл, видно, где ты... и вообще...

Леонтий зол. Кажется, пока меня не было, меж

ними что-то произошло. Леонтий, мы все это хорошо знаем, вулкан замедленного действия, он сначала молчит, со всем соглашается, все и всех терпит, и всех, якобы, хочет понять. Но до какого-то предела.

— Назаров занят. Подождешь, — вмешиваюсь я.

— Он нужен. Раз я сказал, значит, знаю, зачем сказал, — говорит Петруша раздраженно.

Они и в самом деле тут без меня схлестнулись.

— Ну и сходи за ним сам! — окончательно осмелела я.

— Там читают... э т о ... Я не хочу... мешать, — бурчит Петруша.

— Тогда сиди и жди! Без тебя все сделают!

— Что сделают? — подымается он и идет к Леонтию. — Она — баба, а ты, ты что — тоже баба? — голос его — пока он еще только шипит, — вот-вот сорвется. — У вас ни хрена не выйдет! Я не от себя это делаю! Мне что? За мной — люди! Не маленькие люди, а вы тут хотите самодеятельность устроить, сопли разводите, ерунду какую-то поете над ней! Воплениц еще не хватает!

— Мы хотим подготовить ее к погребению, — говорю я примиряюще, надо предотвратить скандал.

— А я о чем забочусь — не о погребении, разве? А о чем? — все тем же шипящим шепотом отвечает он мне и не успевает закончить, как входит Назаров.

— Сейчас сделаем все, что нужно, заморозим, — говорит Назаров, — найди, во что одеть, — обращается он ко мне, — Маша ее обмоет. Дай пару полотенец или тряпки почище, таз, ведро.

— Зачем тебе этим заниматься? — говорит прокурор. — В морге сделают, все будет оплачено. Они через час должны приехать!

— Какой морг? Мы ведь решили обойтись без морга. Гроб привезут, и мы сами положим ее. Подготовим и положим. Когда будет гроб? — Назаров смотрит на меня, я смотрю на Леонтия.

— Да, гроб... ты же заказывал, Леонтий?

— Петр заказал, — отвечает тихо Леонтий.

— Я ничего не заказывал. С чего вы взяли? Я договорился с кем положено о морге и об оплате. Увезут в морг, и все там будет, что должно быть. Нужно вскрытие. Вот, ты, врач, скажи, почему они, эти умники, боятся? Ведь надо же знать, отчего умер человек, который ничем не болел. Я хочу точно знать, от чего она умерла! Как юрист я, — тут Петруша даже изменил незаметно голос, он оказался барски-ласковым, бархатным, доверительно-обаятельным, — настаиваю на этом.

— Зачем? — отвечает Назаров и ладонью проводит по лбу, затем стряхивает ладонь. Волнуется, догадываюсь я, зная, что означает этот жест, он учил нас так снимать напряжение и избавляться от угнетающих мыслей, — диагноз ясен. Здесь был доктор. Инсульт. Чего ты хочешь еще?

— Это — второй инсульт! Первый был после смерти сына, — вступает в разговор Леонтий, он уже накален, — ты забыл? Почему ты утверждаешь, что она н и ч е м не болела?

— Я лучше знаю, что делать. Она — м о я ... Мой близкий человек, — голос Петруши наполняется неподдельной скорбью, мне даже кажется, он вот-вот зарыдает.

— Что значит — м о я ? — я вижу, Леонтий взбешен, ему стоит огромного труда сдерживать себя, — твоя? Почему не моя? Или не ее? — Леонтий пока-

зывает рукой на меня. — Она — самый старый ее друг! А ты — кто ей? Муж? Брат?

— Ну, я не обязан тебе давать отчет — кто я и что я! — Прокурор явно растерян от напора Леонтия.

— О чем ты толкуешь, Петя? — вмешиваюсь я, пользуясь его растерянностью. — Почему ты хочешь обязательно настоять на своем? Зачем тебе здесь и сейчас устраивать... побоище... рядом со смертью? Помогите нам лучше, вызови машину и кто-нибудь из нас отправится за гробом.

— Когда же вы намерены хоронить ее и где, — одергивает меня Петруша, — если это не секрет? Может быть, мне сообщат, наконец?! Я знаю, кто здесь все мутит! Кто заинтересован больше всего, чтобы не было вскрытия, — он не смотрит на меня, смотрит в пол, но я понимаю, что он имеет в виду меня.

— Все в этом заинтересованы, — говорит Леонтий.

Петруша снова принял свою излюбленную позу, видно, это свободное, ни к чему не обязывающее положение его нескладной и обычно напряженной фигуры помогает ему сейчас сдерживать свой прокурорский тон. Значит, он убежден в своей правоте и в праве обвинять нас. Что с ним? Почему он играет одну и ту же роль примитивного злодея? Как это до сих пор не наскучило ему?

— Кто же? — спрашиваю я спокойно. — Уж не я ли?

— Знает кошка, чье мясо съела, — отвечает он с холодным смешком. — Твоя роль в этом, как ты называешь, погребении, наводит на грустные раздумья. Твоя роль всегда при ней была двусмысленной — дузня, наперсница забав и нравственный

надзор. Варвара терпеть тебя не могла! Это ты сводила ее с Ардашниковым!

— Вызови-ка лучше машину. Надо позаботиться о гробе! — говорю я.

— Ты и заботься.

— Бросьте чепуху! — не выдерживает Назаров и снова сбрасывает ладонью что-то со своего лба, — сейчас я вызову похоронного агента.

— Попробуй! — отвечает с издевательским смешком прокурор.

— Сейчас я все устрою, у меня есть один пациент, он все сделает. Когда кремация? — обращается ко мне Назаров.

— Кремации не будет! — говорю я не ему, а Петруше. — Сначала будет отпевание в церкви. Завтра утром, после обедни, потом мы повезем ее на энское кладбище! В котором часу — трудно сказать. Как получится! Машины еще нет. Кстати закажи, Назаров, и машину.

Я не хочу смотреть на прокурора. Я уже знаю, почти физически чувствую, как вокруг Петруши сгущается воздух, становится сначала плотным, густым, он окружает его со всех сторон, и я вижу, что он еле дышит от напора густых и жестких струй. Пожалуй, эти струи имеют и свой цвет, серо-белесый, цвет дождевых червей, телесно-мертвый цвет полужизни. Прокурор быстро привыкает к такому напору, погружаясь и растворяясь в этом воздухе, теперь он уже не так упруг. Невозможно, понимаю я, вырвать его из этой дьявольщины. Значит, прежде, чем мы добьемся своего, нам придется пройти через здешний ад.

— Гроб можно в случае чего и завтра? — спрашивает Назаров у Леонтия.

— А на чем же ты его привезешь? — вместо Леонтия отвечает Петруша, у тебя есть с в о й грузовик? И как это вы думаете заказать похоронную машину? Вы что, не знаете, что покойники по неделе ждут очереди? — Он встает с места. — Вот что, дорогие мои, я все понял. Уж не Ардашников ли... этот импотент позволил вам... У вас заговор! Вы что-то химичите, мягко говоря. Хотите прикрыться церковным обрядом. Все это — достоверно может быть. Могло быть. Однако, Варвара Федоровна... не принадлежала к вашей... она ваши обряды имела в виду! Она была человек свободный, в некотором роде, слишком свободный, поэтому и терпела вас... Она — советский ученый мирового масштаба, и никто не позволит вам... устраивать вашу ничтожную пропаганду, пользуясь тем, что она, видите ли, уже в гробу... Да и что скажут ее коллеги? Кто? Варвара — вавилонская блудница и вдруг — церковь...

Смех Леонтия прервал речь прокурора. Петруша вздрогнул и посмотрел на него с недоумением. И тут же понял, что совершил бестактность, сказал постыдную нелепицу, сам не понимая ее смысла. Однако было поздно исправлять оплошность и он пошел в наступление.

— Что тут смешного? Ты смеешься? Над чем же?

— Никто над тобой не смеется. Нам понятно, ты случайно оговорился, — поспешила я смягчить ситуацию, но не сумела удержать улыбку.

— Как? Вы еще смеете издеваться надо мной? Мало того, что вы ставите меня в ложное положение, мешая мне выполнить задание общественности... Вы еще жалеете меня! Да как вы смеете, ведь вы отлично все знаете, я не хотел об этом теперь говорить, но придется... Варвара Федоровна была

моя гражданская жена, я — единственный из вас, кто имеет право... а не Ардашников. Он какой-то интригой заставил ее быть... с ним, скорее всего, она спасала меня. А теперь вы мне мешаете — и не мне одному, учтите это! Мешаете проверить — не он ли виноват в ее смерти! Это — серьезно, учтите. Он — самоубийца и кого хочешь сделает самоубийцей, его давно пора убрать... Вы же не даете мне установить справедливость и не подпускаете меня к важнейшим документам! Вы в сговоре с ним! Но это вам не поможет. У меня на всех вас есть материал! Я сейчас распоряжусь... я не хотел ради ее памяти, но вы вынуждаете меня! Я дам сигнал, чтобы задержали врача, который дал вам фальшивую справку! Я вижу, это похоже на... убийство! — Петруша вскочил, противно взвизгнул и топнул ногой.

Такого еще не было! Шутит он, что ли? Я смотрю на Петрушу в полном недоумении: неужели он утратил всякое ощущение реальности и впал в беспамятство и бред? Не успела я разобраться в этом, как в дверь вошел Саша. За ним — Мария Павловна. Кухня у Варвары была немаленькой, но сейчас она показалась мне тесной, забитой до предела.

— Что ты тут кричишь при покойнике? — спросила Мария Павловна.

— Вам лучше покинуть этот дом, дядюшка, — сказал Саша.

— Как покинуть? Мне? А почему не тебе? Кто ты такой?

— Нас не интересует твоя тяжба с Ардашниковым! — Леонтий схватил прокурора за полу пиджака и с силой дернул.

— Даниил был его сыном! — говорю я зачем-то.

— Ладно. Успокойтесь! — Назаров встает между Леонтием и Петрушей. Назаров нервничает, у него дергается веко. — Что за дичь? Какая глупость, сейчас уже никак не время, вы забываетесь оба! Я прошу вас. Сейчас мы все уладим! — сыплет он словами, и я не успеваю следить за ними. — Ты, Петр, все-таки должен соображать, что можно, а чего — нет. Ты — не прав, брат!

— Как не прав! Я не о себе пекусь! Не от себя действую. Я вас предупредил. Что значит — не прав! Это — произвол. Вы захватили чужую квартиру, специально не даете отвезти труп в морг, чтобы квартиру не опечатали. Я прошу ключи — мне не дают. И я еще виноват! Какая наглость! Я ведь для дела прошу! Мне поручено разыскать то, что нужно для ее памяти!

— Что именно, дядюшка? — Саша подошел к прокурору вплотную и смотрел ему прямо в глаза. — Говорите, не стесняйтесь. Что бы вы хотели взять из бумаг Варвары Федоровны?

— Ты меня допрашиваешь? Щенок. Да если хочешь знать, по тебе психбольница плачет! Я столько для тебя сделал, из детдома взял ради покойной сестры. Эх ты! Не думаешь ли ты, что раз ты — мне родня, я тебе все позволю?

— Психбольницей не пугайте. Ни к чему это! — говорит Саша, — ведь, вот вы, дядя, хотите арестовать душу Варвары Федоровны. И хотя не верите, что душа есть, все же знаете, что душа — ценность, мира целого стоит. Вот вы и желаете, не по своей воле, конечно, погубить ее, арестовать, не пустить ее к Богу. Но это пустое. Душа вам не подвластна. Вы можете тело арестовать, а душу можно только ку-

пить или прельстит обманом. Но уже поздно. Она не здесь уже...

— Ну да... — говорит Петруша на сей раз тихо, мне кажется, он несколько растерян, — не здесь. Как же, слышал, не раз. Не здесь, а где же? Ладно, не объясняй, — тут он повышает голос, видно, снова обрел силу, — Варвара здесь. И я не позволю вам осуществить свой заговор. Мне теперь ясно, что вы все вместе, это организованное... мероприятие. Только я еще... не совсем понимаю, зачем вам нужно прикрыть свое преступление обрядом? Проще было похоронить, как положено, и все шито-крыто... Для чего вам этот странный маневр? Ведь он опасен прежде всего для вас самих?! Он привлекает внимание к вашему...

— Заговору! Ну, что ты стесняешься, Петя? Ты ведь нам угрожаешь: организация! Немалое дело! Чего уж тут стесняться? — спрашиваю я, — Сашу ты запрешь в психушку, а нас куда-нибудь подальше!

— Ишь ты, чего захотел узнать, — продолжает раскручиваться Леонтий, — ты захотел узнать то, что никогда тебе узнать не дано...

— В психбольнице тебе местечко надо взять самому, — кричит неожиданно Мария Павловна. — У тебя — мания величия! Для чего ты хочешь Варварины бумаги получить? Он хочет совершить переворот! — Мария Павловна нервически смеется.

— Поздно! — говорит Саша, не обращая внимания на Марию Павловну.

— Государственный?! — спрашивает зловеще Леонтий и непонятно, шутит он или нет. — Я думал, ты романтик, Петр, но ты, оказывается, опасный романтик!

— Шантаж, — возмущается Петруша.

— У тебя мания величия. Ты хочешь занять место Ардашникова, это всем известно. Почему ты думаешь, что Варвара...

— Не стоит об этом, — прерывает Марию Павловну Саша, — все уже понятно. Вы, дядюшка, — не Чичиков, и вам не удастся присвоить душу покойной Варвары Федоровны и ее покойного сына. Вы не можете помешать нам, у вас нет этой власти.

— Вскрытие покажет...

— Ничего оно не покажет. Ты только надругаешься над ней! — говорю я решительно.

— А за это... за это, дядюшка, — Саша поднимает указательный палец.

— Плевал я на твои угрозы, щенок! Я с тобой вообще не хочу говорить! Кто из вас здесь главный? — он обвел нас всех взглядом и остановился на мне. — Пойдем, поговорим вдвоем. Здесь слишком много свидетелей, — он берет меня за руку и выводит из кухни. Мы проходим мимо ванной комнаты, и он, открыв дверь, решительно берет меня за руку и вводит туда.

— Сюда зайдем!

— Лучше в комнату! — прошу я.

— Некогда, разговор короткий! По-видимому, ты всем здесь заправляешь. Ты, единственная, была при ней, когда она умерла, и ты захватила ее ключи. Так ведь? Ключи от ее ящиков. У Варвары были сбережения, там были ценные рукописи. Бесценные рукописи, которые она хотела подарить своему народу — в музей. Но ты их решила отправить за границу... — он говорит это, ничуть не стыдясь, и смотрит на меня изучающе своими бесстыжими глазами. А я ушам своим не верю. Что это? Отработан-

ная схема? Но почему она так чудовищно примитивна и глупа? Никакой фантазии. Петруша между тем продолжает, не видя, что за спиной его открылась дверь и там стоит Саша. — Под видом, как это называется, под видом сохранения национального богатства, которое ты поменяешь на другое...

— Какая низость! — тихо говорит Саша. — Возьмите себя в руки, дядюшка, вы ведь тоже можете внезапно скончаться. Вы — человек, неужели вы забыли об этом! — Саша отстраняет прокурора и хватает меня за руку. — Пойдемте сейчас же, зачем вы слушаете его!

— Представьте себе, — говорит Саша, входя в кухню, — он обвиняет нас в продаже ценностей Варвары Федоровны за границу.

Никто не отвечает, все настолько потрясены, что утратили дар речи. Молчание, однако же, длится не так уж долго, его нарушает Назаров.

— Это — глупая затея, Петр. Сейчас же прекрати ее! Ты не в себе! У нас еще дел по горло! — говорит он, нервно меряя шагами маленькую кухню. — Кому-то надо немедленно ехать за гробом! Я не смогу, мы с Машей должны заняться обмыванием и заморозкой.

— Надо сообщить, — прерывает его Саша, — что панихида будет в церкви завтра утром, и все, кто хочет проститься с Варварой Федоровной, пусть приходят туда...

— Дай мне ключи, пожалуйста! — говорит, как ни в чем не бывало, Петруша.

— Вы, дядюшка, напрасно ее мучаете. Ключи у меня, и я вам их не дам ни за что! — Саша как-то склоняет голову набок, и я замечаю, что он побледнел, а губы его сжаты и тоже бледны до синевы.

— Смотри, Назаров, Саше нехорошо, — хватаю я за руку Назарова.

— Да! Мне нехорошо! — говорит Саша медленно. — Нельзя так долго нарушать священную тишину, которая должна быть в доме покойника. Это — большой грех, дядюшка. И сегодня, когда... Нам осталось, дядюшка, совсем мало...

— Кому — н а м? Вам или мне? — раздраженно спрашивает прокурор.

— Вам тоже, дядюшка. Мы скоро все там... окажемся. Что мы ответим? Что мы не поделили?

— Это вы не поделили, вы и будете отвечать, — устало говорит Петруша. — Я хотел, как лучше. У меня были высшие соображения. Вы высмеяли меня, обошли. Ну, что ж, я — человек... — он садится на свое прежнее место и закрывает голову ладонями, словно хочет прикрыть ее от ударов.

Назаров говорит:

— А почему бы нам не принять такое решение: отпевание, а потом крематорий. Там в крематории и будет гражданская панихида, раз ее коллеги решили, что это нужно...

— Компромисс? — спрашивает Леонтий. — Нужны ли компромиссы, когда человек мертв?

— Она хотела быть похороненной рядом с сыном, при чем здесь коллеги и их официальные мероприятия? — говорю я решительно.

— Откуда тебе это известно? — спрашивает Петруша. — Ничего вы о ней не знаете. Она не ходила в церковь, насколько мне известно, а вы хотите, когда она уже не властна над собой, отнести ее туда. И хотите, чтобы я туда пошел! Но мы с ней... брезгуем этим!

— Откуда ты знаешь, — ходила она или нет! — вмешивается Мария Павловна.

— Это скрыть невозможно, никому еще не удалось! — отвечает глухо прокурор. — Она презирала ложь и смеялась над ложью и в том числе над той, которую вы хотите навязать ей теперь. Вас обманывают в вашей церкви, а вы делаете вид, что не замечаете этого. Варвара Федоровна была слишком умна, чтобы верить в обман. Неужели вы не знаете, что деньги, которые вы заплатите за ее отпевание, пойдут не только попом?

— Знаем. Тебе же и пойдут, — Леонтий все еще рвется в бой.

— Мне они не нужны. А вот Ардашникову! Такие, как он, и грабят вас! А вы мне мешаете установить справедливость! Я знаю, что он, его группа... Я должен бороться с ним!

— За церковь? — спрашивает Саша.

— У тебя мания величия, Петька, — говорит Мария Павловна, — ты хочешь совершить переворот.

— Нет, ты все-таки скажи, чем же ты отличаешься от Ардашникова? Я хочу именно это знать! — вскакивает со стула Леонтий, подбегает к Петруше и хватает его снова за полу пиджака.

— Не понимаешь? Эх, ты! А еще — поэт. Какой же ты — поэт, если не различаешь ничего?

— Уже поздно, — говорит Саша, — идите, матушка, читайте дальше.

— Значит, вы наотрез отказываетесь исполнить решение? — спрашивает Петруша, поднимаясь со своего места. Теперь они стоят друг против друга, он и Леонтий. К ним подходит Саша, в кухне снова становится слишком тесно.

— Поздно, дядюшка. Вы ничего не успеете.

— Что не успею?

Саша стоит вполоборота у кухонной двери. Она открыта, Мария Павловна остановилась в коридоре и ждет, вслушиваясь в разговор прокурора и Саши.

— Разве вы не видите, что ничего не успеете? Сыны противления ничего не успеют! Вы не понимаете, дядя, что вы в плену?

— Да, загнул. У кого же я в плену, голубчик ты мой? У тебя, что ли? — он хитро подмигнул Саше. — Уж не собираешься ли ты ко всему прочему заняться антисоветской агитацией? — смеется Петруша, но смеется добродушно, видно, ему самому нравится его находка, — но я-то менее всего го-жусь для этого.

— Нет, дядюшка, у меня нет этого в мыслях, я не научен этому. Вы поработаны, поэтому и делаете и говорите то, что невозможно делать и говорить нормальному человеку, вы исполняете чужую волю, которая влечет вас к совершению убийства. Убийство совершить не так легко, для этого нужно создать условия в самом себе прежде всего, потом вокруг себя. А как создать условия? Извратить. Надо ложь выдать за правду. Вы знаете, дядя, конечно, кто — отец лжи?

— Лекцию читаешь? Сталин, что ли?

— Нет. Не Сталин, дядюшка! Совсем не Сталин. Отец лжи — дьявол. Он поработает ум и сердце и через мысль и чувство учит, что надо сделать, чтобы легче было убить. Но и этого мало. Силы, предназначенные на убийство, должны возрасть... Убийство России, ее души, ее церкви, а вслед за этим — убийство всего мира. Поэтому и нужно всех отмо-лить в Церкви, и вас тоже, а если не успеть... тогда...

— Ну и что тогда? — спрашивает Петруша, и лицо его каменеет. Сейчас, я чувствую, может разразиться еще один скандал.

— Это слишком серьезно, Александр, ты потом доскажешь! — Назаров делает знак Марии Павловне, и они уходят. Саша идет вслед за ними, но у дверей останавливается и стоит в нерешительности.

— Все-таки это преступление, — говорит Петруша, глядя на меня, — не лечить больного человека... Кончится это трагически.

Он смотрит на часы, потом поднимает глаза и замечает Сашу.

— Да, вот так! Я так говорю. В ответ тебе. Первый акт закончен. Не думаю, что вы его провели наилучшим образом. Я один. Вы не любили ее. Один я не могу решить все эти сложности. Надо проконсультироваться.

Прокурор быстро поднимается и идет к двери. Саша молча уступает ему дорогу. Но не успевает Петруша пройти и шага по коридору, как Саша говорит достаточно громко.

— Как это страшно! Он обречен. Если мы не поможем ему, он не сможет поднять своего креста.

Прокурор круто поворачивается и идет обратно. Но у двери останавливается и оглядывает нас всех. Он что-то хочет сказать, но не говорит. Я замечаю, что глаза его не видят нас.

Как только за ним закрывается дверь, Саша возвращается на свое место. Мы молчим, мы обессилены, измучены, мы не можем ни о чем разговаривать.

Что это было? Как мы оказались втянутыми в эту сумасшедшую карусель, в это бессмысленное действие, кому понадобилось выжать из нас все силы, чтобы теперь мы сидели жалкие, истерзан-

ные, немощные, добившись своего в этой невероятной дуэли. Но чего мы добились? И чего добивались?

Это только передышка. Когда же начнется второй акт этой необъяснимой драмы?

— Стыдно, — говорит Леонтий и снова замолкает.

Почему стыдно, хочу спросить я, но у меня нет сил, я не могу произнести ни одного слова.

Я хочу вспомнить, с чего все началось.

— Я ничего не помню. С чего это началось? — спрашиваю я.

— Кто-то, кажется, сказал, уж не ты ли — что Петруша хочет арестовать душу Варвары. И тогда...

— Да, да, — вспоминаю я.

Петруша и не предполагал, что его благие намерения могут быть так истолкованы. Он, наверняка, и не думал о том, что хочет арестовать душу. Он вообще не признавал душу. Она запретна, хоть ее и нет. Однако же, арестовать душу, это все равно, что арестовать Бога. Он и в самом деле не понимал, в чем мы его подозревали. Но почему же он так наступал на нас? Кто-то и в самом деле за ним стоит. Поэтому он так уверен в себе, в своей правоте, знает, чего хочет, и уверен, что ему удастся этот странный арест. Он не такой дурак, чтобы добиваться какой-нибудь чепухи, он не первый год служит прокурором и привык продумывать свои действия, он называет себя творческим человеком, не любит рутину и хорошо знает, что позволено, а что запрещено. Знает, что "здоровый" эксперимент полезен любому делу. Варвара мертва. Зачем ей почести, у нее нет родственников, которым это было бы приятно? Значит, прокурор все-таки

знает, что он посягает на ее душу. Он хочет потягаться с Богом.

Могли ли мы думать, что до сих пор, избегая любых стычек с Петрушей и защищаемые Варварой в минуты его раздражения против нас, теперь после ее смерти, сможем так безоглядно вступить с ним в эту битву, не предвещающую нам ничего, кроме наказания? Мы слишком хорошо знаем, что он не оставит нас в покое, пока не придумает подобающую казнь за столь дерзкое непослушание.

— Мы очень рискуем, — говорит Леонтий.

— Да, — отвечаю я.

— Мы увлеклись, — продолжает Леонтий. — Виновата давняя вражда...

Он не знает, что мы рискуем не только потому, что вступили во вражду с Петрушей.

Мы вступили в д р у г у ю вражду! В борьбу за то, чтобы д о б ы ч а дьявола — несуществующее — стало существовать!

Это слишком рискованно. И не по плечу нам. Только Бог может назвать несуществующее сущим. Вызвать из небытия, то, что уже погибло, и превратить в небытие то, что только началось. Прекратить начало, красоту цветения, буйство звуков, красок, нежное благоуханное дыхание. Только Он может так скрестить две плоскости, что одна из них покроет другую, исчезнувшую в черной пучине во мгновение ока, не видящего это исчезновение. Только что рожденная плоскость покроеет погибшую плоскость, поверхность затянет поверхность, у многострадального Иова, потерявшего всех своих детей, родятся новые дети. А те, которых унес ураган, которых поразила молния, смыли воды — поглотила поверхность? Г д е они? Уж не дер-

заем ли мы воскресить погибший вчера со смертью Варвары мир — груды обломков, развалин, костей, оставшихся от н и ч е г о ? О чем мы говорили эти десять, двадцать, сто лет? Почему я не помню этого? Неужели возможно это вернуть, воскресить, чтобы из ничего возникло буйство красок, цветение плодов, арфа и флейта?

Прокурор сегодня ночью разобьет японскую посуду и вилкой будет рвать — впопыхах ему попадется вилка вместо ножа — японский или австралийский абажур, швырять ногами по полу сброшенный со столика японский магнитофон. Вилка будет гулять по картинам и наносить раны антикварной мебели.

— Пустая затея, — говорит Леонтий, — он сейчас вернется, а мы сидим и ничего... Когда же они закончат т а м ?

Я молчу. Пустая затея.

Мы не можем воскресить этот мир, погибший вчера. Мы одни ничего не можем. Но мы не одни. И прокурор не один.

Разве мир Варвары, ее синие чашки, австралийские или новозеландские шали, е е культура — сгусток культуры мира, накопленной веками, — ее храм или музей, как она еще называла свой дом, все это было собираемо для того, чтобы прокурор в одну ночь все разгромил? Угол Божьего мира, его предместье, его закоулок, почитаемый его покойной владелицей за центр мироздания. Но ведь мир не клочок плоскости, не экран, на который наплывают различные изображения по воле и фантазии режиссера. И, если у Бога есть все, что мы когда-либо видели и знали, и все, чего мы никогда не видели и не знали, есть даже потайной город, состоящий из

пустых квадратов, куда на рассвете входят оккупанты, то неужели у него нет места для *этого* мира, который погиб вчера и может воскреснуть сию минуту?

У Бога есть все, но в Его едином мире остается лишь то, что Он Сам оставляет.

Значит, мир все-таки — экран, и я смотрю на него сейчас, на это мелькание пустых квадратов и углов, которые слишком недолго остаются пустыми. Вот в одном из углов мира — ринг, он на самом краю, он еле держится, глядишь, и соскользнет с экрана, там два безликих (опять, что ли, прокуроры? Почему-то похожи лицом на Петрушу) молотят друг друга по несуществующим лицам и когда их удивленные собственной жестокостью сердца устают терпеть, они сваливаются с ринга куда-то туда, откуда я не могу их достать. И на этот квадрат, заполненный безликими борцами, бой которых сопровождается раздирающими душу воплями восторга, наплывает нежно-сиреневый цвет.

Это Варварина блузка, вся в воланах, шелестящих или, скорее, хрустящих, как хворост, лежащий на огромном блюде синего цвета посреди стола.

День рождения хозяйки, розы, ландыши, смущенное лицо Петруши.

Ей нравится его подношение — фарфоровые шуты — она целует его в щеку.

Горка синих чашек в углу, а пока еще до чая далеко — ужин. Неужели я видела, какие яства были тогда на столе, почему же я не помню, что мы ели и пили, ведь Варвара любила и умела угощать?

Цвет ранней сирени уходит с квадрата, он снова пуст, и на нем черные клочья человеческих тел. Это — камера, на полу спят вповалку люди, им хорошо,

почти так же хорошо, как победителю на ринге, как смущенному Петруше. Они угрелись, они спят, ночь только приближается к перевалу, еще есть время, их, может быть, никто не тронет до утра.

Неужели все это — одно и то же, существование во времени и в небытии — бытие без корня, поэтому так легко заполняются и пустеют квадраты и углы, так легко исчезает одна плоскость, перекрещенная с другой? Поутру придут прокуроры и до Страшного Суда совершат с в о й суд, сотрут небывшее бытие. Они прикажут попросту сжечь пленку, сожгут ее прикосновением одной только спички. От одной спички можно зажечь не только километры пленки, но и огромные костры книг. Интересно, как в современных печах современные варвары сжигают книги и рукописи? Так же, как трупы, наверное.

Прокурор продумал следующий акт, который должен будет заполнить пустой квадрат. По-видимому, тот, кто диктует Петруше сценарий, не дает ему ни секунды передышки. Даже ночью.

Как известно, "враг человеческий" ночью засеял поле плевелами.

Он думал, что хозяин, устав сеять пшеницу, заснул.

Дьявол не наивен, а пошел и потому решил, что Бог после того, как сотворил мир и, обрадовавшись, почил, не знает о том, что он придет сеять плевелы.

Бог слишком любит мир, чтобы превратить его в экран, в углу которого возникает несуществующее и исчезает бесследно. Он знал, что враг придет сеять плевелы. Для чего же?

Для того, чтобы остаться пшенице? Значит, она не может вырасти без сорняков? И до какой-то поры миру необходим сатана, а нам нужен Петруша?

Зерно должно пробиться сквозь толщу земли и обойти тернии для того, чтобы превратиться в пшеницу Бога, в хлеб, который дает жизнь миру. Плевелы будут сожжены, когда будут не нужны пшенице, когда она войдет в силу.

Сатана, по-видимому, рассчитывал на то, что выдаст плевелы за пшеницу, и мы подавимся фальшивым хлебом из сорняков, задохнемся, он забьет нам рот, и мы будем бессловесно кивать головами, как безликие борцы на ринге. И будем ненавидеть Бога за этот мерзкий лживый хлеб. Это ведь Он, — кричат нам. — Он создал душегубки и войны, лагеря и тюрьмы, фашизм и тоталитаризм, и синие чашки Варвары. И все это вы называете плевелами, — говорят нам...

Подумать только, во что может превратиться ум человека, созданного по образу Бога, если он хочет, чтобы жизнь его уместилась в пустом квадрате, который он заселит по своему собственному сценарию. Чтоб на этом квадрате колосилось золотое поле пшеницы, лился золотой дождь с неба, бесперебойно ходили трамваи и метро, к дому подъезжал лимузин, а дети никогда не болели и без хлопот поступали в институт. Чтоб не было крапивы, мышей, крыс, червяков и прочей гадости. Чтоб в квадрате уместилось все, чего добилось человечество за свою славную историю.

А значит — войны и душегубки. Лагеря и тюрьмы. Психушки, фашизм и тоталитаризм рядом с синими чашками Варвары. Нет, этого не надо, — говорят нам. А смерть? И смерть нежелательна, если все так будет хорошо и славно... Все так чисто, красиво, уютно и вкусно, когда надо — прохладно, когда надо — тепло и так далее. "Ах, как мило, как

это мило, что ты принес мне этих шутов!” “Какие у них умильные личики!” — щебечет Варвара. И мы улыбаемся, как шуты, делаем умильные личики, ну прямо один к одному! “Вы мои куколки, кузнечики, лапушки, дружочки мои, какое счастье!” Шуршит сиреневый шелк, хрустит Петруша хворостом. Куколки, жучки, кузнечики, бабочки, так легко нас взять и пересадить из одной спичечной коробки в другую. С земли на небо. Наколоть сначала булавкой, ударив в самое сердце и — глянь — ты на небе! Но б у л а в к а - т о! Булавки не должно быть на этом квадрате. “Значит, ты хочешь сказать, что небо не для всех? — говорит с возмущением Варвара, — только для достойных?”

“Спроси у Петруши”, — отделяюсь я, мне надоело заваривать и разливать чай. Петруша любит слишком крепкий чай. — “Ты точно туда не пойдешь!” — выносит свой приговор Варваре Петруша, но ей все нипочем. “На то ты и прокурор, чтобы решать это”, — шутит она.

— Небо выстрадать нужно, — говорит Сашенька.

Он, оказывается, все это время сидел здесь, на кухне, и они с Леонтием о чем-то говорят.

— Мы мешаем вам? — спрашивает он меня.

Я не отвечаю.

— Но ей уже все равно, — отвечает Саше Леонтий, — мы это делаем в конце концов для себя. Это тоже своего рода эгоизм.

— Ей нужна молитва Церкви. Вы думаете, легко воскреснуть? Это — взрыв. Без помощи Церкви эта катастрофа может стать невыносимой для души.

— Зачем тогда все это? Если так трудно, если взрыв! Я принял бы другой вариант, — Леонтий рад разговору с Сашей, видно, ему тяжело молчать,

— легкое дыхание души. Вздох, она отлетела, легкое невесомое облачко, луч. Тихий, невесомый, и вот — она у Бога... Все земное — прах. Какая разница — как хоронить? Зачем церковь? Это все обряды, тяжелые, земные, чтобы плакать н а м, оставшимся, тосковать и знать, что мы выполнили свой долг...

— Ах, Леонтий Васильевич, вы фантазируете... извините меня, по-земному. Душа бывает тяжелой, она весит пуды, сотни пудов... хотя и невесома. Она разбухла от памяти — сказанных слов, нераскаянных грехов, страшных дел, не менее страшных мыслей, желаний, страстей... С нее надо снять эту тяжесть, защитить от демонов, которые не пустят ее к Богу, если она уж слишком тяжела...

— Нет, это некрасиво, Саша! — перебивает его Леонтий. — К тому же это — с т р а ш н о. Демоны, ужасы какие-то, мороз по коже... И неужели вы думаете, что Церковь может облегчить, так сказать, душу, — глаза Леонтия недоверчиво улыбаются.

— Это наш долг, Леонтий Васильевич, участвовать в воскресении... Вот и вы тоже...

— Я — гуманист. И не мог на сей раз перед лицом Вавиной смерти потерпеть насилие этого... мерзкого типа, так называемого Петруши! Он мне даже, извините, показался похожим на Мефистофеля... В один момент, когда он капризно топнул ногой, у него глаза блеснули желтым огнем, сатанинским горьким ядом...

— Почему ты думаешь, что у сатаны желтые глаза? — не удержалась я от вопроса.

— Желчь — желтая, мутно-желтая горечь... Так мне кажется. Я его ненавижу! Это плохо, Саша? Я его убью, если что... Все равно нам осталось немно-

го, вы ведь все уже расчислили, Саша? Сколько у нас дней или часов? Когда наши души умчатся вслед за ней? — глаза Леонтия блеснули из-под очков.

— Мы погибнем вместе с Россией, да, Саша? — продолжает Леонтий. — Это будет страшная смерть. Я знаю. И Бог не избавит нас от нее. Зачем вы, кстати я хочу узнать у вас это, зачем вы именно в церкви... за деньги, которые пойдут на оплату тем, кто губит церковь... будете петь над ней? Зачем эта дикость? Это — дань старине? Обычай Руси? Что это?

— Это — тайна, Леонтий Васильевич. Вот когда вы служите Богу, совершаете богослужение, каждая душа совершает богослужение, вы даже можете не знать об этом, потому что вы не знаете свою душу... вы знаете только часть себя, малую часть себя...

— Понятно, понятно, — Леонтий не дает Саше закончить.

— Ты боишься, Грач, да? — спросил я. — Боишься смерти. И думаешь, что Церковь и смерть одно и то же. Прокурор брезгует, а ты боишься. Ты брезгуешь материальной стороной. Богослужение за деньги тебе претит. Потому что ты думаешь, что служишь Богу бескорыстно. Да?

— Да, — кивает головой Леонтий, — можно ведь и здесь... попеть над ней. Вот читали Псалтырь, потом может попик попеть то, что нужно, ну, как положено...

— На это и Петруша согласился бы, — сказал я.

— Ах, милые вы мои, вы устали бороться, — всплеснул руками Саша. — Варвара Федоровна ждет от нас... Ей Истина нужна. Душе нужна Истина. Без компромисса. Именно сейчас ей важна наша победа.

— Вы думаете, мы победили прокурора? — спросила я.

Саша не ответил. Мне показалось, что он забыл о нас.

— Надо действовать! Я знаю, что нужно сделать! — воскликнул неожиданно Леонтий. — Это будет... Давайте увезем ее куда-нибудь! К кому-нибудь. Увезем и все! Украдем! Чтобы он не нашел ее! Никогда не нашел. Будь он проклят! Он хочет нас превратить в червей. Ты будешь червем, я превращу тебя в червя, а потом за это же — за то, что ты стал червем — я уничтожу тебя. Ты будешь извиваться. Знаете... танец червя? У меня есть стихи об этом. Мы запретим тебе танцевать твой танец! Мы выпрямим тебя. Выпрямим, выпрямим тебя! Так кончаются стихи, — я вижу, что Леонтий доволен собой, и мне почему-то это неприятно.

— Куда же мы ее увезем? И на чем? — спрашиваю я его.

— На телеге, — неожиданно говорит Сашенька.

Мы улыбаемся. Это смешно.

— Вы на телеге, Леонтий Васильевич, повезете нас хоронить. Уже никакого другого транспорта не будет... — говорит тихо, медленно Сашенька.

— Кого — нас? — мне становится не по себе.

Я уверена, что Саша говорит о том, что непременно случится. Я не знаю, откуда берется эта уверенность, но знаю, что так оно и будет. Кажется, я вспоминаю его рассказ о ташкентском землетрясении, в котором погибла его мать. Кажется, я закрываю глаза и вижу то, о чем он говорит.

Это не может быть выдумкой.

Но как он осмелился пророчествовать? Чем ближе человек к Богу, тем старательней он скрывает

свои дарования. Особенно дар пророчества. От себя ли он говорит? Он только что побывал у старцев, скрывающихся в тайных скитах, а они в последнее время все чаще предсказывают гибель, уже не скрывая своих пророчеств. Он явно неслучайно это говорит, кажется, он сказал даже: "мне было извещение" или мне показалось? Он говорит это, потому что мы находимся сейчас в исключительной ситуации...

Это будет накануне рассвета. Рассвет запоздает, солнце будет шадить оставшихся в живых. Оно пождет, пока они хоть немного привыкнуть к случившемуся...

Кажется, я боюсь смотреть и поэтому не могу достаточно четко увидеть зарево пожаров и свет костров, разбитые улицы, брошенные дома, взорванные мосты, забитые камнями уличные переходы, загроможденные трупами машин, автобусов и троллейбусов улицы. Я не могу смотреть на это огромное кладбище, на зияющие дырами коробки домов. Я не знаю, что случилось, почему этот серый огромный город превратился в черные развалины. Я не знаю, куда подевались транспаранты, красные орлята, дьяволята, соколята. Что это? Ураган, война, огромной силы землетрясение? Огонь с неба? Кто это сделал? Бич Божий. Но куда же девался Петруша? Где все и все? Неужели вместо лоснящихся самодольством автомобилей, стремительных голубых поездов метро, добродушных трамваев и неуклюжих троллейбусов осталась только вот эта дребезжащая старая телега, одно колесо которой вот-вот отвалится? Да и лошади нет, кого же впряжет Леонтий в эту дурацкую колымагу, чтобы отвезти наши с Сашенькой тела на кладбище? И как он протиснет-

ся сквозь тесные врата меж сгрудившимися развалинами? Успеет ли до рассвета добраться туда? Может и не успеть. Тогда нас не дадут похоронить! Зачем же ему флейта?

— Это будет не флейта, Леонтий Васильевич, а простая дудочка. Флейта погибнет. И арфа тоже. Вам придется выстругать дудочку из дерева, первого дерева, которое попадется вам по пути. Вы будете играть на ней, чтобы предупреждать о том, что везете покойников и чтобы вам расчищали дорогу, загроможденную останками этого безумного мира.

Но кто же впряжется в эту телегу? — хочу спросить я Сашу.

— Вы, Саша, большой выдумщик, — говорит Леонтий. — Однако, мы потеряли уже целый час. Он ушел ровно час назад, я специально посмотрел на часы. Скажите-ка лучше, что вы думаете по поводу моего плана — у к р а с т ь Варвару?

— Мы отвезем ее в церковь. Не завтра, а сегодня. Через два часа, самое большее. Он не успеет вернуться, — говорит Саша.

— Кто? — Леонтий удивлен.

Саша не отвечает. Обращаясь ко мне, он говорит:

— Вам надо об этом договориться, ведь вы за это не платили. За ночь в храме?

— Нет, — отвечаю я, все еще слыша натужный скрип телеги. Как медленно она передвигается, натываясь на груды развалин.

— Зачем? — говорит недовольный Леонтий. — Напрасно все это. Только обозлим его еще больше! Вавочка была бы против!

— Она еще тогда не знала, что без этого невозможно жить! — говорит Саша.

— А если это разрушат... как все в вашем забавном пророчестве? Погибнет искусство... значит погибнет все!

Саша смотрит на Леонтия сначала с любопытством, с нежностью, с любовью, затем глаза его становятся требовательными.

— Это нельзя разрушить. Нельзя продать и нельзя купить. Церковь здесь... — он чуть протягивает руку и пальцы плавными полукруглыми движениями, упруго подрагивая, прикасаются к пространству, начинающемуся у его груди. Кажется, что он бережно притрагивается к чему-то прекрасному и чистому, еле-еле притрагивается, боясь нарушить эту красоту, потревожить ее покой.

”Ликуй, дочь света, святая мати Сион! — звонким, тонким, громким голосом, нараспев произносит Саша. — Украшайся великая невесто небеси подобная, светлоблистающая вселенская Церковь Христова! На Тебе почивает Дух Святыи, немощная врачующая, оскудевающая восполняя, мертвья оживляющая и к вечной жизни приводя всех, достойно и праведно зовущих: Алилуйя!”

Когда я выхожу в город, я вижу, что багровое солнце уже истощило свой ядовитый цвет, пролив его на улицы нашего города.

Ослепнув от его бьющих лучей, он спотыкался, грохоча и стеноя.

Глава третья

1

— Дом вполне может быть оцеплен, — сказал Назаров. — Если Петруша...

— С чего ты взял? — Мария Павловна остановилась перед Назаровым и смотрела на него испуганно.

— Идемте, матушка, — пробормотал Саша и пошел вперед.

Мы возвращались из церкви, где оставили на ночь Варвару. Прокурор не знал об этом. Мы решили не говорить ему, где она. Через час на двери церкви повесят огромный амбарный замок. Сторож уйдет в сторожку и будет спать до утра.

”Дом может быть оцеплен...” Зачем? Надо бы спросить Назарова: ”зачем?” Чтобы арестовать нас, — скажет он. Мы нарушили распоряжение прокурора. Ограбили квартиру Варвары, взяли ее ценности, принадлежащие народу, и прикрылись церковным обрядом... Все точно. Закон на стороне прокурора.

Слишком много времени ушло на перевозку Варвары. Сначала не было машины, мы бегали по переулкам и ловили пикапы, пустые автобусы, ”скорые помощи”. Никто из тех, кто мог помочь нам, не соблазнился деньгами.

Как ни странно, нам помог прокурор: неожиданно пришла машина, которую он заказал, чтобы отвезти Варвару в морг. Наши благодетели появились как раз тогда, когда мы уже отчаялись найти что-либо и стояли у ворот в полной растерянности.

Но и они не нуждались в деньгах. Назарову пришлось сыграть Петрушу. Он кричал на них за то, что

они опоздали, грозился снять с работы, даже визжал, как прокурор.

— Ладно орать-то! — возмутился шофер. — Иди, вози вместо меня! Плевал я на тебя!

Он сел в кабину и нажал на стартер, но тут Назаров сделал прыжок, подлетел к кабине, всунул голову и сказал что-то на ухо шоферу. Тот вздрогнул, опустил на мгновение голову, потом выключил зажигание, вылез из кабины и сказал двум мужикам, сидящим в автобусе:

— Давайте поскорей!

Хорошо, что у нас было все готово, что буквально за час до этого какой-то пациент Назарова на служебной машине привез гроб.

Дальше все было просто. Сторож открыл церковь, поставил лавку, дал покрывало. Мы зажгли свечи, постояли возле нее — и все.

У дома, конечно же, никого не было. Никто не собирался оцеплять пустынный переулок, окружать старый громоздкий дом, ломать Варварины замки и увозить нас в застенок.

Темень, одиночество, молчание Варвары — вот что услышала я еще на пороге, еще до того, как кто-то из нас, нервно нащупывая выключатель, зажег свет.

Свет всего лишь усилил печаль одиночества и пустоту дома. Мы потоптались в передней, и тогда Назаров сказал Марии Павловне.

— Еще есть время и мы пойдем с тобой за покупками. Нужны поминки.

И правда, без поминок никак нельзя. Как же мы забыли об этом? Но я не пойду с ними, решила я, увидев, что Мария Павловна хочет попросить меня о чем-то.

— Я не пойду, — сказала я.

— Что нужно купить? — спросила в ответ Мария Павловна.

— Что хотите, — ответил Саша.

— Водки побольше, — сказал Леонтий, — надо бы выпить.

— Водки не купишь, — растерянно развела руками Мария Павловна, — уже поздно.

— Купишь, — возразил Назаров. — Мы пойдем туда, где нам все продадут... Есть такой человек...

— Еще один пациент? — обрадовался Леонтий. — С тобой не пропадешь!

— Что-то вроде этого, — улыбнулся Назаров и вышел вместе с Марией Павловной.

— Пойдемте сюда, — позвала я Леонтия и Сашу в дальнюю комнату.

— В синюю комнату! Да, пойдемте же! — воскликнул Саша.

— Почему синюю? — захотел узнать Леонтий.

— Так назвала ее однажды Варвара Федоровна, — пробормотал Саша, — кажется, там синие... что-то там синее.

— Обои, — увидела я, зажигая свет, синие обои, которых раньше не замечала.

— Ну вот все и сделали! А вы не верили, Леонтий Васильевич! — Саша присел на краешек тахты и ласково взглянул на Леонтия. Я села на другой конец тахты поближе к подушкам, чтобы опереться на них.

— Да, Саша, сделали. Но зачем? Я не знаю, зачем все это. Сейчас явится наш милый дядюшка и начнется второй тур дуэли. Зачем нам эта победа? Она слишком дорого обойдется! — Леонтий ходил по комнате, потирая руки, будто хотел согреть их.

— Христианство не для России. Сегодня я это понял. Вернее, Россия — не место для христианства. Ему в Риме — место. Там оно может расцвести. А здесь — одно убожество. В церкви — темь, мрак, как в убежище. Где крестные ходы, хоругви, колокола? Где радость победы? Нет, христианство не для нас!

Леонтий остановился перед Сашей.

Саша молчал, он, видно, изнемог.

Когда мы внесли Варвару в церковь, он тут же отошел от ее гроба. Я искала его глазами, но найти не могла и только перед самым уходом заметила его распластанную неловкую фигуру в углу.

Он догнал нас уже за оградой. Глаза его обожгли меня. Сухие, большие, глубокие, они прощались. Он ждет конца, догадалась я. Тонкий похоронный плач свирели, простенькой погребальной дудочки, вздрогнул в темном воздухе.

— Расцвет христианства это — Голгофа, — ответил, наконец, Саша. — Вы считаете, что для России это не годится? Но все, что с нами случилось, случилось именно потому, что мы слишком спешили к расцвету. Москва — третий Рим! Теперь попробуйка, проси у Бога, чтобы Он вернул нам храмы, которые мы разграбили, монастыри, которые разрушили, колокола, которые сбросили с колоколен, и прочее и прочее. Мы все еще хотим огня, света и треска, массового христианства. Но разве царский путь к воскресению через крест может стать массовым действием? Душа, вы правы, склонна к актерству. К искусству. Она и в церкви ищет восторга и наслаждений. Вы — поэт, вы ищете... образ... Что же вы можете найти? Наслаждение в крестных муках распятого Бога?

— Красиво... — сказал неожиданно Леонтий, — недурно, но невозможно... И все-таки, — он пододвинул нарядное кресло, обитое красным бархатом, и сел напротив Саши, — знаете, я хочу у вас спросить...

Сейчас вполне может начаться тот самый нестареющий и жестокий спор. Прольется водопад слов...

Когда они еще только на пути к водопаду, они текут довольно спокойно, плывут, как стадо рыб, сверкая своей лиловой до черноты чешуей, острыми зеркальными плавниками и фиолетово-синими хвостами. Сверкают своими масками, рождающими звук и запах. Текут к одному и тому же порогу, одним и тем же путем, сюжетом. Тогда они не знают еще, не подплыв, не достигнув того порога, что уже пусты, мертвы, потому так легко и несутся к пределу. Они еще не знают, что, стараясь обогнать друг друга и наслаждаясь течением, не смогли заметить, как вода вымывала их глубины, оставляя их пустыми, полыми, глупыми.

Перед порогом, перед концом водопад ускорялся, он шипел, урчал, разбиваясь на пустые осколки, и они быстро высыхали, мертвели и исчезали.

”Иди к колодцу!” Но разве я смогу когда-нибудь добраться туда? Сколько я ни пыталась, мне не удавалось пройти более двух или трех стадий пути. Но сейчас я не уступлю, иначе и мне придется погрузиться в этот водопад, из светлосерых и черно-лиловых чешуй, из масок, шуршащих, журчащих и пахнущих тиной, плесенью, ароматом водяных лилий и сухой пряной солью камышей. Я должна дойти туда, в этот обительный град, в обещанный город, мне достаточно только однажды вдохнуть его воздух...

Уже почти нет времени на сборы, но туда, однако же, и не надо собираться. Надо перестать ждать Пет-

рушу и не бояться, что его приход вернет меня с полдороги. Я все равно не могу предусмотреть все разговоры с ним, я не знаю, что на сей раз он приготовил для нас. Стоит ли гадать, что скажет прокурор и что должна буду отвечать ему я? Если я дойду до колодца и успею испить один глоток той воды, что мне Петруша, все Петруши?

Я оставляю Сашу и Леонтия как раз в ту минуту, когда Леонтий, заискивающе глядя в глаза Саше, задает ему роковой вопрос:

— Но почему я? Почему я должен выполнить эту тяжкую работу? Почему вы на меня...

Эти слова задерживают меня, задерживает мысль, разгадывающая их суть. Я понимаю, что Леонтий не хочет везти наши останки в телеге. Я понимаю, что он хочет жить, но не желает погребать мертвецов. Это неважно, говорю я себе. Его желание здесь ничего не значит. По-видимому, он будет оставлен для того, чтобы пройти ту дорогу, которая ждет меня. А, может быть, он нужен как летописец, который должен будет сыграть на своей дудочке погребальную песнь?

Теперь уже пора и в самом деле оставить их и забыть о том, что мне не удастся добраться до обещанного града, что, чем ближе я подойду к нему, тем все дальше он станет от меня и тем желанней будет дорога. Я должна забыть об этом непременно, да мне и некогда помнить об этом, ведь дорога меняется всякий раз, когда я вступаю на нее. На сей раз она слишком темна, темней, чем обычно. Мне кажется, что мрак, который мне предстоит пробить, прочнее гранита. К тому же, она сейчас предельно тонка, не дорога, а узкая тропинка, окруженная плывущими массивами чешуйчатых слов, кото-

рые хвастаясь своей силой, выплескиваются на тропинку. Они скользкие, и я спотыкаюсь и снова возвращаюсь назад. Я знаю, что не должна замечать их, слышать их плеск и видеть сверкание их плавников. Но они так привлекательны своей силой в этой безнадежной и беспросветной темноте, что ум ловит их, надеясь услышать то, что ему кажется сейчас самым важным. И все же воля сильнее ума, она учит его не трогаться с места, переждать, пока эти пустые, пестрые чешуйки не отступят. Пусть они исчезнут и дорога будет еще темней. Но ведь город — близко, рядом, вот за этой грядой мрака, которую надо прорыть насквозь и тогда, пройдя сквозь пещеру, можно будет выйти к свету. Он ровный и тихий, неподвижный и плавный, теплый и мягкий, словно бы его и нет, но его так много, поэтому-то и кажется, что его нет, и еще потому, что больше ничего на самом деле и нет, кроме него. "Иди к колодцу!" — слышу я. Там вода жизни, из нее возникнут смыслы слов. Что тебе Петруша, телега, дудочка поэта? Неужели ты не хочешь коснуться воды, которая живет все? Выйди мыслью, сердцем, духом, выйди за границу вещественного, за границы чувства, войди, погрузись в сердечное облако, оно сотворено из той воды...

Мне тяжело двигаться в полном мраке, хочу я объяснить свою медлительность. Если бы я увидела дорогу, призраки не смогли бы так отвлекать меня. Но это всего лишь уловка. Тем, кто не достоин света, нужно научиться двигаться во мраке, чтобы суметь разглядеть свет, когда он явится. Любовь Бога — огонь. Ведь не зря в час смерти так боялась душа Варвары встречи со светом! И как изум-

лена она, наверное, теперь, узнав то, к чему всегда стремилась и куда ее не пускали...

“Россия — не место для христианства, — сказал Леонтий. — Ему место в Риме...”

История не способна вместить Евангелие. Любая история, как бы ни была она продолжительна, ни история человечества в целом, ни история Рима, ни история России. Только начало вмещает все, все, что сотворено, и все, из чего разворачивается история. Евангелие вмещает в себя историю, возникшую из сотворенного начала. Оно вмещает историю, время и пространство, только потому, что оно — не история, а Благая весть о том, что будет происходить с историей. Благая весть о тайне, которую человечество должно узнать. Тайне Божественной и человеческой жизни, сочетаемых в Церкви. Тайна раскрывается в рождении, крещении, смерти, воскресении и вознесении. Ни один человек не приходит на готовое. Он должен все это пережить, все должно повториться именно с ним, в его жизни должно повториться Евангелие, поэтому Церковь в своем служении Богу вспоминает Евангелие ежечасно, чтобы человек пережил это не только во времени и пространстве, но и в духе.

Каждый день, каждый год и даны для того, чтобы это случилось: рождение, крещение, смерть, воскресение и вознесение. Всегда, пока существует мир. А чтобы эта тайна бытия открылась человеку, Господь пришел на землю и основал Церковь. И дал возможность записать в слове, что нужно знать, делать и понимать для того, чтобы свершилась полнота бытия.

Россия прошла только рождение и крещение. Ей предстоит, значит, смерть, а потом воскресение.

Смерть моей родины? Это невысказано.

Уж не блаженный ли Сашенька бормочет мне в ухо свои сумасшедшие пророчества?

Конечно, Господи, мы безответны. Чем мы можем оправдаться пред Тобой? Ты видел, как это началось. У Тебя тысяча лет, словно один день. В Тебе нет времени и нет истории, но она истекает из той точки, покоящейся в вечности, которую Ты однажды позволил назвать временем.

В какую же из ночей или в какой из дней и кто согласился зажечь это пламя? Сколько их было — сынов противления — один или несколько, десятков или тысяча? Видят ли они последствия своей измены Тебе? Видят ли как ржавое пламя, красная чернота, черная ржавчина ползет лавиной по теплой, живой еще, душистой земле и как ржавчина слизывает с нее дарованное Тобой благо?

Скорей всего, это было ночью, дьявол сеет свои плевелы во тьме и собирает во тьме, когда не видно цвета плодов. Скорей всего, это происходило ночью, он не терял времени, так как успел довольно много, ржавое пламя выжгло землю за довольно короткий срок, всего тысяча лет прошла с тех пор, как Ты подарил нам Себя, а тысяча лет у Тебя, как один день. И в этот один, единственный день уже к ночи, к концу, к пределу ржавое пламя слизало наши святыни — храмы и монастыри, священные книги, иконы, крестные ходы, хоругви и колокола, истощив нашу землю. Она не сразу утратила свою силу, слишком много Ты успел ей дать в этот тысячелетний день.

Она терпела издевательства над собой, и все-таки кормила нас из жалости и принимала в себя убиенных без погребения. Наверное, она все еще

ждала, как ждет мать пропавших детей, ждала, что мы опомнимся от этого кошмара и нам, наконец, станет стыдно за то, что мы предали Тебя. Но постепенно наша ложь стала смертельной для нее: сотворенная Тобой, она знала, что на ней невозможен рай без Тебя. И, чем больше мы издевались над ней, сжигая ее адским пламенем для воздвижения рая, тем быстрее приближалась ее смерть. Скучный хлеб, рожденный ею, не смог уже соперничать с водкой: если земля не может стать местом для рая, значит рай должен быть достигнут иным путем. Надо спойть всех: стариков и старух, детей и юношей, женщин и мужчин, так они легче и проще смогут уничтожать друг друга. Так их легче сделать рабами. Не будет хлеба, будет водка. Дьявол знает, что это кратчайший путь к нему — в ад, который кажется раем, знает, что его не так просто покинуть и вернуться на землю, отвергнувшую притязания создать на ней рай. Знает он и то, что после этого "рая" вряд ли можно возжелать неба: кто же станет ради далекого неба отказываться от близкого "рая"? Уж за этим он особенно бдительно смотрит до тех пор, пока не погибнет дух человека, до тех пор, пока он не сожжет свое сердце и свою землю ржавым всегубительным огнем лжи. А пока это не произойдет, он будет метаться меж страхом и ненавистью до тех пор, пока окончательно изнуренный страхом несправедного суда привыкнет к мысли о его неизбежности: ведь он виноват уже в том, что посмел искать рай, который не был объявлен раем...

Я открываю глаза. Саша и Леонтий сидят все в том же положении. Прошло, по-видимому, не более минуты. Но у Господа один день, как тысяча лет и одна минута, как...

— Ты знаешь, кто, оказывается, повезет вас на кладбище, — спрашивает меня Леонтий с усхмылкой.

— Мы сами, — говорю я, — на городском транспорте, не будем никого просить...

Я отвечаю механически и тут же спохватываюсь. Леонтий совсем не о том меня спрашивает. Речь идет на сей раз о нашем погребении. Милая игра продолжается: телега, дудочка. Надо же как-то отвлечься от Варвариной смерти...

— В поводу будет впряжен Петруша, — говорит Леонтий, притворяясь серьезным.

— Вы зря шутите, — Саша услышал в его словах насмешку и огорчен. — Разве это так уж смешно? — глаза его удивлены. — Это будет т а к а я дорога. Вам будет его так жалко, что вы устанете от слез...

— Почему? — недоумевает Леонтий.

— Это будет бесконечно? — спрашиваю я Сашу и слышу, как сердце мое сжимается от ужаса.

— Не знаю. Это будет долго. Пока все жертвы не будут погребены. Как же можно спастись, если не скорбью? — Саша запинается, может быть, он плачет и глотает слезы? Я боюсь смотреть на него.

— Потрясающе! — вскакивает с кресла Леонтий. — Это потрясающий по красоте... фильм! Черно-белый, а дудочка... дудочка какого цвета? Зелень. Сожженная зелень в черном дымном тумане... Будь я режиссер!..

— А кровь? — бормочет Саша и смотрит на дверь. В дверях стоит Петруша.

Я зачем-то вскакиваю с места и хочу что-то сказать ему, но тут же снова сажусь.

— Ах, это ты, Петр! Ты знаешь, что тебе пред-

стоит? Что нам предстоит? Тогда-то мы, наконец, полюбим друг друга, а, брат? Послушай-ка, ты будешь возчиком. Хароном, так, что ли? — обращается он к Саше. — Только на суше... Нет, возчиком. Хароном буду я. Ты будешь вместо лошади, коня. О, ты — настоящий конь! Будешь возить трупы, а я... я играть на дудочке! — Леонтий складывает ладони и тоненьким голоском что-то напевает.

— Ага, вот, я вспомнил, что я буду играть на дудочке. Чужую песенку. Песенку чужого поэта...

— Ты что, спятил? — отшатывается от него прокурор.

Я не понимаю, что с Леонтием. Юродствует? Хочет отомстить прокурору, сообщив ему о грядущей казни? Это совсем не похоже на нашего мягкого милого поэта! Он так терпим, ведь мы не раз оскорбляли его за его терпимость, называя соглашателем. До сих пор он мог быть раздражительным, взрываться, но позволить себе такой концерт!

— Да, я спятил. В психушку! У тебя найдется местечко, мой старый друг? Но с кем ты будешь тащить подводу? Коней нет, перевели коней на сосиски! Или ты меня к тому времени выпустишь?

— Какую подводу? — Петруша смотрит вопросительно на меня.

— Послушай-ка лучше чужую песенку.

— Избавились от Варвары и веселитесь? Пой! Хрен с тобой! Только недолго! — разрешает Петруша и садится рядом с Сашей.

Леонтий складывает губы в дудочку и напевает какую-то мелодию.

Я смотрю на его губы и вижу, что дудочка у него получилась кривая. По-видимому, нижняя губа его искривлена или он нарочно сделал такую дудочку.

Сейчас он похож на упрямого мальчишку, который учится свистеть, но не умеет как следует сложить губы. Он и прежде был таким упрямым, голенастый мальчишка, брюзгливый долговязый старик, капризное нежное дитя. Он умолкает ненадолго, потом начинает нараспев, речитативом, помогая себе рукой, словно крутит ручку шарманки:

Мир во злобе горит
Мир утонет в крови
Мир не может стоять
Без Христовой любви
Озверел весь народ
Верить Богу не стал
Все святое изверг,
Брат на брата восстал
Ополчились все
Против Бога Творца
И безумствует мир
Пред началом конца...
Не смущайся, мой брат
Нет ошибки нам в том
Что мы рано пошли
За пустынным крестом
Как бежал святой Лот
От Содома в Собор
И Илия Пророк
Тайно жил среди гор.
Во Российскую степь
Святой Павел бежал
И вдали от врагов
Силы дух исчезал
В непроходимую глушь
Прочь от мира беги

И взывай ко Христу:
"Помоги, помоги!"
Помоги обрести
Мне желанный покой
В непроходной глуши
Среди чаши лесной.

— Антисоветчина, — говорит Петруша, — кстати...
— У вас концерт? — Назаров открыл дверь, заглядывает в комнату.

Ему никто не отвечает. Петруша даже не смотрит в его сторону и продолжает, глядя на Леонтия:

— Это поможет мне... начать...

— Что вы хотите начать? — спрашивает торопливо Саша.

— Мы все купили, — слышу я голос Марии Павловны. Она выглядывает из-за спины Назарова.

— Ну вот и славно, — говорит Саша.

— Ваши угрозы, — продолжает, словно бы никого не слыша, прокурор, — я не считаю, не отношу к себе... вы сейчас, кстати, поймете это. Вы слишком легкомысленны... все эти ваши дудочки и прочее, словом, меня сегодня... Мне пришлось сегодня защищать вас!

Петруша смотрел на меня.

— И я это сделал достойно. Я забыл все... Но я должен предупредить!

— О чем, дядюшка? — спрашивает Саша.

— Не спеши! Не лезь! О чем, о чем? Ты-то что лезешь! — Петруша постепенно накаляется. Он, видно, ждет, чтобы я, а не Саша, задавала ему вопросы.

Пожалуйста. Я спрошу его.

— Ты, Петр, защищал нас... кого же, скажи?

— Это ты скажи! Ты сама знаешь. Кто и что... Ты ведь... знаешь формулу лжи?..

— Мы непричастны... — говорит твердо Назаров.
— Это к нам не имеет касательства.

— Почему же, доктор? — спрашивает Саша, не подымая глаз.

— А ты, действительно, не лезь не в свое дело! — кричит Мария Павловна, подбегает к Саше и хватает его за руку. — Ты нужен, пойдем-ка, дело есть...

— Хорошо, — покорно, наклоняя голову, уходит вслед за Назаровым и Марией Павловной Саша.

Мы остаемся втроем.

— Так что же ты хочешь знать о формуле лжи? — спрашиваю я и вижу, что глаза Леонтия внимательно изучают меня, потом Петрушу.

— Я хочу то, что я тебе сказал. Хочу получить доступ к ее бумагам. Если ты не дашь мне ключи сегодня... то...

— Там нет формулы лжи! — говорю я. — В ее бумагах нет этого. Она исчезла.

— Значит, ты уже рылась в ее архиве? Я был прав. Ты рыскала там! Что же ты... еще изъела отсюда? — говорит Петруша угрожающе.

Леонтий вскакивает с кресла.

— Опять ты за свое?! — вскрикивает он. — Ты забыл, чем тебе это грозит? Это будет тяжелая телега, поверь мне! Намного тяжелей креста!

— Телега! Ишь ты! Пишете формулы, сочиняете песенки для дудочек! А когда речь идет о серьезнейших вещах, вы дурачков строите. Юродивых! Не понимаете ли, что все решено! Я, только я защищаю вас! Дайте мне найти то, что я прошу,

и вы будете спасены! — последние слова он говорит, уже выходя из двери.

— Ты поняла? — спрашивает Леонтий.

— Куда он пошел? — не могу я скрыть своей тревоги. — Он может забрать Сашу!

— **З а б р а т ь ?** Это — блеф. Успокойся. — Леонтий подходит к двери и, открывая ее, прислушивается. — Кто-то пришел. Ба! Ардашников — собственной персоной! — он смотрит на меня и присвистывает. — Ой, ля-ля! Что будет?

— Сядь. Нас нет. Пусть сами...

— Ты права... Нас нет, — он подходит к окну, отодвигает занавеси и смотрит в окно. — Темень. Ага, машина. И еще одна. Ардашников один не ездит, что ли? Ну, ну. Зачем он ищет эту... формулу? Откуда он знает о ней? Разве она может оказаться здесь?

— Варвара просила меня отдать ей эту... вещь.

— И ты отдала?

— Я думаю, он хочет найти другое.

— Нет! Именно это! Ты не поняла! Это — материал. Он уверен, что это ты написала... Или я.

— Назаров решил, что Петруша подозревает его. Там есть медицина...

— Медицина? Я что-то не помню! — Леонтий снова садится в красное кресло, — напости-ка...

— Ну как же! Гибель органической природы... Опыты... с пшеницей, собаками, цветами, — припоминаю я.

— И с людьми? Только не опыты, а наблюдения.

— Точная поправка! — улыбаюсь я.

— Простенькая вещь, как дудочка! — радуется чему-то Леонтий. — Что же сказала Вава?

— Она просила подарить ей. ”Я собираю оригинальные вещи”. Для коллекции.

— И все?

— Спросила еще, кто написал. Я сказала: не знаю. ”Оригинал какой-то”, сказала она. ”Чудак”.

— Выходит, она сказала об этом Петруше? — спросил Леонтий и закрыл глаза.

Зачем он закрыл глаза? — спросила я себя и не успела ответить ему, как отворилась дверь и вошел Назаров.

— Учтите, я не читал эту формулу! — зашептал он. — Я не видел даже ее в глаза! Понятно?

— Кто там пришел? — спрашиваю я как ни в чем не бывало. — Неужели Ардашников?

— Он самый. Я ему звонил. Это он придержал Петрушу. Иначе бы нам не удалось увезти ее! Почему-то никто из вас не догадался об этом! — не без гордости говорит Назаров. Он все еще стоит у порога. Потом открывает дверь и снова закрывает, — ты понимаешь, что он хочет? — спрашивает он шепотом, глядя на меня.

— Кто он? — шепчет Леонтий.

Назаров безнадежно машет рукой.

— Сейчас не до того! Вы поняли мою просьбу? Я ничего не знаю о формуле!

Он уходит, а мы с Леонтием молча смотрим друг на друга.

— Ничего себе! — Леонтий потрясен. — Значит, он позвонил Ардашникову. Не побоялся Петруши? Вот это — номер! Петру никогда не пришло бы в голову, что кто-то из нас может такое сделать. Иначе он так бы не распоясался! Теперь понятно, почему исчез прокурор как раз в нужное нам время. Ну и Назаров! Не испугался!

— Поэтому он сейчас вдвойне боится... — не могу я смолчать.

Леонтий придвигает кресло вплотную к тому краю тахты, на котором я сижу, и тихо спрашивает:

— Что же там было такого страшного в той безобидной рукописи? Я все, оказывается, забыл!

— Ты тоже забыл! — неожиданно для него громко смеюсь я. — Пойди лучше посмотри, где Саша и что они делают.

— Ты же сказала: нас нет!

— Конечно, нас нет. Мы все забыли, а может, ничего и не знали. Но о н и е с т ь.

— Ты шутишь? Я и в самом деле не помню... что там было. Но, если хочешь, я скажу, что это я... Ты только напомни — о чем там... на всякий случай, а вдруг будут спрашивать подробности? — Леонтий говорит тихо, я еле улавливаю смысл его слов.

Я молчу. Я не знаю, с чего начать.

— Это — длинно, — отвечаю я, — слишком долго рассказывать.

— Но смысл, смысл, напомни — в чем? Напомни! В чем же ф о р м у л а ?

— Тотальная ложь рождает тотальную смерть, — говорю я, — формула — смерть. Гибель. Энтропия. Распад. Неужели ты не запомнил самого главного? И не помнишь, как проверял автор свою формулу? Как...

Я не успеваю закончить фразу, дверь с шумом отворяется и входит Мария Павловна.

— Они хотят... Может быть, ты пойдешь туда? — она обращается ко мне.

Мария Павловна стоит за креслом Леонтия и делает мне какие-то странные знаки рукой, глазами. Я

толком не понимаю ее, по-видимому она хочет сказать, чтобы я шла одна, без Леонтия.

— Нас нет, — говорит Леонтий, не оборачиваясь, — скажи, что нас нет!

— Они просят... Он спросил... Ардашников спросил, где она. Назаров сказал, что ты была при Варваре Федоровне в последние минуты, и он спросил... Петр сказал, что ты здесь! Иди!

Я нехотя поднимаюсь, ноги мои ослабели от усталости и плохо слушаются.

— Я не пойду, — говорит Леонтий, — и тебе не советую. Скажи, Маша, что она спит...

— Будет хуже. Он не поверит! Кто-то же должен быть там... с ними. Неровен час, — Мария Павловна обнимает меня за плечи и ведет к двери. — Пойдем, пойдем. Петр очень изменился... он...

Она что-то хочет сказать. Но не говорит. Мы выходим и идем по длинному темному коридору.

Ардашников сидит за столом напротив Петруши.

Стол накрыт, на нем рюмки, бутылка водки, хлеб, колбаса, что-то еще. Когда я вхожу, они молчат. Потом я слышу, как Ардашников говорит:

— Боюсь, что у тебя ничего не выйдет...

— Приветствую, — говорит он, не двигаясь с места. — Садитесь, будьте любезны. — Он указывает на стул рядом с Петрушей.

Я послушно сажусь.

— Спасибо, — говорю я, — как вы себя чувствуете?

— Нормально, — отвечает он. — Если можно так сказать в этот скорбный день. Слишком неожиданна эта потеря...

Он замолкает, и в комнате возникает долгая

удручающая тишина. Тогда Петруша наливает себе рюмку и спрашивает Ардашникова:

— Значит, ты категорически отказываешься?

— Благодарю тебя, но я не употребляю...

— Ну, как же? Надо выпить за упокой. Так принято, — уговариваю я.

— Да, что это ты, Николай Николаевич? На тебя, брат, не похоже! — говорит Петруша, заноса бутылку над его рюмкой.

— Ну, что ж, разве символически... раз принято. Извольте! — соглашается Ардашников холодно.

Я смотрю на него и только теперь замечаю, что в нем произошла какая-то ужасная перемена. Да и он ли это? Может ли быть, чтобы это был он? Я всматриваюсь в его лицо и вижу, что оно мертвенно неподвижно, словно бы это не лицо, а маска, только в глазах что-то мелькает и губы шевелятся, когда он говорит. Он похож, конечно, на того Ардашникова, похож формой лица и головы, но цвет лица, цвет волос и выражение лица совсем другие. Нет, все-таки что-то осталось: высокие залысины, когда-то красивые, окруженные пепельно-русыми волосами. Теперь, правда, залысины почти не видны, волосы стали реденькими, седыми, тоненькими и виден весь череп. На лбу вздулись жилы некрасивого белого цвета, словно рубцы какие, а все лицо покрылось сетью бледнорозовых черточек: сосуды обнажились, что ли?

Он видит, что я рассматриваю его, пора мне отвести взгляд, но я не могу, мне важно понять, что произошло. Глаза мои спускаются по его лицу вниз, к дряблему подбородку, и тут, наконец, я понимаю в чем дело.

У него перерезано горло! Ну, конечно, за высо-

ким воротом свитера я вижу край кровавого рубца! Неужели Петруша? Когда же он успел? Еще одно с а м о у б и й с т в о ? Почему он так неподвижен.

— А вы что же? Налей-ка, Петр Павлович, нашей собеседнице! И помянем покойную!

Ардашников громко вздыхает. Мы молча выпиваем. И снова молчим.

— Вы, конечно, знаете... — начинаю я.

Мне жалко его. Наверное, я должна ему помочь начать разговор.

— А что ты, Николай Николаевич, не спрашиваешь, где она? — перебивает меня Петруша.

— Как это где? — спрашивает Ардашников, словно бы удивляясь вопросу. Лицо его по-прежнему неподвижно.

— Ну... ты не хочешь разве посмотреть на...

— Если можно... — отвечает Ардашников.

— Вот благодари их! Не можно... Нельзя посмотреть! Нельзя проститься! Нет ее здесь! Самочиние! Самочинно увезли ее! — Петруша смотрит с удовольствием на Ардашникова. — Я-то простился. Я видел все, а вот...

— Ну, что ж, выпьем по второй, — говорит Ардашников все с тем же выражением лица.

— О, ты... решил размочить... я гляжу... Ну что ж, хозяин-барин! Правильно. Пожалуй, чего уж тут. Все равно! Маша, давай-ка еще бутылку! — кричит Петруша.

— Напрасно, — говорит холодно Ардашников и выпивает, не чокаясь и не закусывая.

Мне кажется, что он с трудом глотает водку. И не закусывает. Он может пить только жидкое, ведь у него перерезано горло!

Он смотрит на меня и говорит:

— Выходит, у вас все в порядке с похоронами? Моя помощь — не требуется?

— Да, спасибо, — благодарю я, — все в порядке!

— Нет, ты не выслушал меня, Николай Николаевич! А дело-то непростое. Ведь они... друзья Варвары Федоровны... хотя и мы — не с улицы люди, так сказать. В друзья не лезем, но близко, так сказать, соприкасались, чего уж тут скрывать — не скроешь! Но они не... посоветовались с нами и решили хоронить ее по о б р я д у ! В церкви какой-то! Видите ли! Тебе, я думаю, объяснять не надо, какие последствия будут у Варвары Федоровны!

— Ей все равно! — отвечает Ардашников бесстрастно.

— Как это — все равно? — повышает голос Петруша. — Ну да, ты теперь вроде бы как и сам близок к этому!

— К чему, к э т о м у ? — прерывает холодно Ардашников.

— Знаю. Знаю. Получил еще одно. Курируешь банно-прачечным трестом. Кстати, — Петруша обращается ко мне, — вы можете у Николая Николаевича получить в с е ! Ведь он курирует теперь и церковь, и кладбища! Служба быта, банно-прачечный трест — могучая сила в нашем отечестве! Чего только он не объединяет! Уж если отпевать, Николай Николаевич, так в соборе! Ты как считаешь? И пусть патриарх попоет или митрополит какой-никакой. Так ведь? Или вы хотите тайно, как Пушкина хоронили? Можно и тайно — в какой-нибудь заваленной церкви, закрытой. Наконец, можно специально для этого открыть! — Петруша разошелся, подобрел, водка ему, видать, впрок пошла.

— Инициатива бьет ключом, — Ардашников, кажется, шутит. — В Успенском соборе, в Кремле — не хочешь?

— Стоит ли говорить об этом... Ведь уже... — отвечаю я Петруше и опять бросаю взгляд на Ардашникова.

Лицо его чуть порозовело, оживилось, он поднял руку и поправил ворот свитера, заметил, что я смотрю на его шею.

— Маша, давай еще бутылку! — кричит Петруша. — Не слышит! Сходи-ка ты! — приказывает он мне, и я с удовольствием покидаю их.

Я заглядываю на кухню, там идет стряпня полным ходом: Назаров открывает какие-то банки, Мария Павловна у плиты жарит кур.

— Где Саша?

— Спит, — отвечает мне Мария Павловна, показывая на дверь, ведущую в комнату при кухне.

— Прокурор требует водку, — говорю я и выхожу.

Леонтий ждет меня, я знаю, он хочет закончить прерванный разговор, я должна пойти к нему, уговариваю я себя, чтобы оправдать свое нежелание сидеть там, где я только что сидела.

— Я вспомнил эту формулу, — говорит Леонтий, как только я вхожу в комнату.

У него в руках тарелка. На тарелке — бокал с коньяком и надкусанный бутерброд.

— Ты недурно устроился. Тянешь потихоньку коньяк, а я должна трескать водку с этими... Ну что — формула?

— Смерть! Ты права, — отвечает Леонтий. — Я вспомнил. Этот чудак доказал все безоговорочно. Ты помнишь доказательства? — он смотрит на меня испытующе.

— Ты пронцателен почти как Петруша, — смеюсь я, — уж не думаешь ли ты, что я могла бы сделать столь гениальное открытие?

— Ты и в самом деле считаешь это гениальным? Ведь это слишком просто.

— Просто? Конечно. Все гениальное — просто. Ты сидишь в саду и видишь, как падает яблоко. Закон Ньютона. Ну и что? Что здесь гениального? Пустяк. Он именно так работал...

— Кто он?

— Этот чудак. Оригинал, как заметила Варвара. Может быть, он был не один.

— Группа? — ухмыляется Леонтий. — Ты, я и Назаров. Назаров делал медицинские наблюдения, измерял давление, анализ крови и все прочее.

— Вас зовет Николай Николаевич, — в двери снова появляется Мария Павловна.

— Меня тоже? — Леонтий ставит на пол тарелку с рюмкой и встает.

— Нет. Только ее.

— Почему же ”в а с”? Ты перешла с ней на ”вы”?

— Не пойду! Я уже ходила! — не двигаюсь я с места.

— Иди срочно! — Мария Павловна нервно дергает край передника.

— Что там, Маша? Они дерутся или целуются? — спрашивает Леонтий.

Она не отвечает и уходит.

В большой комнате многое изменилось. Стол уставлен дорогими яствами: икра, балык, ветчина, крабы... И бутылок прибавилось. Появился коньяк, вермут, боржом. На моем месте сидит Назаров, напротив него, рядом с Ардашниковым, Мария Павловна.

— Как вы себя чувствуете? — встречает меня вопросом Ардашников.

Ага, значит, они сказали, что мне было плохо. Обморок, сердечный приступ, рыдания по поводу смерти любимейшей подруги? Что я должна отвечать?

— Так себе, — говорю я печальным тоном.

Да я и в самом деле чувствую себя из рук вон плохо, здесь нет никакой позы.

— Садитесь, садитесь, вот сюда, рядом! — он неожиданно вскакивает и пододвигает свободный стул поближе к себе.

Я непроизвольно бросаю взгляд на его шею, и он поспешно поправляет ворот. Кажется, на сей раз я не увидела шрама. Значит, мне показалось, что у него перерезано горло. Он тоже не так уж прост. Может быть и посложнее нашего Петруши. Что же у них тут происходит? Я вижу, что Петруша нервничает, желваки на лице обозначились острее, это первый признак надвигающейся истерики.

— Ты многого не знаешь! — говорит Петруша, обращаясь к Ардашникову. Видно, продолжается разговор, который шел до моего появления. — Тебя здесь давненько не было, не правда ли? С тех пор, как ты стал большой человек, ты... перестал посещать этот дом!

— Брось, Петя, о чем ты говоришь? — причитает Мария Павловна. — Варвары Федоровны нет... за чем же сейчас... вспоминать?

— А почему ее нет? Человек так просто не умирает! — гневно говорит Петруша.

— Смерть наступила от инсульта, — констатирует Назаров, — довольно распространенная болезнь в наше время...

— Вскрытия не было! Догадки... — решает Петруша. — Здесь, я тебе должен сказать, Николай Николаевич, — продолжает он доверительным тоном, — не все, как говорится, в ажуре... От вскрытия отказались, видите ли, по каким-то, недостаточно веским причинам... заинтересованность.

— А у тебя какая заинтересованность? — губы Ардашников с трудом раздвигаются в улыбку.

— У меня лично нет никакой заинтересованности, — пыжится Петруша, — но у Варвары Федоровны немало осталось...

— Ну, что ж! Те, кому надо, займутся. Теперь есть такой закон... То, что принадлежит человечеству... — Ардашников кривит рот, прячет зевоту.

Они подбираются, как я понимаю, к главной своей теме. Здесь уже не только борьба за власть, еще что-то. Корысть? Сейчас весьма ценятся уникальные вещи, произведения искусства, бесценные книги, картины, иконы. Неужели у них есть надежда это получить? Вряд ли. Это, как неслучайно заметил Ардашников, принадлежит человечеству. Но кто-то же должен сообщить человечеству о том, что ему принадлежит? Человечество, естественно, в долгу не останется, оно как правило награждает своих благодетелей. Так, что ли? А может быть, у них совсем иной интерес? Комплексы? Самолюбие? Борьба за мертвую Варвару? Зачем же она теперь им?

Ардашников старается наклониться ко мне, однако, ему что-то мешает, не шрам ли? Я вижу, что он не может повернуть ко мне голову. Но вот он встает вместе со стулом и придвигается ко мне.

— Петр Павлович напугал вас?

Что ему ответить?

— Варвара будет лежать рядом с Данилкой, — шепчу я.

— Ну что ж, — говорит Ардашников громко, — это правильное решение.

— Какое решение, Николай Николаевич? — спрашивает ласково Мария Павловна.

— Решение? — спохватывается Петруша. — Решение будет потом! Когда выяснятся некоторые обстоятельства. Я тебе скажу прямо, Николай, при них и скажу... — он смотрит грозно на меня. — Я не собираюсь так этого оставлять! Что бы ни было. Друзья не друзья. Память о Варваре Федоровне требует! Тебе, я понимаю, не до этого... У тебя особые обстоятельства! А мне нечего терять! Да и мы с Варварой Федоровной — это не секрет... до самого ее конца...

— Что — не секрет? — улыбается Ардашников. — Она ведь и не скрывала, что ты...

— Ну конечно, Петр, с этим никто не спорит! Ты был ее близким другом, что и говорить! — Мария Павловна заглядывает в глаза Ардашникову. — Поэтому он так и переживает.

— Что ты хочешь сказать? — спрашивает Петруша. — Что она не скрывала?

— Сказать? Или, может, подождать? — спрашивает Ардашников язвительно. — Смотри!

Петруша медленно, нарочито равнодушно, не хочет показать беспокойство, берет бутылку с коньяком, наливает сначала Назарову, потом себе. Подбородок его угрожающе выдвигается вперед и даже, как мне кажется, подергивается.

— Да, давненько тебя здесь не было! С тех пор как умер наш мальчик! Кстати, пора тебе узнать, что это был м о й ребенок... Маша единствен-

ная, кто знает правду! — Прокурор опустил голову, и мы не видим его лица.

— Ну, зачем сейчас, Петя... ни к чему это... — говорит Мария Павловна.

— Это некстати, — Назаров встает и уходит.

— Кстати, некстати... Пусть знают! — бормочет Петруша и выпивает коньяк.

Я смотрю на Ардашникова. Он стал еще бледней, на лбу выступил пот. Он смотрит в упор на Петрушу.

— Смело! Однако, тебя мало пороли в детстве! И ты не знаешь, о чем положено говорить в доме покойника, а о чем следует молчать! Но поскольку ты завел разговор, чтобы я при свидетелях сказал, к т о отец умершего сына Варвары Федоровны, то я отвечу тебе так: не только Мария Павловна, но и все присутствующие знают, кто отец. Поэтому и говорить не стоило! Варвара Федоровна не пожелала скрывать это. Как не скрывала от близких людей и причину своего нежелания принять твои предложения стать ее супругом. Ты сам знаешь, по какой причине, не так ли? А может быть, она не хотела, чтобы ты стал ее наследником?

— Многое ты знаешь! — тихо говорит взбешенный Петруша. — Я бы не советовал тебе так торопиться!

— А я пока не тороплюсь... я только приглядываюсь, — угрожающе говорит Ардашников.

— Ну полно вам! — решаюсь я прекратить их перепалку. — Зачем все это?

— Что "в с е" и что "э т о"? — отдельно выговаривая каждый звук, говорит Петруша. — Ты хочешь спрятаться за его спиной? У вас общие интересы? Что у тебя, Николай Николаевич, за инте-

ресы могут быть с ней? Это наводит на грустные размышления. На очень грустные размышления. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным! Неужели ты хочешь, чтобы все имущество Варвары досталось этим... психам и уголовникам?!

Я встаю с места и громко отодвигаю стул.

— Мне надоело! — говорю я возмущенно.

Вслед за мной встает Ардашников.

— Садитесь, — произносит он тоном приказа, берет меня за руку и усаживает на прежнее место.

— Ты торопишься, Петр Павлович, — произносит он сухо.

— Да, тороплюсь. Ты приглядываешься, а я уже пригляделся! Учти, мы уже опоздали! Все!

— А что тебе хочется, Петя? — спрашивает ласково Мария Павловна, — может, ты хочешь взять что-нибудь на память? Бери, о чем разговор!

— Мне лично ничего не нужно! — Петруша рубит рукой воздух. — Это всеобщее достояние, правильно сказал Николай Николаевич, это принадлежит человечеству! Это всем принадлежит!

— Что всем принадлежит? — спрашиваю я. — Зачем ты так темнишь? Скажи, что ты хотел бы найти! Тебя, как ты уверяешь, интересуют вовсе не материальные ценности...

Ардашников бросает быстрый взгляд на Петрушу, берет меня за руку буквально на мгновение, но я чувствую его пожатие.

О, оказывается, я попала в самую точку, наконец нащупав тему их рокового разговора. Значит, и он заинтересован в архиве Варвары, но что же их так тревожит: письма, дневники, что еще?

— Ты уклоняешься от главного! — бросает мне

Петруша. — У тебя нет прав! Присвоение чужой собственности... — говорит он веско.

Ардашников неожиданно наклоняется ко мне и тихо, почти на ухо, шепчет:

— Кстати, она вам ничего не передавала?

— Когда? — спрашиваю я.

Теперь все становится на свои места. Неужели так просто?

Ардашников писал Варваре сумасшедшие письма. Это было тогда, когда родился Даниил и когда он не смог соединиться с Варварой. Меж ними шла бурная переписка, я была почтальоном. Варвара читала его письма мне вслух, о Господи, что это было! Мы разбирали каждую строку, искали смысл, разгадывали намеки, выискивали надежды.

Потом она сжигала их, предварительно мелко-мелко изорвав на части. Сжигала в пепельнице.

Она складывала обрывки писем в кучки и каждую маленькую кучку сжигала, помешивая спичкой. "Смотри, как хорошо горят. Я — огнепоклонница, я бы всё сейчас сожгла".

Варвара курила сигареты, одну за другой, и смешивала серый пепел сигарет с черным пеплом сожженных писем. В комнате потом долго пахло горелой бумагой.

Петруша хочет найти эти письма. И отомстить за Варвару. Взять реванш. Благородная месть. Но как он, однако, смел, ничего не боится. Он, кажется, говорил, что за ним кто-то стоит. А может, он хочет шантажировать Ардашникова? Шантажировать и мучать. Или продать ему эти письма? Не за деньги, конечно. Привлечь его на свою сторону против нас, напугать нас до смерти или разделаться с нами и тогда уже разделить Варварино богатство до тех

пор, пока истечет срок, в который должны быть предъявлены права на наследство... Не зря он не спросил ни разу — есть ли завещание. Боится спрашивать. Вряд ли он хочет найти в ее архиве завещание, он убежден, что я его нашла, если оно было оставлено Варварой. Он может продать письма и другим способом. Не за деньги. А за что же? За славу? Скинуть Ардашникова. Занять его место, поменять письма на должность, на лучший оклад. Все это одно и то же. Борьба за власть. И все сводится к эдакой пошлости? К ситуации бульварного романа?

Ардашников слишком долго не отвечает на мой вопрос. Боится? Ищет слов? А Петруша смотрит на нас во все глаза. Скорей всего, он понял, что я догадываюсь о его намерениях.

— Когда? — повторяю я свой вопрос Ардашникову. — Она не знала о своей близкой кончине...

— Вы так думаете? — он пристально смотрит на меня. — А раньше? Раньше?

— Она вас любила, — говорю я, еще не зная зачем, но чувствуя, как меня влечет какая-то сила говорить именно это. Скорее всего это жалость, понимаю я, — она всегда о вас говорила...

Я вижу, что он хочет дернуть шей, но не может, рука его тянется к вороту, он нервно поправляет его и говорит:

— Напрасно вы...

— Напрасно! Ты прав! — громко восклицает Петруша. Неужели он слышал наш разговор? — Ты не знаешь ее! Выпей-ка еще, Николай! За нашу Варвару! Вот кто был человек с большой буквы! Не чета этим! Она делом занималась!.. Была бы она жива! Разве бы мы так сидели?! — он тянет рюмку к

Ардашникову. — Да, чокаться не будем! Ты только пей. Чего ты боишься? Смерти ты не боишься! Это всем теперь известно! — он пьяно подмигивает Ардашникову. — Ну, что ты, Коля... мы свои ведь люди... нам все может быть известно друг о друге. Чего уж... Эх, музыки нам не хватает! Варваринной музыки! — Он выпивает залпом и закусьивает лимоном. — Где Сашка-дурачок! Пусть поиграет. Я плакать хочу! Я тоже человек!

Пожалуй, хватит. Я быстро встаю и выхожу вон.

На кухне никого нет, видно, Назаров пошел к Леонтию и Саша все еще спит. Я смогу, наконец, побыть одна.

Неужели прошли только сутки? Почти сутки...

Я не помню, сколько я просидела — десять минут или два часа. Спала ли я или сидела, погруженная в пустоту, в ничто, не чувствуя ни себя, ни времени, текущего рядом, не прикасаясь умом ни к чему, не видя, не слыша. Это было необходимое отсутствие, небытие в бытии, подобие смерти. По-видимому, для того, чтобы продолжилась моя жизнь, она должна была прерваться таким странным способом.

Как бы то ни было, но когда передо мной появился Назаров, я очнулась свежей и полной сил.

— Посмотри, пожалуйста, что там происходит, — попросил он меня.

— А ты?

— У тебя лучше получается... — взмолился он.

Ну, что ж. Пожалуйста. Я отдохнула от прокурора и могу снова предстать перед ним.

Петруша сидит, отодвинувшись от стола, в своей любимой позе, свесив длинные руки вниз. Его длинная голая нескладная фигура обмякла.

Он пьян, клюет носом, икает, и когда я вхожу, он смотрит на меня впервые за все это время совершенно равнодушно. Устал ненавидеть меня.

— Скучаю, — икает Петруша.

Ардашников прижался щекой к руке Марии Павловны. У него закрыты глаза, он не видит меня. Мария Павловна нежно гладит его по голове.

— Смотрите-ка, кто пришел, — воркует она.

Но он не открывает глаз. Он говорит еле слышно:

— И еще альпийские луга. Ты видела, девочка, альпийские луга, розовых коров и пастушка в тирольке? Зеленые, изумрудно-зеленые, они плескались у моих ног... Я никогда не видел такого цвета. Цвет жизни. И золото... Золото... Боже мой! Как красив был этот мир... Где он, куда исчез? — голос его прерывается от рыданий, он ненадолго умолкает, глотает слезы и продолжает, — светлый праздничный, золотой и лазурный. Альпийские луга, золотое солнце... нежность. Это была нежность... Свирель пастушка. И табуны коней, рыжих, ярко рыжих, серых, гнедых...

— Ты отравился! — вздыхает Петруша.

Ардашников открывает, наконец, глаза. Они полны слез.

Подслеповатые пьяные глазки, похожие на глаза больной от голода собаки. Что ж здесь случилось, пока меня не было?

— А, это ты, моя девочка! — бормочет он, глядя на меня. — Таблетку! Воды! — он шарит в верхнем кармане пиджака и достает лекарство. — Воды... — он еле-еле шевелит губами.

Мария Павловна наливает ему боржом.

— Эй, ты, Никола, чего пристаешь к моей сестре! Смотри! Это тебе не Варька!

Ардашников бессильно смеется. Он не может вынуть таблетку из целофановой обертки.

— Варька! надо же...

А я все еще, оказывается, стою в дверях, по-видимому, лицезрение этой картины лишило меня способности двигаться. Но теперь я очнулась и иду к столу, беру в руки пачку таблеток. Вынимаю одну из них и спрашиваю Ардашникова:

— Одну?

— Одну, моя девочка! — еле-еле выговаривает он.

— Скучаю! — икает Петруша.

Мария Павловна сует Ардашникову в рот таблетку, но она тут же выпадает, она снова толкает ему ту же таблетку в рот и дает воду. Он запивает с трудом, вскидывает голову, чтобы проглотить таблетку.

Я смотрю на его шею и вижу кровавый тонкий рубец — у него перерезано горло! Он замечает мой взгляд.

— Что поделаешь? — разводит он руками, склоняет удрученно голову и морщится от боли.

Я присаживаюсь ненадолго на краешек стула. Мне пора уходить.

Смотрю на Петрушу.

— Я плакать хочу, — говорит он, — сыграй мне, голубка моя...

Это я — голубка? Наверное, есть такая песня: "сыграй мне, голубка моя". Может быть, ее играла Варвара?

— Тебе бы поспать, Петр, — предлагает ему Мария Павловна и спрашивает у меня, — а что, если их здесь оставить?

— Ты что, хочешь с этим? — смотрит Петруша

пьяными глазами на Марию Павловну, — эх, сестра, сестра...

— Что? — поднимает голову Ардашников.

Он зорко оглядывает нас всех. И я вижу, что он абсолютно трезв. Притворялся? Нет, это таблетка.

— Нам пора, — объявляет он и решительно подымается со своего места. — Вставай, Петр. Нам здесь больше нечего делать!

— Я плакать хочу, — повторяет прокурор и, взмахивая руками, встает, — куда? Поедем со мной, Николай! Я тебя повезу в... рай! В такой дом... не хуже Варвары! Эх, Николай, дурак ты все-таки, такую бабу погубил! И сам чуть не подох! Вставай, вставай, проклятьем заклеяменный! — Петруша пьяно хохочет, икает, похлопывая Ардашникова по спине.

— Это я — проклятьем заклеяменный? А ты? Я тебе покажу! — грозит пальцем Ардашников, но на его мучнисто-бледном лице не выражается никакого чувства.

И опять я начинаю сомневаться — Ардашников ли это? Как мог он так измениться!

— Мы еще встретимся, — обращается он ко мне.

— Пожалуйста, пожалуйста, — я открываю им дверь.

Петруша чуть шатается. Ардашников идет твердо, поддерживая его за локоть.

Они еще задерживаются на пороге. Когда я растворяю перед ними входную дверь, Петруша останавливается, загоразивая проход.

Он не хочет уходить, смотрит пьяными белесыми глазами на меня и Марию Павловну, стоящую поодаль, припоминая что-то. Но Ардашников жестко говорит:

— Я жду! Ну!

— Ну, ну! Что значит "ну"! Ну! Ну! — повторяет бессмысленно прокурор и вываливается на лестничную площадку.

За ним бесшумно выскользывает Ардашников.

Через несколько минут после их ухода все затихает в Варвариной квартире. Мы расходимся по комнатам и укладываемся спать. Ночь коротка. Завтра — погребение.

А утром, еле успев выпить чаю, мы впятером — Саша, Леонтий, Мария Павловна, Назаров и я покидаем Варварину квартиру.

— Дом оцеплен. Смотри-ка, — говорит Назаров, — у подъезда машина, в ней — четверо...

Он увидел это в лестничное окно, пока мы ждали лифта.

Как только мы выходим из подъезда, восемь глаз, как ножи, вонзаются в каждого из нас. Похоже, что ножи ржавые, на них еле успели просохнуть хмельные ядовитые слезы.

Глава четвертая

1

Сегодня пятница.

Теперь я понимаю, что все именно в пятницу и происходит. Когда Бог на Голгофе.

В то время, когда Его еще не сняли с Креста. Между смертью и погребением.

Земля уже разверзлась и разодралась завеса, отделяющая землю от ада. И тогда из адских бездн,

сотрясенных ужасом, выползает нечисть. Тогда-то все и происходит — договор в безднах — в душе, на земле, в мире. И в России.

Все спешит к пятнице, к желанной смерти Бога. Устав от его смертных мучений, от Богооставленности, от одиночества Бога, от страшной гибели Его, душа, жаждущая Его смерти, торопится погрузиться в бездну, во ад, в смертный сон.

Скорей, скорей. Разве можно так долго носить в себе Страдающего Распятого Бога! Пора укрыться в темных недрах, в адских безднах лжи.

Ложь порождает ложь. Тотальная ложь это смерч, выжигающий все.

Мы не успели с Леонтием закончить наш разговор. Неужели он и в самом деле забыл то, что было там, в той самой формуле лжи? Душа хочет забыть и не знать этого вовсе. Ее загрузили ложью, чтобы обманом выманить у Бога.

Это могут помнить только святые. "Они придут от великой скорби" — сказано в Апокалипсисе. Скорби и многие слезы иссушат их и Бог Сам станет пасти их, и водить на "живые источники вод" и утрет всякую слезу с очей их. Он сделает так, чтобы они забыли как погибает мир, созданный Им. Как заболевает органическая природа и истощается почва, как леса и злаки перестают давать плоды, как мрут рыбы и звери, уходят минералы и начинается голод, мор, болезни. Материя мира поражается смертельной болезнью. Ложь поражает состав крови, разрушает мозг, ткани человеческого организма, его стихий. Природа человека деградирует вместе с природой мира, они связаны единой жизнью...

Я смотрю на лицо Варвары. Оно неузнаваемо изменилось. Лицо ребенка, девочки, чем-то неуло-

вимо похожее на ангельское лицо младенца Даниила.

Справа от нее Распятие. Бог на Голгофе. Его лик спокоен, кажется, что Он отдыхает в эти короткие часы, оставшиеся до Воскресения.

— Ты видишь, что она смеется над нами? — шепчет мне Леонтий и отходит.

Еще далеко до отпевания. В центральном приделе только началась служба.

Она смеется над нами? Как Леонтий мог такое подумать? Улыбка ее смиренна. Потому лицо Варвары и кажется детским. Она так молода сейчас, будто только что начинает жить.

— Почему они ей кланяются? — шепчет снова Леонтий мне в ухо.

— Кто? — спрашиваю я и вижу, как старушка подходит к гробу поближе, всматривается в лицо Варвары и, благоговейно крестясь, кланяется.

— Они кланяются смерти? — не дождавшись моего ответа, шепчет Леонтий.

— Спроси у Сашы... — отвечаю я.

Они кланяются тайне святости. Но разве Варвара — святая? "Вавилонская блудница", — вспоминаю я слова прокурора. Где он? Неужели не придет? Кто поставил машину у Варвариного дома? Ардашников? Чтобы Петруша не проник туда, пока нас не будет? Может быть, Петруша не знает, где мы положили Варвару? Захочет — узнает.

"Пусть патриарх попойет!"

Значит, мы его победили? Он оказался слабаком, наш Петруша, решив, что у него есть власть над душой Варвары.

Россия должна ужаснуться, осознав свою смерть, и выстрадать ее.

Над этим прокурор не властен. Россия погребает всех, кто крещен, и поминает всех скончавшихся, где бы то ни было. Прокурор узнает об этом позже, когда будет впряжен в ту самую похоронную колымагу.

Наверное и это случится в пятницу? Надо будет спросить у Саши.

Кто же отпоет нас? Неужели только дудочка Леонтия? Храмы будут уничтожены тем всегубительным ржавым огнем.

— Сколько стоит крест? — вдруг слышу я за своей спиной голос прокурора.

Не может быть! Это шутка дьявола — слуховая галлюцинация. Зачем Петруша станет покупать крест? Не буду оборачиваться.

— Золотой, что ли? Почему так дорого? — ворчит Петруша.

— Бери так, милоч...

Он! Он. Наверняка, Петруша.

Увидел улыбку Варвары? Испугался телеги, плетущейся по сожженной земле? Как легок Твой Крест, Господи! — шепчет Петруша, с трудом передвигая ногами. Сколько лет тянуть ему на себе эту телегу, оставляющую кровавый след на выжженной убийством земле? Всегда. Или только до тех пор, пока он не погребет всех убиенных, не свезет все жертвы туда, к их вечному покою... "Пожалей меня, я устал убивать!"

У него, кажется, опухли ноги. Синие, потрескавшиеся ступни. Лоб и скулы покрыты белым липким потом.

Леонтий не видит ничего, он занят дудочкой. Она плачет тоненьким голоском. Так пела старушка на панихиде, когда Россия отпевала саму себя. Над-

треснутым, тоненьким голоском. "Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!" — просила она. И пока не вынесли гроб, она все стояла на паперти, пела и крестилась.

Почему Леонтий не крестится? Он — поэт, он стыдится этих старушечьих жестов. Он будет креститься, когда запоет его дудочка.

А пока он рассматривает иконы.

Христианство — не искусство, но когда искусство истощается, и душа, привыкшая к искусству, томится тоской, то искусство пробует учиться у христианства. Христианство не искусство, но когда оно перестает быть христианством, оно учится у искусства владеть душами. Леонтий поэт, он ищет переживаний. Но здесь, в церкви, слишком мрачно для поэта. Здесь "бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих". Здесь Господь пьет чашу страданий и смерти и предлагает нам чашу, избавляющую от страданий и смерти. Поэзия ищет утраченных смыслов, она чувствует бессознательно, что они здесь. Но попробуй, найди их! Услышь! Это невозможно. Это слышат только сердцем, обожженным огнем веры. Он стыдится перекреститься. Он боится показать свою верность Слову, Смыслу, Истине, распятой на Кресте. Пусть это делают старушки. Здесь — темь, здесь мрак "как в убежище", здесь "бездна бездну призывает". Это — для сильных. Куда там искусству? Жалкое бормотание слов, притворяющихся словами, смыслами в тот час, когда Смысл на Голгофе. В них нет и капли живой воды.

"Иди к колодцу!" Там Чаша, она избавит тебя от смерти. Только испей из нее.

Сколько же стоит крест? Неужели так дорого для прокурора? "Возьми так, милоч..."

"Вас обижают в церкви", — ворчал Петруша. Ах, вот почему он спросил сколько стоит крест! Ревизия? Но здесь и без него полно ревизоров.

Они думают, что обижают церковь. Но они обижают мир. Они его раздевают, снимают с него одежды, кожу, кору. Плоть. Чтобы скорей все кончилось. Дьявол азартен, он хочет растлить все, как можно скорей. Построить рай пьяных рабов. Пока Господь на Голгофе, пока Его не сняли с Креста надо успеть все растлить, все забрать, все ограбить и сжечь, всех спить — мальчиков и девочек, стариков и старух, мужей и жен...

Но он никогда не сможет успеть до Воскресения. Несмотря на количество своих слуг. Сколько бы их ни было, ему все равно не успеть. Наверное поэтому он так азартен.

На лице Варвары смиренная улыбка. Неужели ей не жалко Петрушу? Его сбитые в кровь, синие опухшие ноги, его худые плечи, натертые оглоблями этой похоронной колымаги?..

Она спокойна. У Петруши есть теперь крест. Церковь это чаша, в ней покоятся души, их нельзя ограбить, даже в пятницу. Они всегда под защитой.

Я трогаю благодарно Варварины руки, поправляя зажатую в них икону **С п о р у ч н и ц ы г р е ш н ы х.** Значит, и душа Петруши покоится в этой чаше, та часть души, о которой он еще не знает. Он услышит ее только тогда, когда жалобно вскрикнет зеленая погребальная дудочка.

Говорят, что Преподобный Паисий Великий молился за своего ученика, который отрекся от Христа, и когда он молился, ему явился Господь. "Паи-

сие, — спросил он, — за кого ты молишься, ведь он же отрекся от Меня?” Преподобный продолжал жалеть своего ученика, и тогда Господь сказал ему: ”Паисие, ты уподобился Мне любовью”...

2

Сейчас начнется отпевание. Сюда, к нам направляется священник. Я, наконец, решаюсь оглянуться. Хочу увидеть прокурора.

За моей спиной, оказывается, стоит группа людей. Это Варварины коллеги, понимаю я, те, кто решил прийти, чтоб увидеть ее в гробу. Кто-то из них смотрит с недоумением на священника, машущего кадиллом. Лица женщин выражают любопытство, мужчины кажутся напуганными. Они стоят на почтительном расстоянии от Варвары; здесь, у гроба, только мы. Нас — пятеро.

— Кто же будет петь? — спрашивает Леонтий. — Ты?

— Я не умею, — не успеваю я ответить Леонтию, как слышу старушечий дребезжащий голосок. К нему вскоре присоединяются еще по-видимому два, таких же тонких голоса. ”Яко по суху пеществовав Израиль, по бездне стопами...”

Начинается путь. Израиль уходит из плена. Чрез бездну, ставшую твердью. Вода расступается, Израиль избавлен на сей раз от потопа. Потопом достигнут теперь фараон. ”Гонителя фараона видя потопляема”... Сейчас гонителей навечно скроют воды...

”Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим”...

”Упокой, Боже, рабу Твою, и учини ее в раи...”

Так, значит, она успела? Теперь фараону ее не догнать. ”... Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего”, — поет церковь. Три старухи. И я стараюсь подпевать. ”... честная Церковь благолепно поет, зывающе от смысла чиста, о Господе празднующи”.

Мы празднуем освобождение Израиля, освобождение души, отправившейся к горнему Иерусалиму... Церковь разворачивает укрытый доньше в Священном Писании свиток бытия. Чистые смыслы. Символы, в которых до поры до времени укрывалась реальность. Она скрывалась там до тех пор, пока была закрыта дверь. ”Я есмь дверь овцам”. Бог — Слово — дверь. Из отворенных врат льется свет, Христос открывает кладези смыслов и символов, все записанное в Книге Жизни становится жизнью души, пока она не уходит все той же дверью...

Развернувшаяся в пространстве и времени реальность, снова укрывшись в символы, обретает уже иную жизнь в вечности...

Нас все еще пятеро. Все остальные стоят поодаль. Где же Петруша? Он не успеет проститься с Варварой. Я смотрю на нее в последний раз.

Лицо ее устало улыбаться.

Путь завершается землей. Священник укрывает крестом из земли Варвару. Молоточек вначале тоненько бежит по клавишам гвоздей, затем бьет все настойчивей и громче.

Священник уходит, теперь Варварины знакомые чувствуют себя смелее, они подходят поближе к гробу, кладут на него цветы.

— Представители общественности... — шепчет Мария Павловна, отзывая меня.

Мы отходим к стене, в угол.

— Представители общественности интересуются наследием Варвары Федоровны, — говорит она.

— Пусть интересуются, — отвечаю я, — тебя Петруша просил мне передать это? Где он?

— Во дворе. Он говорит, что не надо ждать. Надо ехать на кладбище. Он договорился, и ее похоронят, как только мы привезем...

— Пусть, — соглашаюсь я, — если ему удастся...

Мария Павловна смотрит на меня вопросительно.

— Что же сказать ему? Он говорит, что представители общественности интересуются тобой...

— Что хочешь, то и говори.

Я отхожу от стены. Петруша не изобретателен. Одно и то же. Зачем мной интересоваться? Кто я такая? Что можно узнать о приходящих во дворы Господни? Их можно понять только сердцем, обожженным огнем веры. Как только очами веры можно увидеть, как кладут птицы своих птенцов у Твоих алтарей, Господи сил!

Когда ко мне подошла Мария Павловна, кто-то из них посмотрел в мою сторону с любопытством. Наверное, в их любопытстве повинна нелепость моего одеяния. Варвара не зря требовала выбросить это ядовито-зеленое пальто. "Я залью его чернилами, чтобы ты его сняла, наконец!" Фиолетовые пятна на зеленом фоне. Она любила фиолетовый цвет. И черный. Поэтому я без труда нашла в ее гардеробе траурный платок. Прокурор знает, что это был любимый платок Варвары. Она носила его поверх всего, чтобы видны были длинные пушистые кисти, а я спрятала их под пальто. Но он узнал этот

платок. Я гляжу на пришедших проститься с Варварой и не вижу никакой общественности. Люди как люди, они с нетерпением ждут того момента, когда Варвару унесут из церкви.

— Поминки будут в доме композиторов, — слышу я за спиной голос Леонтия.

Кому он это сообщает? Петруше, что ли? Нет, Петруша и без него знает такие вещи. Может, Ардашникову? Вряд ли Ардашников появится в церкви. У него и так перерезано горло. У Варвары много друзей, кто-то из них и решил отметить ее смерть в ресторане дома композиторов. Шикарные, видать, будут поминки.

3

У всего есть свой смысл.

И свой цвет.

Есть свой цвет и у погребения. Не черный, не коричневый, не унылый цвет небытия, не переход в ничто, где нет цвета, а созданный как все из ничего, цвет погребения.

Он бил потоком в этот день, влекущийся к исходу.

Мы толпились, ожидая этого исхода, топтались у кладбищенских ворот, смотрели на дверь конторы, куда важно прошествовал прокурор, как только мы подъехали к месту назначения.

Зачем мне искать могильщика Хрюшу, если прокурор все устроит во мгновение ока?

День был в самом разгаре, бессолнечный туманный полдень, ожидающий вместе с нами, когда морозящий снежный дождь остынет до мягких снежи-

нок, чтобы украсить ими серо-черную обнаженность окружающих кладбище оврагов.

Снег медлил. Бесцветная и бессильная влага стекла на нас, ожидающих прокурора.

— Развал! — выкрикнул он звонко, ударив изо всей силы дверь. — Никого! Никого!

Злорадство могло бы согреть мое промерзшее до костей существо, если бы меня не ужаснула возможность простоять здесь до сумеречной поры...

Неужели никого? Где же искать Хрюшу? Но зачем, собственно, искать, ведь он сказал: "под вечер".

Взгляд прокурора словно бы выхватывает меня из толпы: "ах, вот ты где!?"

Он ждет, что я подойду к нему. Дудки! Я предупредила, что надо ждать. В церкви тепло. Но ты брезгуешь этим. Кто повинен в том, что у тебя не хватило терпения?

Петруша сам подходит ко мне.

— С кем ты договорилась? Где могила? — оглядываясь по сторонам, спрашивает он меня.

Он не хочет, чтобы нас слышали. Почему?

— Там никого нет. Одна придурочная баба. Твердит, что кладбище закрыто и никого нет... Кто тебе обещал? — продолжает он так же тихо.

— Могильщик, — шепчу я, — Хрюша. Только под вечер...

— Как это "под вечер"?! — его голос набирает силу. — Что значит "под вечер"? Почему ты не сказала Николаю?

— Какому Николаю? Я не знаю никакого Николая! — сержусь я.

— Какому, какому! Нашему знакомому, — вор-

чит Петруша, и я, наконец, вспоминаю, о ком он говорит.

— Но у него перерезано горло, — говорю я неожиданно для себя.

Петруша смотрит на меня с ужасом. Я впервые его вижу таким напуганным.

— Когда? — выдавливают он из себя одно единственное слово.

— Надо искать Хрюшу... Нам ничего другого не осталось. Может, он согласится...

Но Хрюшу найти невозможно. Его нет, и никто не знает, где он. Да и неизвестно, есть ли он вообще? "Кто такой этот Хрюша?" — спрашивает меня почти каждый, кто возмущен этой непредвиденной задержкой.

Нет Хрюши и все. "К вечеру привозите". "Фонарь зажжем!"

Меж тем мне ничего не остается, как войти в автобус, где все еще стоит гроб Варвары. Я должна чуть-чуть обогреться после двухчасовых поисков Хрюши.

На заднем сидении дремлет Мария Павловна. Впереди сидят еще трое. Кажется, один из них Назаров, он отвернулся к окну, и я не могу разглядеть его лица.

До сумерек еще далеко, но день уже склоняется к исходу. Во всяком случае здесь, в автобусе, мне так кажется. Серо-белый день, он похож на кольцо, по краям его серо-черные овраги, оттуда выгребают для провалившихся могил последнюю землю, оставшуюся еще на земле. "Земля ты и в землю отыдеси" — звучат в моих ушах печальным звоном панихидные песнопения. Господня земля и что наполняет ее... Цвет склоняющегося к исходу дня за

окном автобуса, цвет погребения из серо-белого перетекает в чисто-белый цвет, прозрачный цвет снежной кисеи. Это, наконец, пошел снег, слава Богу, кончилась весна перед Новым годом! Снег укроет черно-серые рубцы, укроет белизной венчания, тишины и покоя.

Я буду ждать сумерек здесь. Пусть они все уедут. Я вижу, как редет толпа провожающих Варвару, как они разбредаются потихоньку, исчезают тайком. Где-то там в конторе кричит в телефонную трубку Петруша. Кому он дозванивается? Ардашникову? В банно-прачечный грест?

Мне все равно. Белый цвет укроет рубцы и шрамы, он сравнивает холмы могил. Найдем ли мы под этой белизной могилку Даниила? Я с трудом отыскала ее сейчас, когда ходила смотреть, выкопал ли Хрюша могилу для Варвары.

— Как это все нелепо! — садится рядом со мной Леонтий.

Я и не заметила, как он вошел в автобус.

— А где Саша? — спрашиваю я его.

— Он ищет Хрюшу! Где-то здесь есть еще какое-то помещение. Бытовка... — отвечает Леонтий с надеждой.

Саша непременно найдет Хрюшу, верю я. Пусть все уходят. Мы подождем.

— Придется ждать, — утешаю я Леонтия, — хорошо, что идет снег.

— Что хорошего? — удрученно бормочет Леонтий.

Может быть, он не видит, что в погребении истощается плоть мира, теряя свою часть, что она становится словно бы прозрачней, тоньше, ущербней и жалобней. А снег венчает небо с землей. Серо-черный цвет погребения, цвет руин, цвет ущер-

ба, печали уступает белому, бело-синему цвету исхода.

Это хорошо, что нет Хрюши. Мы привыкнем к погребению, думаю я и вижу, как вдоль оврагов движутся, раздвигая снежный занавес, две фигуры. За ними следуют еще двое. Я уже знаю, что Саша нашел могильщика Хрюшу, а тот позвал с собой еще двоих.

Они и выкопают яму рядом с могилой младенца.

Хрюша действует быстро, по-деловому, и вскоре черно-белое покрывало затягивает еще одну рану, нанесенную земле.

Гуськом, меж могилами, увязая в грязи, мы уходим от Варвары. Где-то там, вон за тем памятником прятался прокурор, когда мы возвращались с похорон младенца Даниила. Где же теперь Петруша?

Он исчез сразу после нашего разговора об Ардашникове. Кажется, его не было и у могил. Похоже, что он помчался узнавать, действительно ли у Ардашникова перерезано горло.

— А где же дядюшка? — слышу я, как спрашивает Саша.

— Что-то не видно, — отвечает Мария Павловна.

Наконец, мы добираемся до кладбищенских ворот и видим, что Петруши и в самом деле нет. Уехал. Уехал с кем-то из Варвариных знакомых. Не дождался.

— Его вызвали, — объясняет Назаров Леонтию, — он звонил куда-то.

— Он мог бы и нас отвезти... — ворчит Леонтий. — Теперь нам отсюда не выбраться.

— Нас пятеро, — говорю я, — мы не поместимся в машину.

А где же остальные? Я оглядываю пустынную площадь у кладбищенских ворот. Никого, кроме нас. Как они успели так быстро исчезнуть, будто их и не было вовсе?

Снег перестал, его отогнал сырой свирепый ветер.

Стоило ему только подняться, как сразу начало быстро темнеть.

Сколько нам стоять на пронизывающем ветру, окруженным темными пустыми оврагами?

Мы пытаемся согреть друг друга, прислонившись плечами, руками. Время от времени Назаров выбегает на дорогу и ищет глазами огоньки; вот-вот появится автобус, надеюсь я.

Сколько длится ожидание? Долго. Так долго, что мы успеваем продрогнуть до костей. Ветер крепнет, воздух становится все холодней, свинцовое низкое небо темнеет, на нем не видать ни звезды, ни луча, только черные рваные клочья.

Автобус приходит тогда, когда мы уже собираемся идти в ту "бытовку", где Саша отыскал Хрюшу. Плотная толпа пассажиров втягивает нас в свои недра, мы тут же включаемся в ее ритмы. Они укачивают меня. Пожалуй, я смогу поспать прямо так, на ногах, толпа удержит меня...

Мы встречаем Петрушу у подъезда Варвариного дома. Он выходит прямо навстречу нам.

— Дядюшка! — восклицает Саша. — Откуда вы?

Петруша хмурится. Он застигнут врасплох. Что он делал там без нас? Разве у него есть ключи?

— Я ждал тебя, — говорит он Марии Павловне. — Шел мимо. Из дома композиторов. Меня туда затащили...

Он был на поминках. Вот почему все так быстро

исчезли с кладбища! Их увез похоронный автобус, скорей всего шофер не захотел ждать конца похорон, он слишком долго ждал их начала.

— И ты здесь? Хорошо! — говорит прокурор, обращаясь ко мне.

Почему — ”хорошо”? Я совсем, кстати сказать, не собиралась сюда. Мне здесь нечего больше делать, мне пора домой, я уже три дня не поливала цветы, мой телефон надрывается от звонков. Я не могу так долго скитаться, меня ждет мой дом, моя работа. Но Саша и Леонтий уговорили меня поехать сюда. Еще одна ночь. Последняя. Эту последнюю ночь мы проведем в Варварином доме. Никто не пойдет домой. Мы согреемся чаем. ”Еще чем-нибудь!” — обещает Назаров.

Мы отдохнем от прокурора. А завтра, завтра...

Завтра — другая пора...

Особенно уговаривал меня Леонтий. ”Я должен увезти свои работы. Завтра на рассвете. Ты сможешь мне упаковать их”.

Я понимаю, он боится, что погибнут его скульптуры, его рукописи. Если кому-то вздумается сразу же конфисковать Варварино имущество, не ожидая положенного срока, в который должны появиться наследники. Не зря нас сегодня утром ждала машина. Мы ведь толком не знаем цены Варвариных сокровищ. ”Есть теперь такой закон...” — сказал Ардашников. Возможно, он и стоит на страже этого закона...

Мы входим, наконец, в подъезд и вызываем лифт. Прокурор тоже здесь. Неужели и он поедет с нами? А как же иначе? Мы садимся в лифт: Саша, Мария Павловна, Леонтий и я. Больше он не вмещает.

— Неужели он был там? — спрашивает Леонтий, когда лифт подбирается к нашему этажу.

— У него нет ключей, — говорю я.

— Да. У него нет ключей, — повторяет механически Саша.

— Это ничего не значит, — возражает Леонтий, — замки, как известно, не мешают проникнуть в дом.

Саша отворяет дверь. Нас встречает темнота, пустота, молчание Варвары.

Леонтий идет в свою мастерскую. Мы с Сашей и Марией Павловной проходим на кухню. Я зажигаю газ и грею руки у огня.

— Чай! Матушка, сварите чай, если можно, — просит Саша.

— Да, Сашенька. Конечно, сейчас.

Я вижу, что она встревожена. Почему же так долго нет Назарова и прокурора?

— Он арестован! — наконец, выдавливая из себя Мария Павловна и из глаз ее сыплются слезы.

— Кто? — удивляюсь я.

— Он... Петр что-то задумал. Я давно это чувствовала. Я предупреждала вас. Это ты... ты делаешь вид, что не боишься, а он... у него вся жизнь... это ведь такой врач. Он — гений!

— Какая жизнь? Нам осталось совсем мало, — тихо, но внятно говорит Саша. Он стоит теперь рядом со мной, у плиты.

За нашей спиной плачет Мария Павловна. Она устала, измучена. Похороны были тяжелыми. Сейчас ее глаза покраснеют и утратят свой чудный цвет, цвет синего тонкого нарядного шелка.

— Что за слезы? Его здесь не было! Нам показалось! — восклицает Леонтий, входя к нам.

Я оборачиваюсь и смотрю на Марию Павловну. Голова ее упала на грудь. Она судорожно сжимает руки.

— Маша боится, что доктор арестован.

— Как? За что? — Леонтий смотрит на Сашу.

— Формула, — всхлипывает Мария Павловна.

— Он к этому не причастен, он этого так боялся...

— Никакой формулы нет, матушка, успокойтесь, — просит Саша.

В дверь звонят. Мария Павловна стремительно подымается, но у дверей останавливается и смотрит на нас.

— Будем открывать? — спрашивает она у Саши.

— Обязательно. Это — доктор!

Да, это доктор. Мы слышим его голос. Один? Без прокурора?

— Ты один? — спрашивает Леонтий, встречая Назарова на пороге.

— Один, — мрачно отвечает он. — Мне надо с тобой поговорить, — обращается он к Марии Павловне.

Они выходят. Мы молчим.

— Что могло случиться? — спрашивает Леонтий у Саши. — Как вы думаете? Что же на сей раз вам вещает ваша пророческая тоска?

— Ах, Леонтий Васильевич, все то же самое...

— Интрига? — радуется неожиданно Леонтий. — Чего же он все-таки хочет?

— Победы.

— Какой? — допытывается Леонтий.

— Поздно, — говорю я, глядя на Леонтия, — у тебя здесь много работы?

— Порядком. Нужна машина. Вы будете что-нибудь увозить? — обращается он ко мне и к Саше.

— Зачем? — удивляется Саша.

— Разве вы не понимаете, что все это заберут?

— Конечно, Леонтий Васильевич.

— Но право... право у вас, кажется? — Леонтий пристально всматривается в Сашу.

В это время входит Назаров и Мария Павловна. Мне кажется, что Назаров растерян, а Мария Павловна, напротив, настроена решительно.

— Нам лучше уйти отсюда! — говорит она.

— Зачем удивляется Леонтий.

Я смотрю на Сашу. Он стоит у плиты и греет руки. Он не хочет оборачиваться.

— Так будет лучше, — говорит Назаров.

— С какой стати? — возмущается Леонтий. — Мы же решили эту ночь пробыть здесь. У меня есть... мои работы...

— Я могу уйти! — говорю я.

— Не стоит, — оборачивается Саша. У него спокойное лицо.

— Скажи ему! — обращается Мария Павловна к Назарову. — Скажи!

— Дело сложное, — говорит смущенно Назаров и отводит глаза. — Петр Павлович просил всех уйти... Он говорит, что имеет право на это. Варвара Федоровна слишком дорога для него. Он даже не мог видеть, как ее хоронят...

”Я плакать хочу. Я тоже человек”.

— Давайте уйдем! — просит Мария Павловна. — Мы все сделали, что могли. Мы добились своего. У него неприятности.

— Какие? — быстро спрашивает Леонтий.

— Ардашников дурачка здесь строил, а сам отомстил Петру крепко. За Варвару Федоровну! Нашел время, попал в самую точку. Когда Петр так изму-

чен. Он похоронил любовь, — говорит Мария Павловна патетически, и на ее лице возникает горестное выражение.

Это что-то новое, я взглядываю на Назарова, но ничего не могу прочесть на его лице. Сейчас он собран, серьезен, спокоен.

— Как отомстил? — не унимается Леонтий.

— Теперь он хочет отомстить Ардашникову? — добавляю я.

— Ардашникова жалеешь? Этого негодяя? Да я бы... — возмущается Мария Павловна.

— Дядя, видно, не хочет, чтоб Ардашников заработал на Варваре Федоровне, на ее смерти. Так, матушка? — примиряюще говорит Саша.

— Вот именно! И если тут и в самом деле есть что-то против этого... типа... я бы отдала это Петру...

— Нет, — говорит Саша.

— Подожди, — обрывает Сашу Назаров, — дело тонкое... Саша, надо понять и другого, он очень пережил... это единственное, что у него было...

— Да! — подхватывает Мария Павловна. — Мы забыли, что он тоже человек!

— Однако, не ты ли еще вчера уверяла нас, что у него мания величия! Что же случилось! Я хочу знать истину! — вскрикивает Леонтий.

— Для дядюшки будет лучше, если мы останемся здесь, — настаивает Саша.

— Нет, ты скажи, — обращается к Назарову Леонтий, — что произошло? Почему вы повернули на сто восемьдесят градусов! Да знает ли он, что ты звонил Ардашникову еще вчера?

— Мы выполнили свой долг перед Варварой Федоровной, — говорит спокойно Назаров, — теперь... так будет лучше для всех! Больше я ничего не могу

тебе объяснить. Хочешь — верь, хочешь — нет! Мое дело передать то, что меня просили!

— Ты не только передаешь, — вмешиваюсь я. — Ты считаешь, что так нужно поступить. Вот Леонтий и хочет знать причину.

— Ты во всем видишь расчет! — наступает Мария Павловна. Теперь синие глаза ее мечут молнии, она нервно подергивает плечами, топает в нетерпении ногой. — Как вы плохо думаете о людях! Ведь если подумать, Петр никому из вас не причинил зла! А тебе, Саша, стоило бы помнить, сколько он для тебя сделал! Не он ли, кстати, познакомил тебя с Варварой Федоровной?

— Я ничего не забыл. Но почему еще полчаса тому назад вы трепетали от ужаса?

— Мало ли что! Каждый человек может ошибаться! — не успокаивается Мария Павловна. — Он все же с в о й человек. Нельзя плевать в колодец!

— Что и говорить, свой прокурор лучше чужого! — пытается сострить Назаров. — Кстати, не забыли ли вы, что Варвара Федоровна не раз это повторяла! — Назаров оглядывает нас, глаза его обдают меня холодом.

Мы замолкаем, никто не решается возразить Назарову. Наконец, я задаю ему все тот же вопрос:

— Но что у них произошло с Ардашниковым? Они довольно мирно беседовали здесь и вместе ушли...

— Трудно сказать... Он не пожелал объяснить подробно. Он сказал мало...

— Но что именно? — требует Леонтий.

— Не знаю, имею ли я право? — Назаров делает все тот же жест, сбрасывая ладонью что-то со лба.

— Скажите, — просит Саша.

— Как ты считаешь? — обращается Назаров к Марии Павловне.

— Не знаю, — пожимает она плечами.

— Ну, он сказал, что... ”эта гнида меня прирезала”, — сказал он и еще намекнул, что жить ему...

— Назаров внезапно умолк.

— Не хочется? — спрашивает Леонтий и начинает смеяться.

— Ну что вы, Леонтий Васильевич, — укоризненно покачивает головой Саша.

— Как тебе не совестно? — стыдит Леонтия Мария Павловна. — Человек погибает, а ты...

— Тем более я не уйду отсюда! Если он хочет умереть здесь в эту ночь! — Леонтий все же не может сдержать улыбки. — Зачем мы будем помогать ему? Это, знаете ли, похоже на... В этом случае мы о б я з а н ы остаться здесь. Зови его! Здесь немало места! Если он хочет пробыть здесь эту ночь, пусть занимает любую комнату и плачет по Ваве! Мы не помешаем ему! Саша, что же вы молчите? Ведь вы в некотором роде хозяин положения?

— Почему? — удивляется Мария Павловна.

Она не знает о завещании? Да и есть ли оно? Может быть, Саша тогда придумал это, чтобы спасти меня от прокурора, зная, что ”Формула лжи” напечатана на моей машинке? Значит — во всем виновата я и скандал начался из-за меня? Почему никто до сих пор впрямую не спросил об этом злополучном завещании? А если оно есть, то зачем Саша скрывает его от Назарова и Марии Павловны? А вдруг они знают, но считают, что Саше нужны опекуны? Вполне возможно, что дядюшка неслучайно грозил ему сумасшедшим домом? Но что я могу поделать? У них своя семья. Я не верю Назарову. Не верю,

что Ардашников "прирезал" Петрушу. Не верю, что Назаров поверил Петруше. Зачем-то ему это нужно, он — деловой человек.

— У вас своя семья, — говорю я. — Я понимаю. Я могу уйти.

— Я прошу вас остаться, — говорит Саша, — это очень важно.

— Нет! — волнуется Мария Павловна. — Пусть уходит! Ты хочешь обозлить Петра? Ты его не знаешь! Вы никто не знаете его!

— Ты противоречишь себе, — устало произносит Леонтий.

— Значит, вы хотите рисковать? Из-за упрямства? — спрашивает Назаров. — Я надеялся на ваше благоразумие и осторожность! Зачем вы хотите восстановить его против себя? Еще неизвестно, чем обернется это дело. Неизвестно, кто из них... Зачем это тебе? — спрашивает Назаров у меня.

— Она ценила Петра! Она была ему ближе всех! — плачет Мария Павловна. — Это ее дом... а мы... его захватили, он прав...

— И в самом деле жестоко! — вторит Марии Павловне Назаров.

— Хорошо, вызывай машину! Через час мы уедем. Сейчас мы вместе соберем мои работы. Но сначала — чай! Надо согреться. Он подождет! — Леонтий подходит ко мне. — Ты подождешь, пока мы соберемся?

— Мы никуда не уйдем. До утра, — с решительностью, несвойственной ему, произносит Саша.

— Но почему, почему ты так упрям и так жесток? Это так непохоже на тебя. Ты должен отплатить ему добром. Он сейчас несчастен, — Мария Павловна

смотрит на меня. Неужели она надеется, что я поддержу ее?

— Если хотите... можете оставить меня одного, — говорит Саша.

— Нет, нет, ни в коем случае! — протестует Назаров.

— Ты не знаешь его, Саша... — Мария Павловна говорит это без всякой надежды.

— Ну что ж, вопрос решен! — подводит итог Леонтий. — Пусть он приходит. Мы не тронем твоего Петрушу, — обращается он к Марии Павловне, — успокойся. Вон как ты, оказывается, любишь своего братца!

Он весело подмигивает мне. Но мне невесело. И зачем я послушалась их? Сейчас я давно бы спала у себя дома.

Мы пьем горячий чай с коньяком. Поминаем Варвару. Но что-то с нами уже случилось, что-то разделило нас. Нас уже не пятеро... За дверью опять стоит Петруша. Он ждет, когда мы покинем этот, не принадлежащий нам дом. Зачем мы здесь? В этом чужом храме? В музее Варвары, где томятся в ожидании новых хозяев ее бесценные сокровища?

Чем дальше, тем печальней наша трапеза, мы уже не можем ни о чем говорить, мы прячем друг от друга глаза. Что же нас до сих пор соединяло?

— Пора спать, — бормочет пьяный доктор.

Когда он успел так отяжелеть? Он ничего не ел. Леонтий решает перенести сборы на завтра.

— Мы встанем рано, — успокаивает он себя. — Я буду ночевать в мастерской.

Саша идет в комнату при кухне. А я туда — в дальнее свое убежище, в синюю комнату. Где расположатся Мария Павловна и Назаров?

Прошлую ночь она спала на кухне, а он, кажется, в большой комнате. Какая мне разница. Если явится прокурор, ему тоже найдется место. Мария Павловна, наверное, потому и ложится в кухне, чтобы быть поближе к двери и открыть ему, если он постучит.

Я проваливаюсь в сон, как только укладываю голову на подушку и накрываюсь пледом. Поверх него я положила свое зеленое пальто, оно достаточно тяжелое, и я быстро согреваюсь.

В ушах моих, пока я еще опускаюсь на дно моего сна, плещется холодный ветер, а в глазах мелькает белый снег. Потом я слышу глухой ропот земли, ударяющейся о крышку Варвариного гроба.

Как долго тянется это путешествие по черному пространству моего душного, безнадежного и безвидного сна, в котором, как в тиски зажата моя пленная душа!

Сон это плен, где-то слышу я свист сумасшедшего ветра, ровный ропот уставшей земли. Но вот он становится все настойчивей, этот ропот, он грохочет у самого сердца.

Что за натиск, зачем земле мое сердце, погребенное в сон? Оно постепенно уходит все глубже в черное безвидное пространство. Кажется, оно надеется скрыться от сумасшедшего, нарастающего с каждым мгновеньем, грохота.

Он сотрясает дом, в котором мы решили укрыться в эту последнюю ночь. Значит, прокурор вернулся? Он все еще хочет победить Ардашников.

Почему же не слышно голоса Петруши? По-видимому, его заглушает грохот ломаемой мебели и битой посуды. Неужели он ищет эти сожженные письма? И если не найдет их, то сожжет этот музей, этот храм, который Ардашников хочет подарить

человечеству, чтобы заслужить его благодарность? Но вот в глухое, черное и безвидное пространство моего сна проник какой-то тонкий звук, словно бы кто-то плачет или стонет жалким голосом. Уж не Саша ли? Значит, он решился вступить с прокурором в сражение и потому не хотел уходить? Теперь он побежден. Напрасно он вступил в этот неравный бой. Разве мы можем уместить на погребальную телегу Варварины ценности? К тому же, Петруша кромсает их вилкой, рвет на части и топчет ногами. Сейчас придут соседи! Возможно, Саша просто попросил его прекратить террор и тогда...

Если Саша погиб, значит очередь — за мной?

— Как ты смеешь, ублюдок! — врывается в мое сознание грозный окрик.

Похоже, что это голос Леонтия. Он боится за свои работы. Петруша добрался и до них?

Я слышу какой-то визг, потом сдавленный крик. И тишину. И молчание Варвары. И ясный голос Леонтия. Почему я так хорошо его слышу в этой дальней комнате?

— Вон! Это наша земля!

Значит, это борьба за землю? Но — "Господня земля и что наполняет ее"! Это борьба за город. Они заняли город. Что они хотели там найти? Они рассыпались по земле, чтобы забрать ее. Но разве можно забрать город — скрешение жилищ, небесных и земных, средоточие вселенной, место посреди океана небес и место погребения?

Выходит, это борьба за землю. У Тебя, Господи, тысяча лет, как один день. Всего один день пронесся над нашей землей с тех пор, как Ты подарил нам Себя. И если ты послал нам такую великую скорбь за нашу измену Тебе, значит, мы можем быть спасе-

ны, значит, Ты надеешься на нас и веришь, что мы вернемся к Тебе!

Я должна открыть глаза. Я еще не знаю, сон это или явь. Неужели Леонтий мог и в самом деле произнести где-то рядом со мной эту странную фразу? Я слышу мерзкий визг Петруши. По-видимому, Леонтий спустил его с лестницы, а теперь он поднялся и кричит у самой двери, забыв о всякой предосторожности.

— Я тебе покажу землю!

— Уйдите, дядюшка, пока не поздно, — просит Саша тоненьким голоском.

Как только он умолкает, новая волна грохота сотрясает Варварин дом. Дядюшка бьет по нему какой-то страшной колотушкой, кувалдой, чугуновой огромной пулей. Я боюсь, что он не успокоится до тех пор, пока эта черная пуля не уничтожит все, не превратит все в груды развалин. Но вот грохот становится все глуше, и словно бы, отдаляется.

Однако уже наступил рассвет и по булыжной мостовой нашего города плетется ранняя телега. Она разбита вдребезги, одно колесо ее вот-вот отвалится. Поэтому она нескончаемо медленно тянется вдоль моего окна. Почему-то я не слышу свирели, где же зеленая дудочка поэта? Не может быть, чтобы не осталось ни одного дерева, из которого можно было бы вырезать маленькую погребальную свирель?

Дерево есть, оно в Эдеме. Древо жизни. Оно осталось для того, чтобы из него сделали Крест.

Мне пора подниматься. Хорошо, что кончилась пятница. Теперь уже недалеко до воскресения.

Июнь-август 1981 г.

А. Г. Горбовский *

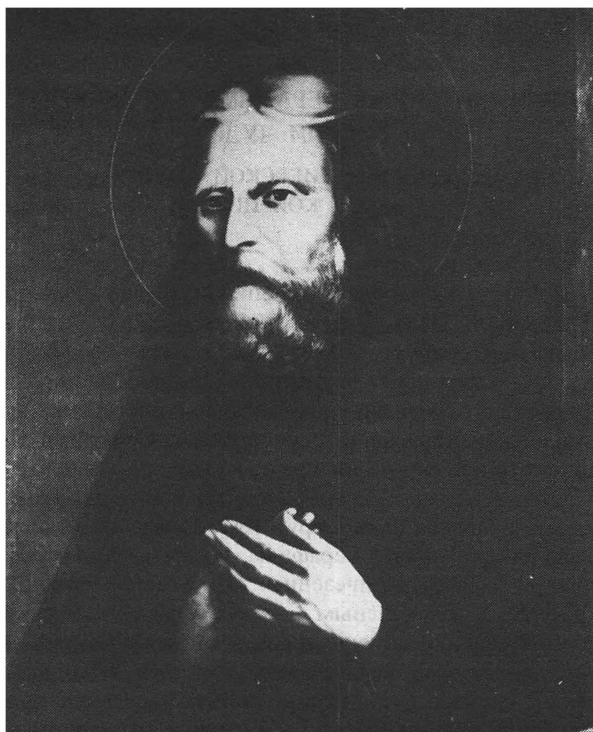
ОБ ИКОНЕ ПРЕП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА,
НАХОДЯЩЕЙСЯ В КИЕВСКОЙ ПОДОЛЬСКОЙ
ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ

В ноябре 1950 года жительница г. Киева Людмила Дамиановна Пантелеева в память о своем недавно почившем супруге — Михаиле Николаевиче Пантелееве — передала настоятелю Киево-Подольской Покровской церкви, совершавшему погребение почившего, изображение преподобного Серафима Саровского и всея России чудотворца.

Отец Алексей Глаголев чрезвычайно обрадовался этому драгоценному дару, тем более, что у него была икона преп. Серафима во весь рост среди соснового леса, привезенная его отцом — проф.— прот. А. А. Глаголевым — из Сарова в 1927 г., но по попущению Божию эта почитаемая икона была увезена неизвестным лицом в октябре 1943 года.

Это случилось в тяжелые дни, когда все население Подола и других частей города было изгнано из своих домов немцами; квартиры и храмы были раскрыты. Икона, принадлежавшая о. Алексею, находилась в придельном храме во имя св.

* Александр Григорьевич (1906—1976).



Фотография с иконы
преп. Серафима Саровского

вкмч. Иоанна Воина, у правого клироса, и оттуда похищена. Когда на исходе октября 1943 года о. Алексею с группой лиц удалось вечером тайно проникнуть в "запретную зону", где расположен был Покровский Подольский храм, то было установлено, что церковь раскрыта, и образа преп. Серафима нет. При осмотре церкви удалось найти только подрамник, на котором был натянут холст с изображением. Это обстоятельство чрезвычайно опечалило о. Алексея и всех почитателей образа преп. Серафима.

Когда через несколько дней о. Алексей, его матушка и еще одно лицо вторично проникли к Покровскому храму, чтобы взять кое-какие предметы, произошло следующее обстоятельство.

Обратный путь названные лица делали по улицам: Боричев Ток, Флоровская, Притиско-Никольская, Житний Рынок, Глубочица и далее на Лукьяновку. Вечерело. Одинокaя группа проходила мимо Притиско-Никольской церкви. Слева расположен трех- или четырехэтажный дом.

Перекрестившись на храм, идут далее. В это время какой-то предмет, как бы брошенный сверху или из верхнего этажа, пролетев мимо матушки о. Алексея, упал перед нею. Быстро оправившись от испуга, матушка наклонилась и подняла упавший предмет; это оказалась металлическая печать с деревянной ручкой — для просфор; на печати же было изображение преподобного Серафима!

Преподобный как бы послал, таким образом, некоторое утешение по поводу потери его иконы. Эта печать хранится у о. Алексея и сейчас, и ею печатают просфоры к 19 июля и 2 января (дни памяти преп. Серафима).

Возвратившись на свой приход в конце 1945 года после продолжительной болезни (о. Алексей был избит немцами в ноябре 1943 года и болел сотрясением мозга), о. Алексей стал думать о том, как бы достать образ преп. Серафима и возобновить еженедельное чтение акафиста ему, что он делал прежде по примеру своего отца.

Можно себе представить его радость, когда Л. Д. П. сообщила ему о своем решении.

Принимая с благодарностью дивный образ преп. Серафима, о. Алексей сказал Л. Д.: "Я поставлю его в храм, и мы еженедельно будем петь акафист Преподобному".

Изображение преп. Серафима погрудное, писано масляными красками на холсте, размером 70 x 55 см. Преподобный представлен с молитвенно скрещенными руками, в мантии, с четками. Лик Преподобного более молодой, чем на обычно встречающихся иконах.

По просьбе о. Алексея Л. Д. П. рассказала, что ей известно об этом изображении. Свой рассказ Л. Д. начала несколько издалика.

Покойный М. Н. П., инженер по профессии, с молодых лет отличался глубокой религиозностью. Его любимым времяпрепровождением была молитва в храме и келейная. Он принимал активное участие в церковно-общественной жизни г. Киева, и многие верующие нашего города сохранили о нем самую добрую память. Один из ораторов на могиле почившего при погребении его отметил эту христианскую теплоту, с которой он относился к людям, указав, что в личном помяннике почившего, помимо его родных, записано до трех тысяч имен людей, о коих М. Н. молился.

В 20-х годах М. Н. постигло испытание: он был арестован с рядом других лиц, которым было предъявлено серьезное обвинение. Положение было настолько серьезно, что Л. Д. уже отчаивалась когда-либо встретиться с супругом. Принимая это испытание, как волю Божию, Л. Д. более всего горевала о том, что М. Н. не сподобится причащения Св. Тайн.

В конце праздника Введения во храм Пресвятыя Богородицы она пошла ко всеобщей в Михайловский монастырь и, стоя перед ракой с мощами св. вмч. Варвары, молилась о своем заключенном супруге. Она говорит: "Я молилась Божией Матери, великомч. Варваре и преп. Серафиму Саровскому (в праздник Введения преп. Серафим принял посвящение в первую степень священства — диаконство), умоляя их только об одном, чтобы М. Н. причастился".

Вдруг кто-то коснулся ее плеча; она не обратила внимания (было много молящихся) и продолжала свою молитву. Прикосновение повторилось второй и третий раз. Оборотившись с некоторой досадой, Л. Д. к несказанному своему изумлению увидела своего супруга. Последний ей сообщил, что начальник охраны, по его просьбе разрешил ему выйти из места заключения (эти арестованные содержались тогда почему-то не в тюрьме, а в здании военного трибунала на углу улиц Б. Владимирской и б. Бибиковского бульвара¹) на 24 часа, чтобы причаститься Св. Тайн!

Этот начальник был человеком неверующим, но к М. Н. почему-то очень хорошо относился, давал ему разные мелкие поручения, используя иногда как связиста для ходьбы по городу, и знал, что

М. Н. вернется к месту заточения в указанный срок. Сподобившись причастия Св. Тайн, М. Н. возвратился в заточение. После этого случая, месяца через два, М. Н. был оправдан и освобожден.

Исполняя обет, данный в заточении, М. Н. съездил помолиться в Саровскую обитель.

Вскоре Л. Д. заболела базедовой болезнью, которая доставляла ей большие страдания. Известный киевский хирург проф. Пивовонский указывал, как на единственный путь к излечению, хирургическое вмешательство. Операция была сделана. Спустя некоторое время болезнь проявилась с новой силой, опять показалась большая опухоль. Проф. Пивовонский предлагает повторить операцию, но не скрывает, что положение очень серьезно.

Посоветовавшись, супруги решили отказаться от операции, а совершить паломничество к преп. Серафиму. Это намерение осуществили летом ... года².

Приехавши в обитель преп. Серафима, М. Н. и Л. Д. сразу пошли к богослужению в Успенский храм (собор). Вступивши в св. храм, они поразились тем, что совершавший богослужение (ныне покойный) иеромонах Маркеллин, произнося ектению, помянул: "о здравии Михаила и болящей Людмилы".

После некоторого отдыха они в последующие дни молились в разных саровских храмах и посетили памятные святые места обители.

Затем они поехали к прозорливой старице Марии Ивановне в Дивеево (последняя по времени старица Дивеевская). М. Н. познакомился с нею в свой прошлый приезд, после освобождения из-под ареста. Мария Ивановна называла М. Н. "сокол ясный". Когда Л. Д. попросила у старицы Марии Ивановны

благословения, последняя сказала: "Зачем операцию делала? Преподобный давно тебя ждет! Мажь опухоль маслом от иконы "Умиление" и от лампад у мощей преп. Серафима. В Саров из Дивеева (верст 16—18) иди пешком; те, кто ездит — это гости Преподобного, кто ходит пешком — это дети Преподобного".

По этому указанию супруги П-вы к празднику преп. Серафима — 19 июля — пошли в Саровскую обитель пешком. После того они еще несколько раз совершали паломнические путешествия между этими двумя обителями пешком. Когда, после двухнедельного пребывания в Сарове и Дивееве, П-вы прибыли в Москву, от опухоли у Л. Д. не осталось и следа; она чувствовала себя бодрой физически и духовно. При прощании прозорливая старица Мария Ивановна дала совет во всех делах и нуждах обращаться молитвенно к заступлению Преподобного.

Мария Ивановна жила в Дивееве недалеко от монастырской богадельни. Л. Д. любила заходить к кротким старушкам-богаделкам. Выйдя однажды из одной келии, она направилась, как ей казалось, к выходу из корпуса, но, раскрыв дверь, попала в какую-то незнакомую келию. От неожиданности Л. Д. не сразу попросила прощения. Этому способствовали еще такие обстоятельства: навстречу ей поднялась старушка, в облике которой Л. Д. почудились черты ее матери; затем внимание ее было приковано к изображению преп. Серафима, находившемуся среди образов. "Простите, матушка, ради Бога, — сказала Л. Д. — Я по ошибке случайно попала к вам".

"В духовной жизни ничего не бывает случайного;

ты попала сюда не случайно. Я молилась преподобному Серафиму, чтобы он послал мне добрую душу; ты мне очень нужна. У меня в Самарканде есть сын; я хотела б ему отправить посылку и фотокарточку; сама я сделать это уже не в состоянии, я слабею с каждым днем”, — так возразила Л. Д. старушка. Старушка оказалась схимонахиней Симеоной. Она была женщиной образованной и происходила из богатой помещичьей семьи; она прекрасно помнила крепостные времена; ей было уже более 85 лет. Л. Д. с любовью и охотой согласилась выполнить ее поручение. При отъезде П-вых схимон. Симеона передала им изображение преп. Серафима, так поразившее Л. Д.

Родители схим. Симеоны были благодетелями Саровской обители, и им из Сарова прислали в дар портрет ”Батюшки Серафима”, изображающий Преподобного, как говорили, в пору его жизни еще до избиения его разбойниками. Этот портрет родители мат. Симеоны передали ей. Впоследствии он был превращен в икону³.

Вскоре до приезда в Киев благодарные П-вы, ревнуя о славе Преподобного, стали приглашать к себе на дом киевское духовенство для служения акафиста преп. Серафиму. Такие богослужения стали совершаться по средам и привлекли значительное число богомольцев. Акафист пелся саровским распевом. Большое количество молящихся вызвало необходимость перенесения акафистов в храм. П-вы предполагали перенести это в Сретенскую церковь, что на Сенной площади (в этой церкви произошло замечательное явление: некогда позолоченный купол, сделавшийся от времени почерневшим, в течение одной ночи, на глазах у людей,

сделался золотым, в то время как второй купол по-прежнему оставался темным. Церковь эта разрушена в 1934—35 гг.), но, посоветовавшись с епископом Федором, отложили это намерение, а Сретенская (она же Скорбященская) церковь была закрыта. Немного позже акафистное пение преп. Серафиму было перенесено в Борисоглебскую (Рождества Предтечи) церковь на Подол и совершалось каждую пятницу. Подобное же пение совершалось и в Добро-Никольской церкви перед упоминавшимся уже похищенным образом. Вот этот-то образ преп. Серафима, принадлежавший некогда родителям схим. Симеоны, и был подарен Л. Д. П-вой о. Алексею по решению последнего, находился в приделе св. вмч. Иоанна Воина Киево-Подольской Покровской церкви. Акафистное пение саровским распевом с общенародным пением совершается еженедельно по вторникам. Что касается схим. Симеоны, то она скончалась в глубокой старости у сына, в Самарканде, лет через 5 после закрытия Дивеевской обители.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ныне бульвар Шевченко; дом не сохранился.

² Пропуск в тексте. По-видимому, паломничество совершилось в 25—26 гг., так как в 1927 г. Саровский монастырь был закрыт.

³ Вокруг лика Преподобного был проведен тонкой линией золотой круг — нимб.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ НАС!

- Епископ Ф е о ф а н (Говоров). Божия
Матерь примером Своим учит всякой
добродетели. 5

ОТЦЫ ЦЕРКВИ

- Св. В а с и л и й Великий. Предна-
чертание подвижничества 12

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

- * * * Священник Анатолий Жураковский 19

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАСТЫРСТВО

- Епископ И г н а т и й (Брянчанинов).
Дух молитвы новоначального 83

СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ

- М. А. Н о в о с е л о в. Письма к друзьям 96

РУССКИЕ СУДЬБЫ

ВОСПОМИНАНИЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВА. РАССКАЗЫ.

- Н. С в е н ц и ц к а я. Отец Валентин 183
О. В. Монастырских стен силуэт 221
Ф. С в е т о в. Мать Мария 233
З. К р а х м а л ь н и к о в а. Рассказ
о погребении или крест для прокурора 285
А. Г. Г о р б о в с к и й. Об иконе
преп. Серафима Саровского и всея
России чудотворца... 423